

Вы скачали эту книгу бесплатно, читайте на здоровье. Но автору хотелось бы получить от вас некоторую сумму в знак благодарности. Форма для перевода находится на сайте автора desnitsky.ru. Можно также воспользоваться Яндекс-кошельком, счет 410012750620442, или переслать деньги на PayPal по адресу ailoyros@gmail.com.

Андрей Десницкий

ОРИГЕН

Моим учителям — с любовью и благодарностью

Октябрь и яблони

Едва выйдешь из метро, перейдешь шумный и широкий перекресток — и начинаются яблони. Слева — чугунная массивная ограда, справа — поток машин на проспекте, а между ними яблонея аллея, и если не смотреть на асфальт, не слушать шороха шин и щебета девчонок, лишь глядеть на эти ветви на фоне неба — можно подумать, что ты не в столице СССР, а в деревенской усадьбе девятнадцатого века. Чудесней всего яблони смотрелись зимой после снегопада: черные ветви, укрытые белыми кружевами снега, на фоне предзакатного розового неба. Даже весной, в пору цветения, не было этой оглушительной всеобщей белизны, этого небесного покоя на уснувших ветвях.

А осенью, осенью, даже уже в августе — подпрыгивали, срывали недозрелые мелкие яблочки, грызли их, то ли со студенческой голодухи, то ли, скорее, из азарта. Вот проверить бы, вызревают ли яблоки по-настоящему, можно ли собрать урожай хоть на варенье — да где уж там. Шансов у яблочек не было. И тут же кто-то находился умный и объяснял, что в городе, да еще рядом с проезжей дорогой, собирают эти яблочки всю таблицу Менделеева, не надо бы их есть — да особо и не ели: так, понакусив, бросали. Кислые, мелкие яблочки.

Но не в плодах же дело, а в том, что была Яблонея аллея — входом в Универ. С самого первого дня открытых дверей, еще в девятом классе, и на приемных экзаменах, и потом, первого сентября самого первого курса, Денис каждый раз внутренне замирал, здороваясь с ней минут за пять до того, как войдет в самые главные, самые лучшие на свете двери нелепой этой стекляшки — Первого гуманитарного. Дальше яблонь — чугунные ворота, неизбежный вечный огонь справа, панорамные окна библиотеки слева, стеклянные, как в метро, двери под козырьком пафосного советского барельефа. Говорят, строили этот корпус как университетскую гостиницу, оттого и дурацкая коридорная система, и библиотека в виде приземистого нароста (там планировался ресторан). Да вот тесно стало гуманитариям на Моховой — всех

переселили, кроме журналистов и востоковедов.

Но это уже давно... а на исходе этой весны, на пороге самых прекрасных в жизни каникул — как же хотелось обнять эти яблони, прижаться щекой к шершавой коре, погладить ладонью, крикнуть: «я вернулся!» После двух бессмысленных лет вернулся учиться, жить, дышать — вернулся в ту же точку на карте и в совсем другую страну, где вовсю бурлит Перестройка, где заседает небывалый Съезд, где можно говорить обо всем и еще не ясно, что за это будет. Но это всё не так уж и важно: он вернулся домой, он вернулся в Универ. ДМБ-89 называлось это чудо.

Этот день в начале октября — ясный, прозрачный, промытый утренним дождиком — выдался самым обычным. Две пары латинского с самого утра, потом греческая литература, потом физкультура, а лекцию по философии сегодня, пожалуй, придется прогулять, впрочем, как и всегда — у него важная деловая встреча.

Не забыть отдать Вере с русского книжку Меня. И откуда она только такие берет? А еще — еще с Сельвинской поговорить насчет темы курсовой, она обещала подкинуть кого-то в научные...

Заглянуть бы еще в столовку пообедать, да некогда сегодня — пару сосисок разве что перехватить в буфете, и обязательно кофе, кофе этот их кислый да прогорклый... только в магазинах и такого нет. «Две двойных половинки», загадка для всех, кто не из нашего корпуса — это что вообще такое? И ничего неприличного, между прочим, никакой эротики! Два граненых стакана, в каждый из которых воды налито полпорции, а коричневого порошка насыпано как на полную. Тогда это еще можно пить. Как раз взбодриться после латинского, восполнить обнуленные силы.

Латинист Николаев был легендой филфака, его вспоминали с неизменным содроганием и такой же симпатией все, кто прошел через его уроки. Да и сам Денис, если честно, выбрал классическое отделение сердцем, когда увидел Николаева в день открытых дверей, еще в девятом своем классе. После общей и довольно скучной части выступали представители кафедр, все говорили примерно одно и то же, хвалили

свою науку, обещали интересную учебу...

И вдруг на трибуну поднялся — нет, взлетел человек с копной седых волос, язык бы не повернулся назвать его пожилым — и встав в ораторскую позу, с подростковым задором начал объяснять, почему не стоит подавать документы именно на его кафедру. На классическую. Это тяжелый и неблагодарный труд, латинский и древнегреческий языки учатся долго и нудно, живых носителей мало и ни для кого из них эти языки не родные, спроса на античность в народном хозяйстве нет и не ожидается...

«Цицерон», — сказал тогда кто-то рядом, вслух сказал, не шепотом, и Денис поразился. Да, пламенный трибун, от которого глаз не отвести, в которого не влюбиться надо суметь — но и поверить в его предупреждения невозможно. Пусть всё это так, но если на вашей кафедре все такие, Федор Алексеевич... я буду изучать античность!

Потом именно он принимал у Дениса вступительный по литературе, и стало понятно: набирает себе группу. Билет достался легкий, герои «Горе от ума» в первом вопросе и что-то соцреалистическое во втором, который они особо и не обсуждали.

— А вот скажите, — прищурился слегка Николаев, — а у Фамусова тоже говорящая фамилия?

— Конечно, — с понимающей улыбкой ответил Денис.

— А от какого слова какого языка? — не отставал Николаев.

— Я могу назвать только английское слово famous, — сходу отбил тот, — но уверен, что корень его латинский.

Николаев прищурился еще сильнее, морщинки от глаз пошли, и пятерка была гарантирована. А впрочем, пока, пожалуй, нет. Он еще спросил:

— Зачем вы идете на классику? Не лучше ли вам на романо-германское?

— «Во всем мне хочется дойти до самой сути», — процитировал Денис, — «в работе, в поисках пути...».

Ну нельзя же было взять да и сказать: потому что вы так прекрасны, Федор Алексеевич!

— «...в сердечной смуте», — радостно закончил Николаев, — но что

касается сердечных смут, запомните, молодой человек: у вас их на классическом отделении не-бу-дет! Если поступите, конечно. Не до них студентам-классикам!

Вот теперь это точно было пять, даже без соцреализма. Денис поступил.

Да, Николаев был блистателен, величествен, мастеровит. Он читал античную литературу у вечерников, и многие с дневного отделения специально задерживались допоздна, чтобы его послушать — как гремел он Гомером, взмывал ввысь Софоклом, и как не хватало в каждом семестре часов на любимую им латинскую литературу, и только Цицерона, только его он не мог упустить... Это было не про знания, в конце концов, учебники никто не отменял, ничего принципиально нового про античность не сказал бы никто другой. Это было про живого человека, про то, как можно в античность погружаться без остатка и быть при этом безоговорочно счастливым. Интересно, а можно ли быть влюбленным в соцреализм — или только уныло отбивать положенные часы, как это и водилось на соответствующих парах по «введению в литературоведение»?

Если он ловил на своих вечерних лекциях первокурсников-классиков (ко второму-то курсу вся эта восторженность проходила), строго ругал и отправлял домой зубрить латинские парадигмы — авторов на следующих курсах прочитаете, и куда более подробно, говорил он.

А вблизи Николаев был страшен. Страшен в буквальном смысле слова, непредсказуемо милостив или жесток, как античное божество. Мог за малейшую ошибку высмеять так, что хотелось повеситься. Мог запустить в нерадивого студента у доски грязной меловой тряпкой. «Это еще что, — усмехались те, кто закончил лет пятнадцать назад, — в наши времена стульями кидался. Стареет».

Но нет, слово «стареть» к нему никак не подходило. Матереть, смягчаться, бронзоветь — да. Но только не стареть, хотя он постоянно на старость жаловался, немного наигранно. Увидит, к примеру, объявление, что в массовку на киносъёмки требуются мужчины до 55 лет — и всё, чуть не вся первая половина урока будет посвящена сетованиям, что нынче тех, кто старше этого возраста уже и за людей не считают, и что

вот студенты, поди, тоже глядят на него как на развалину...

А еще была у него такая манера на их первом курсе — приходить пораньше. По вторникам латынь стояла первой парой, по четвергам — первой и второй. На первом курсе на пары опаздывать как-то совсем не принято, тем более по профильному языку... приходят они вроде вовремя, минут даже за пять — а он сидит, недовольно зыркает, как на опоздавших. Ничего не сказал ни он, ни ребята, а только на следующий день пришли все минут на пять пораньше, на всякий случай. А он — уже сидит! И смотрит еще грознее, еще недовольнее. И даже:

— Почему опаздываете?

— Федор Алексеевич, но ведь звонка еще не было, — растерянно бормочет отличница Маринка.

— Но я-то уже здесь! — отвечает он тем голосом, каким Цезарь отдавал приказ «убить их всех».

И не нашли, что возразить.

В общем, через пару недель приходили они к открытию гардероба, минут за сорок до начала занятий. Приходили бы и раньше, но раздеться было бы негде (у него-то ключи от кафедры, а им пальто куда?). Гардеробщицы узнавала их, жалели:

— Что, опять к Николаеву вашему? (вроде как на каторгу, звучало в их голосе)

— К нему...

Зимние утра сладкие, зевотные. Особенно если того самого Цезаря полночи переводил, ну, или еще чем занимался. Студенческая жизнь, она разная бывает... А он сидит, и сказать ему, что до первой пары еще минут сорок — язык не поворачивается. И думаешь с тоской, что сейчас эти сорок контрабандных, и потом восемьдесят законных, а потом перерыв минут десять, да и от тех он, поди, откусит, а потом еще восемьдесят...

«Латынь зато знали назубок, не то, что нынешние», — скажут они об этом когда-нибудь, когда постареют. Так всегда оправдывают бессмысленное страдание. Впрочем, и слова «латынь» Николаев не любил, настаивал — «латинский язык», не иначе. Что-то ему виделось в этом унижительное, мертвящее, с затхлого склада, с дальней полки... да

какой же он мертвый язык, если до сих пор и читают, и пишут, и издают! Ну и что, что никому не родной, на ирландском вон тоже в Ирландии нечасто говорят, или в Минске на белорусском. Цицерон и теперь живее всех живых!

А ведь всё было просто с этими ранними побудками: Николаев был глубоко и безнадежно холост. Утренние сладкие часы тратил на латинский язык. Да, он из тех, кто неустанно повторял, что филолог-классик есть помимо прочего семейное положение, не допускающее иных толкований, и как будто вторил неумной поговорке: «женщина-филолог не филолог, а мужчина-филолог не мужчина». Так презрительно отзывались об их факультете естественники.

Но был Николаев сам мужчина хоть куда, даже в свои шестьдесят, только неженатый, так что чуть не весь заряд его мужской силы растрчивался на уроках. На экзаменах по античной литературе (сдавали другие отделения, не классики) любил он выбрать барышню понежнее и давай спрашивать ее по «Золотому ослу» Апулея, а для своих, для классиков, приберегал что-нибудь из Катулла — из тех кусочков, какие старым девам и юным монахам читать категорически не рекомендуется. И давай нежную барышню, уж и неважно, с какого отделения, спрашивать об извивах сюжета, или требовать дословного перевода... Та краснеет, бледнеет, а он коршуном:

— Вы что, не подготовились?

— Подготовилась, но...

— Тогда рассказывайте! Тогда переводите!

И только бесхитростная отличница Маринка срезала его ближе к концу второго курса, как раз на Катулле.

— Федор Алексеевич, — сказала она, поправив очки, в самом начале занятия, — я выписала все-все слова и разобрала все конструкции. Но я совсем не поняла, о чем тут говорится!

— Вам и не надо, Марина, — ответил он как-то грустно и в тот день не зверствовал.

Но меняются времена, и мы меняемся с ними. Рассосались после сессии как-то сами собой эти зимние бдения и больше не повторялись, видимо, то была инициация новичков, проверка на вшивость. И

тряпками перестал кидаться, или уже ошибок слишком дурацких от них не слышал. И насчет Апулея как-то поутих.

И все-таки, все-таки... был Николаев именно тем педагогом, к которому хотелось вернуться. Приехав из армии в краткий отпуск, Денис пошел в Универ, к своей группе — и именно на урок латыни. Предъявил «справку об отсутствии» — бумажку из части про свой отпуск, просидел тогда весь урок, разве что не отвечал ничего, но будто в прошлое окунулся. А точнее, в будущее: понимал, что сюда он — вернется наверняка. Пусть и с опозданием на два курса.

И вернулся. И даже как подгадал — через два курса латинский снова вел Николаев, будто не уходил никуда Денис. И вроде как смягчился, по крайней мере, к нему, не зверствовал, прощал подзабытое за время службы.

А вот другой главный язык, греческий вела у них Мария Николаевна Сельвинская — если Николаев играл роль отца-деспота, она была больше похожа на заботливую и требовательную маму, вечно в хлопотах и суете. Могла сама опоздать, минуты через три после звонка приоткрывалась дверь, заглядывала одна ее голова — совершенно древнегреческая, с точеным профилем и изящно уложенными кудрями — и вещала голосом пифии:

— Дети, я здесь! Готовьте листочки!

И сама цок-цок каблучками на кафедру, раздеваться, доставать очередную порцию материалов к учебнику, который она тогда писала и на них отрабатывала черновики.

А дети — ну в самом деле, лет по семнадцать же всем! — печально выдирали страничку из тетрадки и готовились к неизбежному: к контрольной. Мария Николаевна ставила не двойки, нет, не колы — по какой-то особой внутренней системе отсчета весь первый семестр получали они у нее нули, а то и отрицательные оценки. Первая двойка — это уже было как начало выздоровления тяжело больного! Дожил ли кто-нибудь когда-нибудь до пятерки, история умалчивает. А пока они склоняли, спрягали, переводили, ставили неверно ударения и придыхания, совали не те окончания не в те слова, иногда попадая случайным образом в эолийский или дорийский какой-нибудь диалект,

хватали свои нули... И как-то было это хоть и страстно, но совершенно беззлобно.

А стоило кому-нибудь влететь в неприятности — Сельвинская включала весь свой ресурс. Ее близкая подруга Леонтьева была в должности проректора — как раз такого проректора, вернее, такой, что зависело от нее больше, чем от номинального ректора, вялого и отстраненного. Критерий был один: хочет человек учиться, или нет. И если нет — не поможет Сельвинская. А если да... Уж кому как не ей было знать, что вот потел человек, старался, добрался от отрицательных чисел до нуля, так, глядишь, скоро и до положительной единицы дорастет.

Греческая грамматика — она такая, что исключений в ней всегда больше, чем правильных, регулярных форм. Но ведь и люди примерно так же устроены. И год за годом объяснять нерадивым школярам корневой аорист от глаголов на -μ, у каждого свой индивидуальный, неповторимый — это ведь значит и в людях уметь разбираться. Разве нет?

Уж кому, как не Денису, знать об этом! В начале второго семестра на первом курсе он попал, и попал очень глупо. Был на первом этаже их корпуса легендарный мужской туалет, туда даже девчонок по вечерам водили парни на экскурсию, убедившись, что внутри никого нет и встав у входа на стражу. На белоснежных дверях кабинок гласность победила задолго до того, как Горбачев ее провозгласил на остальном пространстве СССР. Там писали объявления, рисовали карикатуры, обменивались четверостишиями — да все, что угодно, что, может быть, в далеком будущем станет возможно, когда изобретут какие-то новые средства глобальной связи. А пока были только белая крашенная дверь да шариковая ручка. И шанс уединиться в кабинке, даже если природа тебя и не зовет в данный момент — но как не воспользоваться возможностью!

И Денис ей пользовался вовсю — да и не только Денис! Двери изнутри кабинок покрывались росписями целиком и полностью примерно за пару недель, потом их красили, начиналось всё по новой. Была, как водится, и порнография, и антисоветчина, но было их не так уж и много — не больше, чем в досужем трепе студентов меж собой. Видимо, это и привлекло внимание бдительных органов, идущих

навстречу XXVII съезду КПСС... как так, вся страна готовится, а у вас в сортире похабень и антисоветские прокламации?!

В общем, тем днем, уже после пар, уединился он в кабинке по причинам вполне прозаическим, но белоснежная дверь звала, манила, да и ручка с собой была. Народу в туалете было мало: дневные пары закончились, до вечерних было еще далеко — так что он даже не обратил внимание на двух хмурых парней, что курили возле окна. И когда минут через десять вышел он помыть руки, под эти самые руки, прямо у крана, его подхватили, а под нос сунули корочку удостоверения, в котором то ли померещилось, то ли действительно промелькнуло страшное слово «...безопасности». Словом, шпиона поймали.

Страшно было тогда до жути, если честно. Его вывели все так же под руки из туалета, довели до машины у подъезда, доставили в отделение милиции в главном здании МГУ, допросили... Поскольку восемнадцать ему исполнялось только летом, вызвали туда, в отделение, маму, пригрозили чуть ли не сроком и уж во всяком случае — отчислением. Ну то есть отчислением из стройных рядов Ленинского комсомола, а это автоматически означало — вылет из МГУ и волчий билет навсегда.

Но, на счастье, не было тогда в его каляках ни политики, ни порно. Была пара карикатур на студенческую жизнь: кто спит на парах, кто их просто в буфете прогуливает. Тучи сгущались, речь об отчислении действительно велась, и он уже присматривался к карте СССР: в Тарту поступать? В Тбилиси? Во Львов? Там, может быть, на периферии, к тому же национальной, как бы даже слегка европейской, помягче насчет всего этого, может быть, возьмут...

Все-таки не отчислили. Комсомол ограничился строгим выговором, а значит, и университет его оставил в своих орденосных рядах. Но сколько и по каким кабинетам ходила тогда Сельвинская — она никому не рассказывала. Знали все только, что ходила, и немало. И Денис остался в комсомоле и универе со строгим выговором — а через год с небольшим и выговор сняли, он отправился в армию, как и почти все ровесники-студенты. Шла Афганская война, Горбачев надеялся поскорее ее закончить, для этого требовались солдаты, солдаты и еще раз солдаты — а, как на грех, в середине и конце шестидесятых рождалось слишком

мало мальчишек. Они — дети детей войны, им отслуживать за тех, кто не родился.

А когда в день открытия съезда народных депутатов Денис ступил на перрон Казанского вокзала, про комсомол все и думать забыли. В армии он снялся с учета, восстановившись в универе — не стал на него вставать, а в анкетах писался беспартийным. И ничего уже не спросили, ничего ему не сделали. Пока два года он стерег священные рубежи нашей Родины, сама Родина изменилась неузнаваемо и безвозвратно.

— Денис! — Мария Николаевна перед ним возникла, как всегда, сама и неожиданно, свежая, бодрая, полная планов, как раз после второй латыни и перед физрой — я поговорила! Антон Семенович, вот запишите телефон...

— А кто он? В связи с чем?

— Наш выпускник, — в ее тоне звучало: «а кого еще я могла бы предложить?» — работает теперь в Загорске, преподает греческий в семинарии. Обязательно съездите к нему, поговорите! Вы же интересовались поэзией Романа Сладкопевца? ¹ Вот он мог бы быть вашим научным руководителем для курсовой.

— Спасибо огромное! — на ходу переписал телефон, помчался в буфет на восьмом, попить кипятку перед литературой. В горле что-то першило... деньги на чай тратить было жалко, не сосиски ведь, сытости никакой, но стояли в свободном доступе граненые стаканы, стоял и бак с кипятком, пей — не хочу. Иностранцы, частые теперь гости, дивились этой советской нищете, но буфетчицы, проникнутые духом гуманизма, кипятков не прятали.

А пока что — греческая литература. Монументальная Ада Гаджиевна Алибекова восседала в собственном кабинете во главе длинного стола, похожая одновременно на всех персонажей Илиады и на горы Кавказа с прикованным Прометеем. Что именно рассказывала она из литературы, казалось уже не таким и важным — это было что-то из разряда мистерий, таинств для посвященных, которым одним доверено понимать античные тексты без прикосновения (ну, почти) к подпоркам ненадежного перевода, а значит — были достойны лицезреть

¹ Роман Сладкопевец — византийский церковный поэт V-VI вв.

ее, а в ее лице — всю историю московской классической филологии.

Сидели они по бокам длинного стола, а под ним были книги, книги, книги, увязанные в пачки. Два с лишним года назад, еще перед самой армией, отправили их на летнюю «практику» в церковь Св. Климента на Новокузнецкой — а ныне коллектор Ленинской библиотеки. Всё огромное ее пространство было заставлено многоэтажными стеллажами (на лагерные нары похоже, подумал тогда Денис, начитавшийся Солженицына), а на них лежали пыльные пачки книг, которые в 45-м году перевязали бечевками, покидали в кузова армейских грузовиков и вывезли из поверженного Рейха вместе с прочими трофеями. И вот сорок лет пылились они, ненужные, на стеллажах.

А теперь настала пора разгрузить коллектор. Их отправили грузить заранее отобранные книги, хоть как-то связанные с классической филологией. А за неимением места в кафедральных шкафах — свалили всё это под стол в кабинете завкафедрой. И так они там и лежали. Хитрые студенты на занятиях порой вытягивали одну-две книжечки, неприметно прятали под одеждой, добавляли в домашнюю коллекцию свой случайный и потому особо не нужный улов. Денис стеснялся, а ведь, пожалуй, и зря — ну если никому не надо, то хоть на сувениры растащить.

И ведь как это было странно, нелепо... вывозили из Германии тонны книг просто «на всякий случай» — а случай так и не настал. Руки не дошли разобрать? Никак не скажешь, что книг везде и всем хватало: то и дело студентам приходилось переписывать тексты для занятий от руки, или даже преподавателю нести ветхую дореволюционную книжку визировать в соответствующем кабинете, чтобы получить доступ к импортному множительному аппарату со смешным названием «Ксерокс» (в честь персидского царя Ксеркса, шутили они, который сумел захватить Афины, и вот теперь поглощает и выплевывает листочки древнегреческого текста). Но к Ксероксу пробиться было не сильно легче, чем в ставку Ксеркса.

Просто как-то вот так, по-советски: бессмысленно, бесхозяйственно, бездумно. Наверное, выгребли тогда университетские библиотеки под корень, и что нужно было оборонщикам, то пустили в

ход. А это, остальное — гнить в бывшей церкви, как картошку совхозную (было ведь и такое приключение после первого курса).

А после литературы — физкультура, самый нелепый урок. Смешно это было: на третьем курсе бегать по легкоатлетическому манежу. Это ведь на физре, прямо в манеже, в далеком 85-м, еще до истории с сортиром, Дениса чуть не уговорили вступить в КПСС. Да-да, честно! Это же надо понимать, что значит вступить в партию: люди годами горбатились, везли всякие возы общественных нагрузок, клялись в верности идеалам коммунизма — и всё равно, если ты не пролетарий, вступить ой как непросто. А на него, семнадцатилетнего пацана, свалилось почти даром в самом начале первого курса!

Он тогда даже не поверил. Наматывали они себе круги по дорожкам, и тут подбежал к нему Гоша Саркисов, лингвистический гений и потомок закавказских князей, радостно завопил:

— Денюха! Ты вступаешь в передовые ряды борцов за светлое будущее! Пиши давай заявление!

Денис сперва не поверил: Гошка славился приколами. Языки, к примеру, учил запоем, не упускал ни одного случая проспрягать какой-нибудь глагол. Ребята однажды в раздевалке на той же физре попросили его назвать все формы (а их там несколько сот!) от глагола βλάπτω «вредить», и вот Гошка зарядил свое «бляпто-бляптейс-бляптей-бляптомен...» Митрич, сторож раздевалки, рассвирипел, ринулся на него с веником: «Ах ты растакой, еще одной, небось, не поцеловал, а туда же...» — а невинный и ничего не соображающий Гошка, ловко уворачиваясь от его веника, знай себе продолжал: «эбляптон, эбляптес...»

Но в особой любви к коммунизму Гоша прежде замечен не был. Денис тогда отмахнулся, как от нелепой шутки. Но Гоша настаивал. Путем долгих выяснений удалось понять, в чем там дело.

Спустили сверху разрядку: принять в КПСС мальчика с первого курса. Там же как было: чтобы равными оказались данные по числу членов партии соответственного пола, возраста и профессии. В общем, в каких-то поднебесных сферах недосчитались в рядах партии одного мальчика-филолога. А кого принять? Мальчиков на филфаке негусто, но

сильно больше одного.

И тут кто-то в парткоме обратил внимание на печальный факт: за последние двадцать лет в партию не вступил ни один классический филолог, зато трое выпускников приняли священнический сан. Непорядок!

Мальчиков-классиков на первом курсе было двое: Денька и Гошка. Деньку, соответственно, назначили старостой, Гошку комсоргом (надо же блюсти патриархальные традиции!). Ну и вызвали Гошку в комитет комсомола, многозначительно сказали, что есть вакансия... Ждали, конечно, пламенных заявлений, что он оправдает доверие товарищей и вступит сам, но чокнутый гений подпрыгнул и завопил:

— Аксентьев вступит! Аксентьев Денис! Пойду, обрадую...

И обрадовал, прямо на физре.

— Тебе надо, ты и вступай, — оборвал тогда его восторги Денис, — а меня не впутывай!

Долго они тогда перепирались, наматывая круги, и порешили так: в КПСС вступит Виктор Петров. Это была легендарная личность, ошибка машинистки, «подпоручик Кижэ». С самого первого сентября первого курса был он во всех списках в их группе, но его никто никогда не видел, не обнаруживалось ни малейших следов его присутствия. Видимо, его записали по ошибке, учился он на самом деле на другом факультете, или еще каким случайным образом проникли имя и фамилия в списки. Но до первой сессии числился всюду фантомный Витя, и в сентябре преподаватели даже спрашивали о причинах столь долгого отсутствия студента Петрова, к немалому веселью остальных.

— В КПСС вступит Витя Петров! — торжественно заявил Гоша в комитете комсомола на следующий день. Там уже были в курсе этого прикола, покачали головой... и приняли кого-то с русского отделения, к неожиданной радости парня.

Но теперь на физре можно было уже не бегать — после армии Денис это занятие возненавидел всей душой. Оказалось, можно было записаться в бассейн в Главном здании, и совершенно законно и бесплатно плавать сорок минут подряд, что вместе с раздеванием-душем-одеванием и составляло целую пару. А удовольствия сколько! А

если учесть, сколько вокруг было гибких, красивых девчачьих тел... Особенно вот та, или эта, и можно даже познакомиться.

Но в сумке лежала книга — «Таинство, слово, образ» — и ее надо было отдать совсем другой девочке, Вере. Вот, как раз поймать ее перед философией у поточной аудитории. И вроде одно другому не мешало: книжка знакомству, — а как-то... как-то удерживало, что ли. Ничего, познакомимся в следующий раз. Вся жизнь впереди!

И только уже выходя из бассейна, Денис окончательно сообразил, что на философии он Веру не застанет точно. Если уж он ее прогуливает, тем более — строгая барышня в платочке, юбке в пол, и мужских ботинках размера на два побольше (а ведь наверняка симпатичная, увидеть бы в бассейне!)

Философию читала Вероника Ивановна Елкина. Еще совсем недавно числилась вся эта философия марксистской, состояла из материализма диалектического (это на втором курсе) и исторического (уже на третьем). Или... или наоборот? Денис не помнил, хотя за этот самый материализм получил в июне 87-го твердую пятерку. Разве что в зачетке подсмотреть, какой там у них был материализм. Его тогда через две недели ждал военкомат, готовился он вечером перед экзаменом часа два или три из всего семестра. Раскрыл учебник, полистал... ну, вроде всё понятно про Маркса-Энгельса-Ленина, про то, что учение их всеильно, поскольку верно. Интересно, закон Бойля-Мариотта про давление газа при постоянной температуре тоже верен — он что, всеилен? Или закон Гримма о германском передвижении согласных? Чушь какая!

А когда наутро вытащил билет, похолодел. Первый вопрос был про какую-то статью Ленина, о которой он прежде даже не слышал. А второй был полегче: XXVII съезд КПСС о... то ли о минеральных удобрениях в сельском хозяйстве, то ли о международной обстановке и новом мышлении (так выговаривал Горбачев, а за ним и дикторы коверкали), то ли о борьбе с алкоголизмом и самогоноварением, неважно. Про решения съезда талдычили с утра до вечера по всем каналам, глухой запомнит. Ну, на троечку как-нибудь можно вытянуть на втором вопросе, даже с плюсом, пожалуй.

Главное, до него добраться. Работа Ленина называлась «против таких-то» (уклонистов каких-то, соглашателей или еще каких гадов

рабочего движения). Значит, это еще до революции. И про этих самых соглашателей что-то было в учебнике, он накануне проглядел по диагонали. А все работы Ленина строятся примерно по одному принципу: мой оппонент козёл, а я во всём прав, ура, товарищи. В общем, нетрудно наболтать.

Он пошел отвечать не к преподавателю средних лет (как бишь его звали?), а к молодой и с виду строгой аспирантке, надеясь, что посмотрит она на него не только как на студента. Девочкам он вообще-то нравился...

— В своей работе «Против таких-то», написанной в одна тысяча девятьсот ...ятом году (нарочно прожевал последнюю цифру), Владимир Ильич Ленин разоблачает всю гнусную сущность учения своих противников, которые отвлекали рабочий класс от борьбы за светлое будущее всего человечества. Ленин как вождь российского, а в будущем и мирового пролетариата, опровергает буржуазные измышления соглашателей о том, что пролетариату якобы не нужно бороться за свержение буржуазного правительства, тогда как, напротив, только свержение существующего режима могло обеспечить...

Язык у него всегда был подвешен хорошо. Можно было надеяться даже на четверку.

— Второй вопрос, — бесстрастно и замордовано сказала аспирантка.

— Двадцать седьмой съезд КПСС, прошедший в феврале-марте текущего года в столице нашей Родины городе-герое Москве, подтвердил курс нашей партии на строительство коммунизма, отметив в то же время необходимость ускорения научно-технического прогресса и преодоления отдельных застойных явлений, которые являются в отдельных случаях...

Болтать надо было уверенно, безостановочно, лучше косноязычно, чтобы за кашей из штампов и тавтологий спрятать полное отсутствие мысли. Этот основной принцип советской риторики Денис усвоил на отлично.

«Отлично» и вклеила она ему сдуру в зачетку. Он аж не поверил, открывал книжечку еще два раза: «отлично». Он же вообще ничего не

знал ни по первому, ни по второму вопросу, никогда такого с ним прежде не бывало. А и не надо знать — то был тест на совместимость с Системой, как и любое партийное, комсомольское, пионерское собрание, как политинформация в сопливом пятом классе перед уроками, как октябрятская звездочка и полив цветов на подоконнике в еще более сопливом втором. Он прошел испытание вполне успешно: бездумная болтовня, опять, ныне и присно, и во веки веков. Ведь это всё никогда не закончится, думали они тогда. И сдавали, сдавали, сдавали ленинские зачеты...

Эту аспирантку он встретил через неделю в восьмой столовой, общей для многих факультетов. Она стояла в очереди перед ним, через одного человека, и рядом с ней — статный усатый парень, они были явно друг другу интересны, знакомство только начиналось.

— Я биолог. А вы... вы на каком? — спросил он ее

— На философском, — ответила та с некоторым смущением.

— На философском? А что там... нет, ну я понимаю, надо там опровергать инсинуации всякие, но ведь в философии уже всё открыто марксистами? Чем же вы там занимаетесь?

На аспирантку было жалко смотреть. Вот потому она ему «пять» тогда и поставила ни за что, сама, видно, всё понимала...

Что она тогда ответила, он уже не помнил. Но поразился: как же можно было испохабить это благородное искусство любомудрия, от Сократа, Платона и Аристотеля — низвести его вот до этой примитивной затычки пропагандистов советских, к разъяснению, почему начальство опять всё сделало верно.

А вот теперь — пожалуйста, и Платон на лекциях со своим идеализмом, и Кьеркегор (как бишь он правильно пишется?) с экзистенциализмом, и Бердяев-Флоренский: вот какая, оказывается, была у нас философия в СССР, пока одних не выслали, а других не расстреляли. Многие морщились: раньше был один кирпич-учебник Спиркина, достаточно выучить определения: «материя есть объективная реальность, которая дана человеку в ощущениях», а теперь как? Где этого Кьер-как-бишь-егора брать? Денис над ленинским определением материи только хихикал: тогда для верующего Бог материален, потому

что реален и дан в ощущениях. А вот электромагнитное излучение — нет, потому что человек его никак не ощущает.

И всё это философское изобилие теперь читала всё та же Елкина, что и в глухие времена марксизма-ленинизма, и хорошо, говорят, читала — а он не ходил. Доверия не было после той «пятерки». И уж тем менее будет ходить Вера.

А куда же подевались теперь все эти историки КПСС, что терзали их съездами на первом курсе? Кречетов, кажется, ушел на пенсию, нигде не видать. Был у них такой пламенный сталинист, читал лекции, вёл семинары. Прославился своими потугами говорить на латыни прямо на общей лекции...

— Quo usque tandem, Семенов, potentia nostra?! — пафосно воскликнул он, глядя на дремлющего, и уже не в первый раз, разгильдяя Семенова. Фраза к концу первого курса знакома была уже всем, хоть и в разной степени, латынь-то всем преподавали. И фраза из Цицерона самая знаменитая: Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? «Доколе же, Катилина, ты будешь испытывать наше терпение?» Только Кречетов потерял глагол, а непонятную ему *пациенцию* заменил на хорошо знакомую *потенцию*, и вышло: «доколе же, Семёнов, наша власть?» Или даже проще: «сколько еще у нас стоять будет?» Отличный вопрос. И за прошедшие три года он неожиданно стал очень даже актуальным. Как там насчет шестой статьи Конституции СССР, о руководящей и направляющей?

Что же до потенции, то девок Кречетов любил, хотя бы оглядывать. Особенно полненьких. В начале второго курса Валька Чеснокова со славянского гордо продемонстрировала всему курсу, как сбросила десяток кило и пару размеров, все шумно одобрили, и только Кречетов... Обожал он, ветеран Отечественной, в начале семинара устроить перекличку, и чтобы все вставали и отвечали «я». На парней он особо не глядел, а вот девчонок глазами сладко оглаживал. И по тому, как говорил «садись»: медленно, сочно и с протягом, или сухой скороговоркой, — было ясно, какую поставил оценку за экстерьер, без занесения в журнал, конечно. Зависело исключительно от объема.

— Чеснокова! — привычно скомандовал он, и Валя, гордая, встала.

— Са-адись, — махнул он печально рукой, — всю красу, Валентина, растеряла...

Так вот, он больше не преподавал. Не видно его было в коридорах, несовместим, видимо, оказался, с новым мышлением, с гласностью и перестройкой. И даже в голову не приходило, что может — заболел, или вообще... — такие ведь не болеют, они железные, они не из плоти. Так Денису казалось. Хотя ходил Кречетов прихрамывая, память о фронтовом ранении, но это ведь тоже часть героического подвига советского народа, это же не как у всех людей.

Как хорошо, что это всё в прошлом! Теперь те же самые, ну или почти, преподавали «СПИДвека», как сразу стали звать эту дисциплину. Официально — «социально-политическая история двадцатого века». Ну то есть та же капээсня, только в духе плюрализма: и про Бухарина с Рыковым расскажут, и ГУЛАГ в красках живописуют, да еще и обсудят вопиющие ошибки сталинских маршалов в начальный период войны. Ну, не далее этого предела, конечно. Современное — его трогать не велено.

Но Вера, Вера! Где ж ее теперь искать? Денис всё же подошел к девятой поточной, где должна была начаться через пять минут философия, в надежде, что и с Елкиной не встретится, и книжку кому-нибудь из Веркиных подружек отдаст.

И вдруг, прямо навстречу — простенький синий платочек, как в песне, кофточка какая-то безразмерная и бесцветная...

— О, Верка, привет!

— Здравствуй! — улыбалась она нежно и просто, вроде и ничего особенного, а залюбуешься.

— За книгу спасибо, — протянул ей потрепанный томик.

— Пригодилась?

— Понравилась, — уклончиво ответил он.

— Я тебе еще отца Александра принесу, — чуть помедлив, сказала она, — там про Библию есть, тоже брюссельское издание... Многие говорят, он слишком прокатолический, ну почти что униат, но мой духовник сказал, что с разбором, с осторожностью можно. Я думаю, тебе...

Но закончить она не успела — за ее спиной выросла монументом Елкина, и на лице Дениса изобразилось всё, что положено нерадивому студенту при виде преподавателя.

— Вы, никак, на лекцию? — с ласковой улыбкой спросила Елкина.

— Вероника Ивановна, простите, — Денис сглотнул, — я бы обязательно, но у меня очень важная деловая встреча...

— Успешных переговоров, — кивнула она насмешливо, — кооператив?

— Ну, не совсем... буду давать уроки...

— Не забывайте только сами учиться, молодой человек! — назидательно сказала и прошествовала в поточную, ровно за десять секунд до звонка. Эх, припозднился он после бассейна...

— Ну, до встречи, — Вера сделала полшажочка за ней.

Денис изумленно вскинул брови, немного театрально: ты — на эту марксистскую чушь?

— Сегодня про русскую религиозную философию, — ответила та на неспрошенное, — это же обязательно надо. Флоренский... ты читал «Столп и утверждение истины»?

— Да нет... — растерянно протянул он.

— Я обязательно спрошу для тебя, — улыбнулась она снова, — там был ротап rint. До встречи, Деня!

— Пока...

И — бегом в раздевалку, за курткой, не опоздать, его же будут ждать там, в Университете Цивилизаций! Точнее, в подвале на Ломоносовском, тут совсем недалеко. На первую встречу — только вовремя.

А всё-таки какая она... настоящая, эта Вера. Плевать ей на моду, на условности. Живет, как считает правильным. И книжки, какие книжки она ему таскает! У нее там круг общения свой, православный...

Но об этом — потом. А сейчас, мимо яблонь, под сереньким мелким дождем (и зонтика, как назло, не захватил!), мимо метро — в солидный кирпичный дом, в тот самый подвал. Там вообще-то помещался «Клуб ветеранов», но ветераны были ни при чем. Эх, а у метро кооператоры

так соблазнительно продавали нежнейшие и румянейшие булочки с корицей по 45 копеек, унылые государственные стоили бы всего 15, да тут не продавались, а полтинник на булку было ой как жалко, и здорово, что сосиски все же в буфете перехватил. А то в последнее время и сосиски, шик студента (как в анекдоте: «две сосиски и восемь вилок»), стали частенько из буфета пропадать.

В середине сентября неожиданно предложила эту работу... мама. А точнее, ее давняя подруга Элла Александровна, журналист, редактор, загадочная дама с восточной внешностью. Денис ее едва помнил по раннему детству и совместным каким-то поездкам в Кусково и Переяславль-Залесский. И вот теперь, окрыленная перестройкой, решила она выбраться из туманных редакций и трескучих машбюро, из рубрик «дневник соцсоревнования», «письмо позвало в дорогу» да чудовищные «их нравы» — и заняться, наконец, тем, чем хотела заниматься всегда: просвещением.

Это было просто и ясно: создадим свой университет! Позовем Аверинцева, Лихачева, кто у нас еще из светил? Лихачев в Ленинграде, простите, Питере, ну ничего, мы ему купим билет. О, заодно позовем Гумилева! А еще, еще нужно, конечно, преподавать латинский, а может быть, и древнегреческий, и даже санскрит, хотя и английский не помешает. Но английский есть теперь везде, и кое-где французский с немецким, а вот древние языки — это будет только у нас.

Мама Дениса, многолетний сотрудник Ленинки, на такие разговоры только ахала: а как это, работать не на государство? А это законно? А вдруг завтра всё запретят? Но сынулю рекомендовала. Денис сходил на собеседование, на самом деле — на долгое и уютное чаепитие в маленькой Эллиной квартирке в Кузьминках, они друг другу понравились и вопрос был решен. Осталось договориться о технических и организационных деталях. Элла отправила его к администратору Наде, а Надя назначила по телефону встречу ровно там, где и будут проходить уроки. А именно — в клубе ветеранов в доме по Ломоносовскому проспекту. А что, клуб этот почти всегда пустовал, деньги и ветеранам будут нелишние...

Дверь открыла девушка... впрочем, нет, молодая женщина лет тридцати в серой водолазке, с копной каштановых волос. Нос был с

маленькой интересной горбинкой, а глаза серыми. И с широкой, простой улыбкой, с порога сразу:

— Привет! Ты Денис? А я Надя. Сработаемся.

Под Брыльскую, что ли, она косит, — подумал он отчего-то сразу, — хотя нет, тогда бы под блондинку покрасилась.

— Здрасьте, — буркнул он.

— А чего сердитый? — она улыбнулась еще шире.

— Да нет, — махнул рукой, словно мысли отогнал, — так просто.

На самом деле, показалось, что она с ним как с мальчишкой... И чтобы не обсуждать вот это вот всё, сразу перешел к делу:

— Значит, занимаемся здесь?

— Здесь, — кивнула она, — устроит? Доску и мел обеспечим.

Денис придирчиво огляделся. Так, в целом неплохо, хотя пару столов надо будет переставить, лучше всего их в кружок, чтобы не как в школе. Но одна вещь все же смущала...

Со стены на него смотрел добрым и мудрым деревянным взглядом вождь мирового пролетариата. Был он изготовлен в необычной технике, набран, как мозаика, из кусков разноцветного дерева и покрыт сверху лаком — наверняка из Прибалтики, там такое любят.

— А вот этого, — Денис показал пальцем, — я на время занятий буду снимать. Или — лицом к стене.

— Наш человек! — рассмеялась Надя, — только потом не забудь на место вернуть. А то ветераны нас сожрут.

— Не забуду, — кивнул он, — Надежда, к вам два вопроса.

— Надя и «к тебе», — сходу поправила она.

— Надя... ну да. К тебе, — он даже слегка растерялся от напористой простоты, но не звучало в этом ни панибратства, ни навязчивости.

— Так какие вопросы-то?

— Два. Первый... учебники. Где брать? Ну, допустим, какие-то таблицы я сам нарисую, тексты возьму из нашего филфаковского, но на всех — как размножим?

— Уже подумали, — кивнула она, — в одном институте нам дают допуск к ксероксу. Правда, только по субботам. И немного. И за деньги.

Ну, переложим расходы на наших студентов, копеек по десять за лист. Ничего страшного.

— Во-от! — он поднял палец, — а где мы их возьмем, студентов? Как они о нас узнают? Это второй вопрос.

— А вот этим мы с тобой и займемся, Денька, в ближайшее время. Денька — ты же позволишь мне так тебя называть?

Ну точно она как с мальчишкой разговаривает...

— Вообще-то...

— Ну хорошо, хорошо, Денис. Давай мы с тобой сочиним забойный такой текст. Вот чтобы сразу наповал. Вот прямо сейчас. Всё, что вы хотели узнать об истории мировых цивилизаций, но только не знали, кого спросить, и такое разное.

— И?

— И распечатаем его. У твоей мамы, Элла говорила, принтер в кабинете есть?

— Да нет... просто электрическая пишмашинка. Но есть.

Стрекочущее могучее чудо действительно стояло, итальянского производства, и можно было создавать нетленные произведения, он с десятого класса баловался, как ее поставили. А сам со стипендии накопил на маленькую югославскую, купил ее по записи в специальном магазине на Пушкинской в начале 87-го, как раз перед армией. Полгода ждал, когда завезут! Но не обманули, прислали тогда открытку.

— Ничего, она пять-шесть копий четких берет, наверное. Ну вот, напечатаем объявления. Потом отксерим еще сотенку, потратимся немножко. Можно даже поверх фломастером потом пройтись или карандашом, выделить цветом главное. Ну и поклеим в самых интересных местах, где народ ходит подходящий.

На лице Дениса отобразилось сомнение.

— Да ты не бойся, — снова рассмеялась она, — это же не против шестой статьи. Это про наш Университет Цивилизаций. А против шестой — это уж я в свободное от Университета время. Это я не втягиваю, строго добровольно.

— Я, Надя, — он подчеркнул, выделил, — не боюсь. Я просто

сомневаюсь, что люди придут.

— А значит, надо так написать, чтобы пришли. Ты представь себе, День... ой, то есть Денис. Вот я закончила химико-технологический, да много нас, таких. Производство, НИИ, вся эта шняга по разнарядке. И мы только теперь — вот только теперь, поверишь ли! — получили время, деньги, возможность вообще хоть что-то такое узнать для себя, для души. И ведь пустыня кругом, пус-ты-ня. И ты как оазис. Много к тебе путников придет? Да все, какие будут.

Это даже звучало не лестью, а правдой.

И они сели сочинять объявление. Ржали как ненормальные отчего-то, хотя трезвые были оба, и через полчаса был готов забойный, прикольный такой текст — а Денька и Надька были лучшими в мире друзьями.

Вечером дома ужинали банницей (так мама называла немудреное блюдо из хлеба и домашнего сыра, который сама же и заквашивала из пакетного молока). Мама расспрашивала, умилялась, гладила по голове: «как мальчуган-то вырос!» — а взрослый Денька отстранялся, бухтел, наконец, ретировался в комнату — заниматься. На завтра греческий не был сделан.

Из маминой комнаты — она же общая — доносился легким фоном прогноз погоды. «В Волго-Вятском районе... в республиках советской Прибалтики...» Ему показалось, или правда они теперь с особым нажимом говорили «советской»? Про Волго-Вятский такого слова не добавляли! Чей же еще, как не советский, кому он еще нужен...

И звучала, звучала та самая мелодия, где в оригинале про Манчестер и Ливерпуль, а в пионерлагере девчонки пели, обмирая от неминуемого пубертата и предчувствия великой любви и такого же великого обмана: «Я люблю», — сказал мне ты, и это слышали в саду цветы, я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда... а память, а память, траля-ля-ля-ля-ля-ля...» — дальше он не помнил.

Греческие слова перед глазами расплывались, а вместо них — строгая и приветливая Вера в ее дурацкой черной кофте с книжкой под мышкой, серенькая такая мышка, миленькая, маленькая... и гибкие,

гладкие, голые тела в бассейне... и каштановая эта копна волос, серый этот насмешливый взгляд, эта напористая простота — он даже не спросил, растерялся, замужем ли она. Кольцо ничего не значит, мама вон как долго свое после развода носила.

Спать лег раньше обычного, повалился в мутную, рваную черноту, успев услышать далекий бой курантов за окном — до их дома в Салтыковском переулке, окнами в сторону Красной площади и за полкилометра от нее, они долетали ночью, когда стихала дневная суета. Он засыпал, отчего-то вспоминая свои стихи — те, которые сочинил еще в армии, торопя этот день...

*Ты будешь бить в колокола
домов окрестных и тонуть
в моем купе сквозь муть стекла...
К Казанскому, на третий путь!
Стройнее ангельских хоров —
забытый гул твой привокзальных
машин и толп, и чуть печальней —
детей, деревьев и дворов.
Ты будешь тише детских снов,
мой неприметный переулок,
отвыкший от моих прогулок —
заслышав шум моих шагов!
Все сбылось. Все здесь. И пока что — ночь.*

Сон об отце

...скользя в глухое, черное небытие как в омут, чтобы изнутри него всплыть в какой-то другой, неведомой жизни. Игра воображения, обрывки впечатлений? Или, как считали древние, забеги в иные миры? Откровения свыше? Сны, просто сны...

Он идет по улицам города, залитым безжалостным, бессмысленным солнцем. Этот город во сне ему — родной. Жестокий, постылый, но родной.

Он идет... нет, впрочем, почему он? Он — это я. Я иду мимо раскаленных белых стен, невольно шурю на свету, выбираю, где только возможно, теньевую сторону. Новые сандалии немного жмут, но это недолго, скоро разносятся. Пахнет чужим и дешевым бытом. Привкус пыли на языке, солнце в глаза.

Дорога мне хорошо знакома, она проста и тревожна. Сейчас будет поворот направо, там еще два квартала — и площадь, пересечь ее — что реку переплыть. Только в реке крокодилы, а на площади — знакомцы.

Кто эти люди? В пространстве сна я знаю их, а они меня. Наяву я никогда их не видел, а здесь, стоит им подойти поближе, всплывает припоминание.

— Горе-то какое, — причитает пожилая женщина с седыми космами, противно хватая меня за руку, — как же вы теперь...

Это соседка. Липкая, приторная соседка, вроде сочувствует нашему горю. Так, а какое у нас горе? Я иду к отцу. Это я знаю точно. Мне обязательно надо увидеться с ним. Пожалуй, он и расскажет?

— Ничего страшного, — стряхиваю я ее руку, — благодарю за заботу.

Глаза у нее становятся квадратными:

— Да как же вы теперь? Как же мама твоя... а ты так молод! А братишки-сестренки твои?

— Ничего, мы справимся, — отвечаю я с достоинством, но внутри

сосет и тянет: в семье беда. И семья большая. Нам будет трудно. Что это, я не знаю.

А вот строгий мужчина с кудрявой бородой:

— Ты здесь? А речи приготовил?

— Я...

— Не забудь: послезавтра у нас занятие!

Это учитель. Я должен был приготовить какие-то речи, но я не успел. До них ли теперь? Это сон, я, наверное, проснусь раньше, чем в этом мире настанет завтра...

— Речь в защиту царя Эдипа и обвинительная речь против него же. Не забудь! Вся школа будет следить за твоим выступлением. И еще, придет один важный человек, это будет твой самый счастливый день, если ты ему понравишься.

— Дело в том, что...

Мне надо протянуть время. У нас с мамой какая-то беда, непонятно какая, и на этой залитой жаром площади только я один не знаю о ней.

— Мне это известно, мой дорогой, — учитель покровительственно кладет мне ладонь на плечо, и это не противно, как с той теткой, — но подлинный философ знает, что жизнь конечна, и добродетельный муж уходит из нее с поднятой головой. А учение, которому причастен твой отец, и которого я не разделяю, настаивает, что посмертие будет исключительно благим для таких, как он. И я не сомневаюсь, что божества загробного мира, какими бы они ни были, оценят по достоинству...

— Теперь — до речей ли? — я все пытаюсь понять, что произошло.

— Никогда не должно забывать о благородном искусстве словосложения, — улыбается он, — и уж точно, что не тебе. Ты справишься. Я знаю. Передавай Леониду мой пламенный привет и пожелания благополучного исхода.

Моего отца зовут Леонид, теперь я это знаю. Где я, в каком времени и какой стране? Греция? Но почему в толпе так много смуглых, а то и вовсе чернокожих людей? Почему вокруг слышна разноязыкая речь? Сон — это фантазия. Надо просто провалиться в нее, прожить этот кусочек

чужой жизни...

Запахи прогорклого жира, человеческого пота и животной мочи смешиваются с легким привкусом благовоний — рядом, верно, рынок и еще какой-нибудь храм. На рынках всегда есть храмы, торговцам нужна удача. Гул толпы, рев ослов, скрип колес, грохот города, где стесняются тишины.

— Посторонись!

Толпу словно разрезают надвое невидимым ножом, люди расступаются, делая вид, что это они сами, их прогнали не чеканные шаги, не звон металла...

Легионеры! Багряные в тени и алые на солнце кровавые плащи. Зброшены за спину щиты, обветренные лица — в каплях мелкого пота, руки надежны и мускулисты. Короткая команда на латыни — они встают полукругом, десяток воинов раздвигают толпу в сотню человек, не прикасаясь руками. Десятник, вскидывая правую руку вверх (пройдут века, и этот жест свяжут не с Римом, а совсем с другой жестокой властью) выкрикивает грудным, громовым голосом:

— Граждане города Александрии, да ведомо будет вам, что завтра утром совершится казнь...

Я не слушаю дальше. Меня пронзает догадка: отец. Сегодня последний день. Здесь, на самом краю площади, вход в городскую тюрьму, там охрана — не легионеры, а из местных, александрийских. Станут легионеры пачкаться о бунтовщиков! Но моему отцу отрубят голову самый настоящий римский палач. Мой отец — гражданин Рима.

Я бегу, расталкивая людей, вслед улюлюкают или сочувственно кивают: «Смотри, смотри, старший сын того самого... ох и солоно придется, парень! ... совсем молоденький... а ведь тоже, небось, из этих...»

Двое эфиопов с копьями у невзрачной дубовой двери в чугунных заклепках — у входа в тюрьму. Вот кто привык и к гвалту, и к солнцу.

— Я...

— Не велено, — равнодушно отвечает один, помладше и на вид подбрее.

С ужасом понимаю, что нет у меня для них подарка. Впрочем,

есть... в поясе. В поясе должна быть монета.

— Не велено пускать, — повторяет тот, кто постарше и погрознее. Второй молчит.

— Вот, возьми, — мои дрожащие руки освободили блестящий кружок из матерчатого плена. Динарий совсем новенький, с профилем императора. Какого? Не успеваю углядеть.

— Не возьму, — отвечает старший, — не велено. Строго у нас.

— Я возьму, — скалит зубы тот, что помладше и повеселее, — давай сюда.

Я вопросительно смотрю на старшего. У нас лишних денег не водится, а скоро с ними станет совсем трудно. Скоро. Уже завтра. Что, если младший просто издевается?

— И ты не бери, — нехотя бурчит старший, — все одно не пустим. А передать что — передадим.

У меня в руке — и откуда только взялась, я раньше не замечал, — корзинка, собранная мамой. Точно, и сверху — небольшой пирог, угощение для стражников. А всё, что ниже, под чистой тряпицей, — уже для отца.

— Это вам, — протягиваю я им угощение.

— Это можно, — одобрительно вздыхает старший, — давай свою жратву, передадим в лучшем виде.

— Можно, я хоть записку напишу? — спрашиваю я и понимаю, что чернильного прибора у меня с собой нет, и папируса тоже. Впрочем, совсем рядом рынок, а у меня остался динарий...

— Вечером приходи, — вполголоса шепчет старший, — сейчас тут эти, римские крутятся... мы же все александрийцы, что, не договоримся? Нас вечером сменяют, заступят там еще двое, ну, мы им скажем. К закату ближе — приходи, пропустят. За монету.

— Обещаешь? — смелею я.

— А это как Судьба определит, — скалит он зубы, белее стен окрестных домов.

— Я вернусь, обязательно вернусь вечером, — вздыхаю я.

Я должен увидеть отца. Спросить его о чем-то невероятно важном,

что-то ему напоследок сообщить... Площадь плывет под ногами, такая жара, я сажусь в тенечке, голова кружится, она уже не здесь.

Я проваливаюсь в другой сон, не до конца расставшись с этим. Сон внутри сна. Меня сморило от жары там, на площади.

...Колонны возносятся до самого неба — или нет, над ними есть еще крыша. Но крыша храма и есть небо, разве нет? А на этих колоннах — ряды непонятных значков, рисунки людей, чьи руки вывернуты в странных жестах: грудь у них смотрит на тебя, а голова повернута вбок, и туда же смотрят ноги.

Я видел их и раньше, такие фигуры. Но как-то не особо примечал, не задавался вопросом, что они значат. А здесь, на этих колоннах, на стене храма, в окружении таинственных значков — я будто открыл их впервые. Да, здесь они на месте. У себя дома. И если ты хочешь войти в их дом, нужно вывернуться, чтобы голова не как грудь, но у меня это точно не получится. Мне всего двенадцать лет...

Сверху смотрит хищная и мудрая голова сокола на человеческих плечах. Это божество, ему посвящен храм. Зачем ему человеческое тело? Будь я таким, летал бы себе как сокол и ни о чем не заботился.

За руку меня крепко держит высокий и смуглый сухой старик — мой дед, отец моей матери. Он говорит с кем-то другим, низеньким, толстым и лысым, обернутым в дорогую льняную ткань небесного цвета. Другой пахнет тайнами и божествами. Дед почтительно склоняет голову, упрашивает, почти умоляет. Я почти ничего не понимаю — это древний, священный язык, мальчишки на улице или торговцы на базаре так не говорят. Мать меня ему не учила.

Жрец молча уступает, делает знак: заходите!

— Ты — рожденный от Гора! — говорит мне дед.

— Моего отца зовут — Леонид... — растерянно отвечаю я.

Тот отмахивается с легкой досадой и повторяет:

— Ты — рожденный от Гора, таково твое древнее имя. Войди в дом Гора, чтобы почтить прародителя и принести ему в дар...

— Мне нельзя, — шепчу я и пячусь, — отец говорит, что...

— Он ничего не знает о Стране Маат², этот человек, твой отец, — неожиданно вступает в разговор жрец на нашем нынешнем языке, — века и тысячелетия жили мы по своему укладу, и не пришельцам его менять. Войди в дом своего прародителя, отрок, и приветствуй Светлого Сокола.

Я не готов спорить с ними, я просто мальчик. Мы вступаем в прохладный полумрак, тени колышутся и ползут по стенам и колоннам, бесконечным колоннам — где-то там, наверху и вдали, горят светильники, пламя слабо колеблется на сквозняке, и эти фигуры дрожат, дышат, окружают меня со всех сторон...

Пятна далекого зыбкого света, пряный и пьяный дымок от курильниц, запах божеств всё сильнее — и влажное, глубокое пение звучит где-то там, впереди. Я почти совсем не понимаю священного языка, но звукам не нужен мой куцый словарь, они проникают внутрь души — той, что покидает оболочку во время снов и обрядов, что беседует с душами бессмертных и умерших, что не имеет названия на языке моего отца. Это на нем я тогда обещал, что... но теперь — что я могу поделать? Я забыл обещания, их развеял сладкий дым курильниц.

Мне двенадцать, это возраст приведения к Гору, и потому я здесь, ведь это мое, мое, мое — говорят мне, а я не верю. Мое от предков, от тысячи тысяч поколений великого возвращения, от неба, по которому плывет ладья Солнца, от священной Коровы, которая поила меня своим молоком, от матери-ночи, которая давала мне отдых, от Отца-Сокола, который меня породил. Вода, которую я пил, и хлеб, который я ел, и воздух, которым я дышал, и солнечный свет, и материнская ласка — они мои и не мои. Они — Маат.

Голос поет мне о великом отце, который родил меня задолго до моего рождения, к которому вернется моя душа — та, иная, что покидает оболочку после смерти и предстает перед судом божеств и собственной совести. Об Отце, который породил нашу землю из небытия и озирает ее с неба своих небес, чье имя целительно, как глоток воды в жару, и я погружаюсь, без остатка, до конца, в это имя, я проваливаюсь в новый сон — и дед едва успевает там, в этом храме, подхватить слабеющее

² Маат — древнеегипетская богиня справедливости.

тело...

...оно стало еще меньше, это мое тело. Мне лет восемь или девять, мой отец снимает с меня хитон, а вокруг — сумрак, светильники, свежесть вечерней прохлады и множество полужнакомых людей. Они чему-то рады, а мне чуточку стыдно стоять среди них голышом. А главный среди них — величавый старик с корявыми, ломанными пальцами. Он так цепко держит ими свой посох! Именно в эти руки скоро передаст меня мой отец. Мне страшно.

— Папочка, кто он?

— Это честь для тебя и всех нас, что сам Феликс Аквилейский, прибывший к нам из далекой Италии с посланием братской любви, введет тебя во врата рая. Зови его отцом.

— Но папочка, ведь ты...

— Я родил тебя ко временной, он же — родит к вечной жизни.

Старик улыбается мне, протягивает правую руку — еще страшнее, пальцы кривые, рваные, на них нет ногтей! И нет нигде мамы. Она сюда не ходит, я знаю. Мамы нет — и кто защитит меня от полузвериной лапы?

Старец спрашивает, не сурово, скорей внимательно:

— Готов ли ты? —

— Не знаю...

— Веруешь ли ты, — его голос строг и ласков одновременно, — веруешь ли ты, дитя, в Отца, и Сына, и Святого Духа?

— Да, — мне легко говорить ему правду. Это так. Мы много говорили с отцом.

— Отвергаешь ли ты, — глас звучит торжественно и грозно, — языческие мудрования века сего, топчешь ли скверных идолов, плюешь ли на могущество лукавого сатаны и всех ангелов его?

— Да, — мой голос обретает уверенность. С таким грозным стариком... пожалуй, можно и плюнуть!

— Готов ли ты приобщиться к братьям и сестрам, чтобы разделить с ними радость и горе, страдание и счастье, жизнь и смерть? Готов ли

оставаться христианином до последнего своего вздоха, дабы и воцариться со Христом?

— Я... я постараюсь! Честно...

— Войди в сию купель, чтобы умереть в ней со Христом и с Ним воскреснуть.

Вода обнимает, ласкает, бодрит — и я знаю, что выйду из нее совсем-совсем другим человеком, уже почти ангелом... И так дивно и звучно поют голоса, так светло улыбаются родной мой отец и этот странный человек из далекой какой-то Аквилеи. Аквилея — это, наверное, город водяных, но в водяных мне теперь верить нельзя, и корявые, мягкие, цепкие пальцы гладят меня по голове и нагибают, нагибают, чтобы я нырнул в страшную Христову смерть. Вот чем обернулась свежая эта *aqua*, простая вода...

Вздрыгнул, проснулся сразу от всех трех снов, едва вода дошла до ноздрей. Еще до будильника, еще до того, как зазвонил другой у мамы (а за ним следом — радио «Маяк», она сразу его включает на приемнике, чтобы снова не задремать) — и вот глядит в пустоту потолка в мелких трещинах и думает об отце.

Настоящий отец — или он все-таки не очень настоящий? — в Новосибирске, они и виделись-то последний раз полтора года назад, когда он приезжал к нему в армию. Отец после особо громкого скандала ушел десять лет назад с одним чемоданом, построил новую жизнь на новом месте, там своя семья, не интересная Денису — как, кажется, не интересен отцу он сам. Как не интересен он жрецу Гора в этом сне.

Сны про поиски отца? Но почему в таких древних декорациях? Слишком много читал на ночь первоисточников? Ну да, ну да... И только теперь он замечает: во сне у него не было имени. Вот тот, аквилейский, когда его крестил — ведь должен был назвать имя? Но Денис уже не помнил. Дионисий? Или другое какое? Не было имени. Не было.

А впрочем, так ли велика разница! Новый день, новые люди, новые имена. И новые сны — когда-нибудь, про что-нибудь, и какие-нибудь имена будут названы в свой срок, в свой день и час.

Ноябрь и бульвары

Бульвары обнимали центр Москвы. Когда-то здесь были стены Белого города, они защищали его обитателей и от татарских набегов, и от буйной черни, и только от царского гнева защититиь были бессильны — а теперь просто обнимали самый-самый московский кусочек Москвы. Он строился, горел, застраивался и перестраивался наново, но в своих ладонях его бережно держали московские бульвары, и плыли, отвлекая вагоновожатых, лебеди по Чистым, и взирал печальный Пушкин на свое прежнее место на Тверском, и провожали прохожих забавные Гоголевские львы.

Денису казалось, что жить от них вдали он долго не сможет. Вот вышел из дому — и тебя приведет к ним официальная и шумная Тверская имени писателя Горького, или деловая и торговая Пушкинская, или крутобокая Петровка со своей колокольней, или тихая Неглинка, где свой маленький бульвар начинается задолго до бульваров. И хотя бы раз в неделю, как лекарство, как зарядку, как прививку московскости — пройти по ним.

Так что к Покровским он пошел сегодня по бульварам. Не было в Москве месяца хуже ноября — пустого, мокрого и стылого, когда о лете уже не помнишь, а до новогодней карусели еще так далеко. И был ноябрь, и в тот день в Москву пришел снег — еще неясно, робким ли гостем или хозяином новой зимы. Стемнело рано, горели фонари, снежинки плясали в столбах фонарного света, деревья тянулись к будущему лету и тоска — тоска сменялась тихой печалью, а печаль растворялась в снежном танце чистоты.

А впрочем... к чему это сезонное декадентство? Просто Денис шел по бульварам. Шел встречаться с научным руководителем для своей курсовой. Шел и думал, как здорово, что есть на свете Москва, что бывает зима (жаль, только, что заканчивается так поздно), что свет не без добрых книг и умных людей, и наоборот: добрых людей и умных книг, и что есть на свете хруст первого снега под ногами, воздетые тени

деревьев, игра света и снега со всех сторон.

Выбор темы для курсовой, а главное, ее руководителя на третьем курсе — это уже, по сути, выбор диплома, выбор будущей специализации, будущего пути в профессии. Первый — там без курсовых, второй — ну ладно, там просто учились, как курсовые нужно писать, и руководителей назначали. А на третьем — свободный поиск.

Византия и вправду манила, Сельвинская была права. Мост между Элладой и Русью, между античностью и христианством, между Востоком и Западом, наконец. А мосты строить всегда интересно, тем более, литературный греческий от времен Платона и до двадцатого века почти не менялся, читать византийские тексты нетрудно.

А впрочем, ладно, чего уж тут скрывать... Это, как и с выбором кафедры, снова была личность, снова почти влюбленность — но не в красоту человека, скорее, в его страсть.

Сергей Сергеевича они услышали еще в самом начале первого курса, их сняли специально даже с греческого, отправили в Институт мировой литературы, потому что — Аверинцев! Как же это можно его не послушать филологу-классику? Ну это вроде как в Москву из Кокчетова приехать и в Кремле не побывать. Или вот: жить в Москве и не гулять по бульварам.

Так что они пошли на Аверинцева. Не запомнил Денис ничего, ужасно хотелось спать, плюс захватил он с собой тетрадку со все тем же греческим и на коленке делал домашнее задание. Кажется, говорил он про Плутарха, про его реминисценции в византийской агиографии, но на самом деле — про то, как можно жить и дышать Византией, тем самым Средневековьем, от которого приучали шарахаться.

А запомнил Денис только одно, зато навсегда: ближе к концу лекции роскошный институтский зал не спеша пересекла серенькая кошка. Кто-то захихикал, Аверинцев повел глазами в сторону неторопливого зверя и, не меняя своей ровной и как будто слегка натужной интонации, произнес:

— Если бы слово «кот» пришло в русский язык из Византии, этого зверя мы бы сейчас называли «елурь».

Елурь! Древнегреческий αἴλουρος! Котики, милые котики, о чем

можно думать, на них глядя? Конечно, о Византии, о том, какими были котики у Палеологов, о том, как запрыгнули они однажды на колени к грозному Ивану Васильевичу, да так и прижились в стране голубых морозов и поздней весны... Это же сразу наповал.

А тут еще и аверинцевскую книжку, о которой столько слышал, дала Вера на две недели. «Поэтика ранневизантийской литературы» — но это была не совсем поэтика, и уж совсем не литература. Это был огромный мир, в который автор звал на прогулку, где он знал всех, и все, казалось бы, его знали. Где рождалась европейская рифма на берегах Босфора из пены сирийского славословия, из духа платоновского диалога, из пламенного слога Златоуста и протяжного напева Сладкопевца, чтобы в многозвучном акафисте раскатилась эта морская пена жемчугами, пробежала бы сквозь века и народы, выткала кружева московской поэмки — в дар Ломоносову, Карамзину, Пушкину.... И все эти люди, похоже, кивали Сергею Сергеевичу как доброму знакомому, и он подсказывал им полузабытые слова, на общем пиру вкушал от словесной амброзии, и за невозможностью назвать это по-советски, подцензурно, чтобы напечатали — ставил на обложку слова «поэтика», «литература». А на самом деле было это — христианство.

Как можно было в это не влюбиться?!

Так что Аверинцев оказался, конечно же, первым, к кому обратился Денис в поисках научрука еще в октябре. Удалось достать его городской телефон, он позвонил, и — о чудо! — в трубке прозвучал тот самый неторопливый, надтреснутый, всегда немного растерянный голос. Денис лепетал что-то про Сладкопевца и Златоуста, рассыпался в восторгах и вежливостях... Но Сергею Сергеевичу было просто некогда. Он оказался одним из тех самых народных депутатов (а ведь все так радовались, когда он прошел, притом от Академии наук!), так что завтра у него заседание, послезавтра комиссия, потом присутственный день в институте... Перезвоните через две, нет, лучше три недели!

Быть одним из толпы, кто рвется получить его автограф в зачетке или на книжке, прикоснуться к краю рукава, чтобы потом хвастать: «когда мы с Сергеем Сергеевичем...» — ну совершенно не хотелось. А иначе не выходило. И перезванивать он больше не стал.

Потом Сельвинская подкинула ему телефон Барановского. С

Барановским встречу назначить удалось только в начале ноября. Но времени Денис зря не стал терять — расспросил, где в Москве есть собрания византийских текстов. Ожидал ответа «нигде», но добрые люди подсказали — в Синодальной библиотеке, в Даниловом монастыре. Приехал туда, не ожидая вовсе, что пустят, но когда он спросил про Романа Сладкопевца — пустили, недоверчиво оглядев со всех сторон, подвели к полке, где длинными рядами стояла серия *Sources Chrétiennes*³ (чего только нет на Москве, если хорошенько поискать!), даже нужный томик показал ему в длинном ряду длинноволосый задумчивый парень, и даже второй — продолжение первого. Кажется, сюда редко за таким приходили.

Парень показал, и тут же отошел в другой угол зала, стал переговариваться с другим таким же, а Денис словно оробел от этого счастья: так можно, оказывается, брать и читать? А что с этим делать: переписывать или переводить сразу? Или то и другое вместе? Но чтобы сделать копию — о таком ведь, наверное, и просить нельзя, да и дорого это, поди, дороже, чем в Иностранке? И решил для начала переписать какой-нибудь из кондаков⁴ поинтереснее...

— Ты что же, не идешь нынче на всенощную, аки мытарь?

— А ты идешь, аки фарисей? — перешучивались те длинноволосые парни, и было в этом что-то пугающее и притягательное одновременно. Какой-то особый, закрытый мир своих смыслов и шуток, и понял Денис, что от него тоже, наверное, ждут, что вот сейчас встанет он и пойдет на эту их всенощную, но как же это можно, когда книга перед ним, и она, может быть, одна такая во всем Советском Союзе, и надолго ли это, что можно просто прийти и ее раскрыть — кто знает... Надо читать! Надо успеть главное!

Итак, с Антоном Семеновичем договориться о встрече удалось не сразу, он пригласил его к себе домой, в московские панельные новостройки (для Дениса они так и оставались не до конца Москвой, чем-то вроде декораций для новогоднего фильма про перепутанные квартиры). Он приехал вовремя, ему открыла тихая женщина, похожая

³ Одно из основных изданий христианских памятников.

⁴ *Кондак* — жанр византийской литургической поэзии, самым известным его автором был Роман Сладкопевец.

на домработницу не меньше, чем на жену, пригласила в комнату — по-видимому, игравшую роль кабинета и библиотеки.

А может быть, по совместительству и детской, и вообще чего угодно, не рассчитаны наши панельки на дворцовый многоплановый быт — в углу стоял диван, застеленный клетчатым пледом, на нем сидели две девочки лет пяти и семи, рассматривали какие-то книжки. Были они необычно тихими и благонаправными, словно не живые девчонки у себя дома, а какие-то детки с выставки. Он еще подумал: может быть, в соседней комнате укладывают спать младенца, вот и сестренки выгнали, чтобы не мешались.

Антон Семенович Барановский появился через четверть часа, вежливо поздоровался, взял переводы Дениса, стал просматривать... Был у него и один вопрос, дурацкий, конечно, но что еще делать научруку на третьем курсе, как не поправлять нелепые ошибки студентов? Денис не смог определить форму $\acute{\omega}\rho\omega\nu$, поставил на полях карандашом знак вопроса. Ну понятное дело, что первым делом в голову пришло: родительный множественного от $\acute{\omega}\rho\alpha$ «пора, время», но тогда бы писалось $\acute{\omega}\rho\acute{\omega}\nu$. А тут что? Может все-таки неправильная, диалектная форма от $\acute{\omega}\rho\alpha$? Но и по смыслу не подходит тут про время...

— Нет, я вас не виню, — в голосе Антона Семеновича прозвучало некое даже сочувствие, но сочувствие того рода, что испытываешь при виде уродства или гадости, — это, безусловно, вина не ваша, а ваших преподавателей. Чтобы не определить такую простую форму на третьем курсе...

Стыдно было поднять глаза. Хотелось крикнуть: а что, вы сами не делали никогда ошибок? Или рассказать, что да, всё это было, но было давно, что между первыми двумя курсами с их грамматикой и вот этой вот курсовой — два года в сапогах, но без греческого. Что ближе к концу службы просил он ему прислать пару старых тетрадок и маленький блокнот, переписывал в свободные часы все эти склонения-спряжения, в карауле пихал в сапог, и, хотя строго уставом запрещено, на посту, охраняя склад с валенками и тушенкой, перелистывал, зубрил все эти аористы, все исключения...

— Стяженная форма имперфекта от $\acute{\omicron}\rho\acute{\alpha}\omega$, «они видели». Вместо $\acute{\epsilon}\acute{\omega}\rho\omega\nu$. У Гомера также встречается $\acute{\omicron}\rho\omega\nu$ без приращения, в ионийском

диалекте ὄρεον с неэлидированным зиянием.

Он цедил это по капле, как будто нищему пятаки бросал. Делился мудростью. Интересно, обязательно ли унижить студента прежде, чем его чему-то научить? Это была не яростная вспышка Николаева, не высокий снобизм Аверинцева — это было какое-то втаптывание в грязь, размалывание в прах, деление на ноль. Или нет, умножение. Ну да, точно, делить на ноль правила нельзя. А вот умножать — запросто.

Они о чем-то еще говорили, но Денис понимал, что научного руководства не выйдет, он в этот дом больше не придет.

И тут что-то пискнула одна из девчонок, негромко так, обращаясь к своей сестренке — книжку, видимо, досмотрела, стало ей скучно. Денис как будто и забыл о том, что они сидели там в углу...

Гнев отца был по-гомеровски страшен. Он не встал с места, не отвесил шлепка, он просто выдал сложную тираду про «я же велел сидеть тихо, неужели нельзя пять минут...» — и что-то еще, куда более язвительно и желчно, чем Денису. И можно было только пожалеть девчонок: им от такого руководства было не сбежать.

Как он вторично отказался от чая, как сбежал из панельной казармы на свежий осенний воздух, уже не помнил и сам.

И вот теперь — третья попытка. На Степанцова его вывела опять-таки Сельвинская, он тоже закончил МГУ, правда, исторический, а теперь что-то делал тоже для загорской семинарии не то академии. В его квартиру у Покровских ворот Денис шел не без трепета, помня неудачу с Барановским. Что ли они все там такие, в этой их семинарии?

Только дом — дом у Покровских ворот был совсем другим. Добротный старорежимный доходный дом, переживший все революции, разрухи, аресты и бомбежки, с многокомнатными коммуналками и маленькими отдельными квартирами — примерно такой, как и дом, где жил Денис. А не эта московская новостройка!

Он улыбнулся мифологическим мордам на фасаде, толкнул замурзанную дверь подъезда, поднялся по лестнице с выщербленными ступенями и треснутыми перилами и позвонил в дерматиновую дверь, уже зная, что московский снобизм его не обманул: тут живут свои.

Вышел Степанцов, он даже внешне был не похож на изящного

Барановского, выглядел он каким-то деревенским мужиком, только непростым, а грамотным, богатым, из старообрядческих начетчиков: длинные волосы, борода, глубокий и внимательный взгляд...

— Здорово! На кухню давай, чай пить. Варенье из райских яблочек у нас свое, деревенское...

Даже не спрашивал — увлекал.

— Или кофе тебе? Мне врачи не велят, тебе могу сделать.

Конечно, хотелось кофе. Но было бы как-то невежливо с первой минуты себя противопоставлять такому хозяину: гостеприимному, уютному, большому. Вот вроде не особенно высокий он был человек и не толстый совсем, а сразу казался большим, в темной рубашке, вязанной шерстяной кофте.

Налил Степанцов крепкого ароматного чаю, щедро наложил варенья:

— Угощайся вот. Дом у нас в Тверской области, вчера только оттуда. Места, конечно, диковатые, от войны так и не оправились, но...

И не стал продолжать.

— А ты лучше расскажи, Дионисий, чем заниматься думаешь.

Отбивали на стене ритм допотопные какие-то ходики, посвистывал на плите заново поставленный чайник, за окном сгущался осенний вечер с просветами чужого света за занавеской снежка, всё казалось уютным и домашним, и только торжественный вариант его имени как-то не вписывался в этот уют... но отчего-то не напрягал.

— Византия. Мне хочется заниматься ранней Византией.

— Аверинцев? — прищурился Степанцов.

— Точно.

Они понимал друг друга с полуслова. И чай, чай был до чего хорош — даже не индийский «со слоном», а какой-то совершенно особенный, крепкий, густой...

— Это из Китая зять привез, — пояснил Степанцов, — пу-эр называется, только много нельзя, тоже врачи не велят. Ну я так, иногда балуюсь. А насчет Византии...

Он отпил широко, уверенно, мощно.

— Не то это всё. Не то. В корень надо смотреть, согласен?

— Да...

— А корень — он в святоотеческом, в доникейском еще. Сам-то крещен, в церковь ходишь?

— Нет... пока, — добавил он, словно одного слова «нет» тут не хватало. Да ведь и вправду так: пока не ходит.

— Ну, это дело поправи-имое, — протянул он, — а вот все эти «батюшка, меня интересуют проблемы фаворского света в творчестве Флоренского», это от лукавого. Лишнее это.

— А вы правда в семинарии преподаете?

— Нет пока. Не берут. Но возможно... пока переводами больше занимаюсь сейчас, для патриархии, для той же академии. И тебе что-нибудь подберем, перевести, прокомментировать. Старые переводы, прошлого века — они же тяжелы до зела, да и помарок там много, их все равно не достать. Заново, заново все надо.

— А опубликуют?

— Ты чай еще будешь? Давай, тебе налью, себе поостерегусь, давление. Ты не думай, Дионисий, не пропадет наш скорбный труд. В вечности не пропадет, даже если здесь не опубликуют.

— Ну я в принципе и начал, Романа Сладкопевца...

— Преподобного Романа, — поправил тот, но как-то беззлобно, словно вилку или салфетку на столе половчее пристроил, — варенья тоже тебе подложу, не против?

— Не против.

— А вот Роман — поэзия это всё, аверинцевщина эта, суррогат для интеллигенции...

И это он говорил вроде и резко, а без осуждения. Словно о досадной погоде беседовал.

— А вы что рекомендуете?

— Есть один автор, есть. Мало его у нас перевели, изучили еще меньше. А ведь всё от него, и Евагрий Понтийский, да вся наша церковная наука от него.

— Евагрий?

— Он хоть и осужден как еретик, но не в том соль. Ведь и наш герой осужден, да несправедливо, посмертно. Навесили на него: оригенизм. Поди, сам бы поразился, что ему там наприписывали. Ну как в этой нашей Совдепии вроде по названию выходит «марксизм», а Карл Бородатый, поди, в леса бы бежал от такого советского марксизма. Вот так и тут.

— Оригенизм? Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, что заняться бы тебе самим нашим Оригеном свет Адамантием, вот кто подлинный адамант церковной словесности.

— Адамантом?

— Звали его: Ориген Адамантий, на наш слог — «изначальный, бриллиантовый». Впрочем, родом он из Александрии Египетской, там, судя по источникам, имя его «Ориген» понимали как «рожденный от Гора», божества идольского, но только отец у него был знатный римлянин и христианский мученик, не мог он языческого имени сыну дать, тем паче первенцу. Так что на самом деле значение его имени — «изначальный». И подходит к нему как нельзя более.

— Но все-таки, он — еретик?

— Формально да, — отмахнулся Степанцов, — ну и что? Я тебя не молиться ему призываю, изучать. Осужден на Пятом Вселенском не то что заочно, а даже и посмертно, а на самом деле император Юстиниан, то есть святой Юстиниан (поправил он сам себя, как прежде Дениса поправлял) протащил это решение, осуждая не столько Адамантия умершего и неспособного возразить, сколько оригенизм, возникшее уже после смерти его течение, несогласное с самими основами веры. Вот так-то. Не смущайся.

— Ориген...

Всё становилось понятным в том давнем сне. Сын мученика, Египет, «рожденный от Гора»...

— Вот... снился мне он. Я только сразу не понял.

— Стал-быть, знак тебе свыше, — хмыкнул Степанцов, — я тебе текстик-то для перевода подберу, а покамест...

Он скрылся в коридоре:

— Маруся, где папка желтая с завязочками? Ну что я из Посада привозил? Я же просил: не переключай... ах, вот она.

Вернулся довольный, поглаживая бороду, а в руке была стопка листков:

— Вот тебе книга про него. Знакомься. Английский свободный, надеюсь?

— Ну так...

— Читай. Патрологу без английского и немецкого никак, ну да вас немецкому учат, а французский и итальянский пока можешь не учить, потом наверстаешь. Ксерокопия, мне ребята в Академии сделали. Сам еще не успел прочитать, ну да тебе сейчас нужнее.

— Иван Семенович, вот спасибо...

Значит, это будет Ориген.

И на прощанье, у двери, с ароматом китайского чая да тверских (не калининских же!) райских яблочек выдохнул:

— Ну ты же, Дионисий, православный? Не воцерковлен, да, слышал, а душа-то — как?

— Да, — кивнул он как-то слишком поспешно, смущенно, как бы со стыдом, — православный.

Это так легко сорвалось...

Он шагал по бульварам в обратный путь, с драгоценной папочкой под мышкой, и думал: а не соврал ли он Степанцову? Как на самом-то деле? Он ведь и задумался-то о вере совсем недавно. В армии.

Сны о ней приходили уже чуть реже, чем сразу после. Но приходили. И всегда одни и те же: ему надо дослужить, слишком рано тогда отпустили (и вправду, одного месяца не хватило до полных двух лет). И вот та самая постылая казарма, въедливый прапорщик-старшина снова смотрит на него злобными глазками. А куда ты денешься? Служи. На привычном месте в шкафу: вторая полка сверху, третья секция справа — лежат вещмешок и каска, подхватить по тревоге. Номер автомата всё тот же, то же у него место в оружейной комнате. Тот же приторный «Модерн токинг» в ленинской комнате перед отбоем, или, пореже, ударный, взрывной «Наутилус помпилиус» — дедам о дембеле помечтать. И полбутылки сивого самогона припрятаны у Ленина в гипсовой его башке — тем же дедам, но после отбоя. Те же тоска и скука, хотя вроде — был же у него дембель? А как не бывало. Недослужил,

давай, наверстывай. Мра-аак...

Нет, конечно, не тот был ужас, что в газетах, или в фильме этом «Караул» про зачморенного бойца, который не выдержал и перестрелял сослуживцев. Он не смотрел, ребята рассказывали.

В радиотехнической их части всё было как-то мягко и уныло, до махровой стройбатовской или вевешной дедовщины всё-таки далеко. Ну как учения: и похоже на войну, да патроны холостые и убитых нет. Есть только напуганные.

Если честно, то в солдаты Денис не особо годился. И даже не скажешь «как ни старался», потому что и старался не особо. Выдернули из Универа, отправили в солдаты, словно при царе, и ведь не за провинность, не за членство в кружке революционеров. И танков вражеских в Подмосковье не видно, столицу грудью закрывать не надо. Наоборот: с НАТО мы прямо друзья, the wind of change дует себе по набережным Москвы-реки прямо в улыбающиеся физиономии американских туристов, Горбачев перетирает с Рейганом за сокращение чего-то стратегического — и тут на тебе: портянки, кирзачи, автомат. Пещерный век, два потерянных года. Как в дембельских альбомах пишут: в книге жизни вырваны две страницы на самом интересном месте.

Эти два года надо было как-то пересидеть, перетоптаться, не растерять знаний, а главное — себя. Музыкантов всегда отправляют в оркестр, им дай на два года вместо смычка лом и автомат, и всё, будущее убито, пальцы огрубеют и уже не смогут играть. А мозги у человека разве не грубеют?

А ты, что, особенный? — спрашивал он себя. И отвечал, что да, не такой. Парни вокруг были разные, много студентов в этой их части, где надо не за танком бегать, а тумблеры на железных шкафах переключать. Но больше простых: из фабричных поселков, колхозов, горных аулов и таежных заимок, из дальних городков, где на Москву смотрят с завистью и оттого с презрением. Для каждого это была та же повинность, рекрутчина, что и во времена Петра: перетерпеть, ты же мужик, справишься, как отцы и деды. И для вот таких, рабоче-крестьянских... привычно оно, что ли, как осенняя слякоть. Как повод потом говорить: «не служил — не мужик». Они впрягались в лямку нехотя, с матерком, но

привычно, даже почти охотно. А он — не хотел.

А может... ну правда, руки не под то заточены? Ну не было у него той деревенской или фабричной сноровки, которая любой труд переборет, даже и в охотку его возьмет. Полы мыть он вроде умел — но дочиста оттереть «взлетку» в казарме, длинную полосу линолеума, исшарканную за день двумя сотнями пар кирзачей, притом ночью, после отбоя, не зажигая света и не будя товарищей... это тебе не лобию кушать, не корневой аорист спрягать! Денис от всей души презирал эту мерзкую взлетку, эту дурацкую железную Машку (так называли утяжеленную щетку, которой драили линолеум), горсть порошкاپосудомоя из столовой, брошенную в ведро, и собственную нерасторопность... Он вроде мыл — а не так. Не так чисто, не так быстро, не так равнодушно, как требовалось от дневального.

Или главное тут — подлое слово «ма-аасквич», с издевательским длинным этим «а», и к нему всепонимающе-презрительное «х.ли»? Вся их казарма — Советский Союз в миниатюре. Армяне не любят азеров, западенцы русаков, прибалты азиатов, горцы с Кабарды вообще держатся особняком, но все сходятся в неприязни к «ма-асквичам»: слишком сладко жрут, слишком мало вкалывают. Фишка легла родиться в столице, ну ничего, ща посмотрим, каковы они в деле, точно ли лучше нас...

В раннем, дошкольном детстве любовался он огромной (как тогда казалось) картой мира над своей кроватью, сочинял кругосветные путешествия и заморские чудеса, но нет-нет да и глядел на ту заветную звездочку в верхней правой части (мы сверху, мы во всем правы!) и надписью «Москва». И замирал от незаслуженного счастья: надо же, ему довелось родиться в самой лучшей на свете стране, она называлась непонятными буквами СССР, но одно было ясно до доньшка: такое счастье немногим достается. И мало того: в самом-самом главном городе-герое, возле рубиновой звезды, что шагнула на карту с кремлевской башни.

А вокруг было почти родное Подмосковье, но всё-таки похуже, помладше, послабее. И что-то большое, невнятное, «федеративное», и другие всякие республики, и там уже жили, наверное, не совсем такие же люди, а как в одной странной книжке было: с песьими головами, с

лицами на животе. И совсем далеко, у белой окраины, шаг и упадешь за край — загадочные и немислимые американцы, которых страшно вато рисовали в журнале «Крокодил», и австралийцы со своими смешными кенгуру, и, наверное, огнедышащие драконы. Заезаешься — сбросят тебя с глянцева уютной поверхности в черную пропасть космоса. Но Дениска — он был в самой сердцевинке. Даже еще лучше: справа сверху.

И вот сейчас рядом эти люди не с песьими — с человеческими лицами на природой предназначенном месте. Они в детстве тоже смотрели на звездочку, и не могли найти на карте своего Сарапула или Барнаула. А теперь за это мстили, как умели, сами того не замечая.

Ранней весной под конец его первого года настала Пасха. Она ничего не значила в армии. Это дома мама красила яйца луковой шелухой, а он лет в десять узнал, что фломастеры отлично рисуют и по вареной скорлупе — и с тех пор просил ее оставить сначала парочку белых на пробу, потом и побольше для художественной раскраски, с бордовыми буквами ХВ, с желтыми свечами и зелеными ветвями оливок, с оранжевыми куполами на фоне синего неба и крестиками, крестиками, крестиками. Но, конечно, никогда не ходили их святить, а идея посмотреть в полночь крестный ход вызывала у мамы приступ паники: там, возле каждой церкви, стояли в советской социалистической ночи милиционеры попеременно с дружинниками и комсомольскими патрулями от всех московских институтов. Остановят, обязательно остановят, переписут данные, ты же комсомолец, вылетишь из комсомола на раз, никуда никогда не поступишь. Ну, он и не ходил.

А теперь они сами были в карауле: шли по улицам южнорусского городка разводящий и трое часовых, все комсомольцы, все с автоматами. Солнце грело так, что хотелось сбросить шинели, текли вдоль тротуара ручьи талого снега, галдели птицы, и мир наливался беспечной небесной синевой, до рези в глазах, до изумления: мы и забыли тут в казарме, что мир бывает таким небесным!

И какая-то бабушка-одуванчик выросла им навстречу ниоткуда:

— Сыночки, Христос воскрес! С праздником!

Протянула им совсем не по уставу крашеные яички, они, конечно, взяли — солдат голоден всегда, а тут и повод. Разводящий-сержант мог

бы запретить, но взял первым.

— Дай вам Бог, сыночки, дай Бог! — она вся светилась пасхальной вестью, и невозможно было поверить во всю эту трескотню «научного атеизма», что, мол, жадные попы обманывают трудящихся... Если бы так трудящиеся верили в этот ваш коммунизм, которого, между прочим, тоже никто никогда не видел!

Бабушку как-то коряво поблагодарили. Только сержант, коренастый и хитроватый уроженец Донбасса, в двадцать лет уже с золотым передним зубом на память о драке, не стал ничего говорить, даже «спасибо». А когда отошли, чтобы ей не слышно, беззлобно так передразнил:

— «Дай Бог, дай Бог»... нам бога не надо. Наш бог — дембель.

Тут Дениса стукнуло. Он не рекрут, сосланный за неведомые провинности или повинности в войска — он исследователь в фольклорной экспедиции. Изучает культ божества по имени «Дембель» методом погружения. Надо набрать побольше материала, когда-нибудь и как-нибудь все это пригодится, он обязательно напишет...

И как точно сказал сержант! Налицо — все основные элементы мифа, им про него всё уже объяснил на первом курсе один молодой преподаватель с кавказской фамилией, был такой необычный курс по античной мифологии. Пусть для хитроватого шахтера это всего лишь такое выражение, но если разобраться... Жизнь солдата движется от его рождения в солдатчину (призыв, он никому не интересен) к эсхатологической сияющей вершине, к Дембелю — ко дню, когда добро окончательно победит зло, когда герои воссядут на пир с реками водки и морем пива да с доступными девчонками, встретятся со своими (пра)родителями.

На пути солдата ожидают разные испытания и приключения, он проходит разные степени посвящения, обретая плоть (и прямо-таки мордатость): дух — молодой — черпак — дед — дембель. Дух бесплотен, ему только предстоит обрасти настоящим солдатским мясом, а потом состариться и... нет, не умереть, переродиться в высшее существо, уподобиться божеству-дембелю, пройти через свой апофеоз и вознестись на Олимп гражданки. Для этого придуманы особые ритуалы

перевода, включая ритуальные побои, вроде инициации подростков у каких-нибудь апачей, причем чем ближе к сияющей вершине, тем легче терпеть: в молодые переводят солдатским ремнем, а в старики — ниткой через подушку.

Наконец, чтобы оставить постылую часть и попасть на вождеденную гражданку, настоящий дембель должен совершить некий подвиг, именуемый аккордом: сделать в максимально сжатый срок нечто великое, неподвластное простым духам. Например, положить в туалете новую кафельную плитку. Во всех остальных случаях дембелю работать не положено, а уж в сортире тем паче. Всю работу за него выполняют молодые и черпаки (духам и доверять-то ничего еще нельзя, на то они и духи). Но здесь он вкалывает так, как не трудился никогда в своей жизни, часов по 18 в день — и не становится на построение, ест в столовой, когда может, спит урывками. Это ж Лернейская гидра, Медуза Горгона, это плитка в туалете — дембельский аккорд.

Еще, конечно, полагается ритуальное одеяние: дембельская парадка со всеми мыслимыми нарушениями формы одежды и всеми существующими наградами, расшитый камзол, который заставил бы покраснеть от собственного ничтожества Портоса, Атоса и Арамиса. И дембельский альбом — своя личная версия священного писания, изложение общего мифа о вечном возвращении героя в родной дом. Над его созданием, собственно, и трудится последние полгода своей службы каждый порядочный дембель, а заодно и каждый доступный ему художник и каллиграф.

Конечно, это в идеале. В радиотехнических, а значит, как бы интеллектуальных войсках, даже в молодые по-настоящему не переводили — разве можно пасть ниже, разбавить миф жиже, испохабить чистоту дембелизма? Все же время от времени сознательные черпаки требовали от «своих дембелей» удара по заднице поварским черпаком. И потом с гордостью говорили: «Меня-то правильно перевели!». Но это далеко не каждый. «Вот раньше, — вздыхали дембеля, — нам наши дембеля рассказывали, как...»

В этом сказочном «раньше», в золотом веке дембелизма, всё было *чотко*. Ведь любой миф описывает идеальный мир, какой просто не застали и не могли застать нынешние, потому что его никогда и не

было.

Итак, он антрополог в экспедиции... А потом напишет об этом книгу, ну хотя бы статью! И плевать на временные неудобства.

Да только... не врет ли он себе самому? Антропология там всякая... Был он просто не очень ловким, не слишком умелым, книжки читал слишком умные и не те, что остальные. Студенты в армии вообще на подозрении: триндеть ума много не надо, а ты попробуй карбюратор на «Урале» перебери! Студенты шли в армию косяком и оседали как раз там, где требовалось какое-никакое образование, куда чабанов без единого русского слова брать было нельзя. Вот и их часть должна была в случае ядерной войны развернуть свои станции и поставлять информацию в Генштаб (и кому тогда это всё понадобится, интересно?).

Но и то посудить, студент студенту рознь. Чем будут заниматься инженер или врач, понятно. А классический филолог? Читать книжки про этих ваших греков и римлян — кому это на хер надо? Они все умерли, а если чего путного и изобрели, всё это давно переделано потомками. Короче, баловство одно.

Был, правда, один момент триумфа... Как же в армии скучно, по первому году не успеваешь заметить. А вот по второму — очень даже. Деды развлекались, как могли, даже книжки читали, но в библиотеке было мало интересного. Выписали, правда, один раз журнал «Трезвость и культура», стал он хитом, для всех неожиданно: оказалось, напечатали в нем повесть «Москва — Петушки», перестройка ведь, гласность! Те номера сразу, конечно, изъяли. Небось, в личную библиотеку командира.

Так что с печатью не особо сложилось. Еще выписывали в часть газеты на всех языках, какие только писари нашли в графе «национальность». А поскольку было у них и три-четыре еврея, полагалась им «Биробиджанер Штерн» на идише, чисто по приколу. И однажды разбитной ростовчанин Леха Казаков пристал к тихому очкастому Льву Гершензону из Москвы: «ну, Лев Моисеич, почитай нам, интересно же, чего пишут! Как это не умеешь? Ты ж еврей? И газета еврейская. Эх ты, ну я сам тебе почитаю, видишь...» — и развернул газету. Даром, что была она справа налево, в своем еврейском зазеркалье отражала она всё то же, что и любая марийская, литовская или каракалпакская районка: «Вот смотри, тут пролетарии всех стран

соединяются. А цена им четыре копейки. И дальше про визит Эм-Эс Горбачева в Ге-Де-Эр, крепить нерушимую дружбу, вот фото. Стыдно, Лев Моисеич, родного языка совсем не понимать!» Все ржали, Лёвка Гершензон громче всех.

Но однажды в книжном магазине на соседней с их частью улице появилась книга Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Кто-то купил, и пошло, да как пошло! Из рук разве что не рвали, почти как те «Петушки». Особенно пошли мифы о могучих героях у кавказцев, видели в них что-то свое, родное. И тогда Денис: «А я учусь книги такие про греков писать». Его даже почти зауважали.

Но это все было уже потом. А пока что нашелся в соседнем подразделении один парень того же призыва, Мишка Орлов из Питера, ничего вроде особенного. Денис даже и не помнил, как они подружились, всё как-то само собой, две белые вороны рядышком. Виделись по службе нечасто, но часть маленькая, всегда найдется минутка потрепаться. Мишка потрясающе умел слушать и подбадривать, даже не словами, а просто тем, что сидел рядом — спокойно, уверенно.

Оказалось, что он из православной семьи, сам верующий с детства. Носил с собой крестик, запрятанный в записную книжку, прямо в обложку, чтобы всегда у сердца. Когда мог, когда никто не видел — крестился украдкой. Но обычно просто молился про себя и никому об этом особо не рассказывал. А вот Денису рассказал.

А тот вечер он запомнил навсегда. Стояла ранняя весна, скоро исполнялся год их призыву. Они сидели на задворках парка боевой техники, которая в случае ядерной катастрофы должна была разъехаться по всем сторонам света и что-то там обеспечивать в те полчаса, пока мир не сгорит. В это, конечно, никто не верил, техника была наполовину нерабочая, управляться с ней умела пара солдат из студентов-инженеров, они на гражданке похуже изучали, да пара офицеров, попавших в часть по своей основной специальности (надо же, и такое в Советской армии бывает). Но на задворках автопарка легко было скрыться на полчаса от начальственных глаз — обсудить новости, выпить, если было что, или просто поболтать. Вот они и болтали.

День выдался редкостно теплым, накиданные за зиму по

периметру сугробы нещадно текли, но мартовское солнце склонилось к горизонту, стало подмораживать, и где были ручьи, намечались катки. И все же, пока сидели они и болтали — не выветрился, не развеялся на казарменном ветру неожиданный этот запах весны, дома, уюта. Мишка рассказывал что-то о Евангелии, убеждал Дениса, что все равно он рано или поздно станет христианином, потому что это настоящее, и Денис — настоящий. В этом была сладость избранничества, доверие тайной дружбы. В это хотелось сбежать от армейской муштры и казарменного идиотизма, ощутить себя не таким, как вот эти... И одновременно было чуть стыдно за это вот «мы с ним особенные» — в той же книге, в Евангелии, была притча про мытаря и фарисея, он прежде читал.

Но главное даже не в этом. Замерли потоки, солнце упало за гаражи, а Денис отчетливо ощутил, что они сидят на заржавленной трубе не вдвоем. Третий был невидим и был Он реальнее всего остального: казармы, скорого отбоя, завтрашнего караула и даже неспешной роскоши этой южнорусской весны. И значит, всё, что говорил Мишка, не могло не быть правдой.

Но пока что он никуда не торопился. Было время всё обдумать, да и если креститься, то где? Не в этом же городке, в редкий день увольнения... Мишка звал его в церковь, она была в нескольких кварталах, не разоренная, но опустевшая: приезжал раз в месяц священник из какого-нибудь другого прихода, обычно из областного центра, служил, а после службы мог без лишних вопросов принять исповедь и причастить солдата, Мишка рассказывал (на саму службу никак было не попасть, не отпускали так рано). Только надо было отказаться полностью от завтрака, даже воскресным яйцом пожертвовать — ну так для благого же дела! Настоящий пост. И окрестить батюшка наверняка мог бы.

Но все это было не к спеху... Казалось, настоящая жизнь начнется только после дембеля, тогда и будем решать все вопросы про веру, царя и Отечество. Может, он к тому времени надумает к лютеранам или баптистам. «Это не так важно, — отвечал Мишка, — лишь бы ты был со Христом». И вот это, как раз вот это убеждало больше всего... Если правда неважно, куда, если не держится он за свою исключительность, свою неповторимость, как коммунисты эти, то... пожалуй, правда за

ним. Быть со Христом — вот что он ощутил тогда на трубах в автопарке. Всё сгорит в огне не ядерной войны, так неизбежного бега времен, а это... это останется.

Еще Мишка попросил кого-то из своих приятелей (к нему приезжали) привезти для Дениса карманный Новый Завет, на тончайшей папиросной бумаге. Такой можно было носить в кармане и читать, но только так, чтобы никто не видел — к примеру, в карауле на посту (строжайше запрещено уставом, между прочим!).

Была у них такая унижительная процедура: «утренний осмотр». Обычно его проводили сержанты, скорее по обязанности: подшиты ли свежие подворотнички (это в армии святое), начищены ли сапоги и бляхи ремней. А старшина роты, вьедливый и пакостный прапорщик родом из этого самого городка, любил неожиданно провести его сам. Мог устроить что угодно: заставить снять сапоги и портянки и позорить за давно не стриженные ногти на ногах, или же зимой проверять, у кого из старослужащих между двумя слоями белья таится «вшивник», неуставной свитерочек для домашнего тепла.

На этот раз он дал команду «карманы к осмотру». Значит, надо вывернуть их все, и что там найдется неуставного, может быть конфисковано, а что просто личного — осмеяно. И как раз вышло так, что Денис расслабился, забыл вынуть свой Новый Завет, как обычно перед осмотром делал...

Книжка была немедленно конфискована. Старшина кипел от ярости, словно нашел «патроны от нагана и карту укреплений советской стороны», но сам ничего делать не стал — передал книжку ротному. Ротный, которому совершенно не улыбалось разбирать идеологическую диверсию, передал ее по принадлежности — замполиту полка. То был новый офицер, недавно окончивший академию в Москве и приехавший со свежим багажом знаний и наставлений. Терять было нечего — Денис отправился к нему в штаб, прямо в кабинет.

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться? У вас моя книга.

А тот как будто ждал вопроса, достал ее из кармана:

— Интересуешься? — спросил.

— Интересуюсь, — с некоторым даже вызовом ответил Денис. А

что, в самом деле? Не порнография, не военная тайна.

— Интересуйся, — с довольной усмешкой он протянул ему книгу, — теперь можно.

Шел 88-й год, по телевизору Горбачев с иерархами праздновал Крещение Руси, горели купола и звенели колокола, интересоваться Новым Заветом уже никто не запрещал. Когда об этом услышал старшина — был поражен, словно приказом по части коммунизм отменили.

Но главное случилось все-таки позднее. Что это было, уже под конец службы... да не хочется вспоминать. Просто было всё плохо. Иногда вот так бывает: хреново всё, а рядом стая молодых самцовых парней, и так просто крикнуть «ату», а кто там дед или дембель, дело уже десятое.

Денис стоял на посту, это была осень, последняя осень его службы, слегка морозная, прозрачная и бодрая. Даже в ночную смену совершенно не хотелось спать, то ли от ясности и свежести, то ли от одиночества, пустоты и тревоги. Между ним и всеми, кому был нужен он, кто был нужен ему, лежали континенты и моря, вздымались глыбы дурацкого этого склада с валенками и параграфы устава гарнизонной и караульной службы. Южная, прозрачная ночь, высокие звезды, дальние световые пятна фонарей. И никого рядом на ближайšie два часа.

Молитва пришла сама, когда не осталось ни сил, ни надежды. Можно было сказать всё, своими словами, не стыдиться ни отчаяния, ни тоски, ни даже слез — быть собой и говорить, говорить, а еще точнее — молчать, уткнувшись горячим лбом в высокое свежее небо и знать, что ты теперь не один. Навсегда не один.

Он написал об этом совсем недавно, когда смог отойти, когда армия перестала сниться:

*Всё простим — ничего не забудем.
И встречайте, родные края!
Так к одетым в гражданское людям
возвращаются дембеля.
Школе жизни защитного цвета
мы дивились, вчера из ребят.*

*Мы прощать не хотели бы это,
но годам своей жизни — не мстят.
Кто долбежкой глухой, кто с наскока
изучив, передали другим
основную константу урока:
этот мир может быть и таким.
А теперь в наши сонные двери
все идут, за призывом призыв —
в неизбежность прощенья поверив,
никому — ничего — не забыв.*

Сон об учениках

...сон пришел желанный и знакомый. Сквозь темноту и тишину московской комнаты стали проявляться, как на фотобумаге при печати, чужие тени и краски, за ними пришли звуки и смыслы. Только и успел подумать: можно ли самому себе заказывать сны? Вот бы было славно: смотреть по своему желанию цветное полноформатное кино, и даже еще лучше: самому в таком фильме играть главную роль!

Сколько же здесь народу — или это так кажется? Просто комната на самом деле очень маленькая — свободно рассядутся разве что человек восемь. Сегодня их здесь... да некогда считать! Кто на скамье, кто стоит в проходе, кто на подоконнике сидит, — и у многих вощаные дощечки, записывать главное, делать пометки. Как они только умудряются в такой тесноте!

Две девушки. Трое седовласых мужчин... да почти все они — старше меня! Что я им скажу? Особенно девушкам. Противное, сосущее чувство, оно приходит иногда во сне: я должен, я обязан, на меня все смотрят, но я не знаю, не умею, не готов. Раньше снилась собственная школа, потом армия, а вот теперь... где я?

Рядом со мной — высокий, статный мужчина в белоснежном плаще с голубой каймой, он кладет руку мне на плечо и обращается ко всем этим людям:

— Вы пришли в наше училище, чтобы подготовиться к таинству крещения. Я поручаю вас заботам Оригена — несмотря на его молодые года, он умелый ритор и опытный наставник.

Это ложь. Это добрая, сладкая ложь. Я не умею, мне страшно. Неужели Климент бросит меня здесь? Это Климент, я уже знаю, он тут епископ. И это Александрия.

Мягкий предвечерний свет льется в окна, обещая ночную прохладу изнуренному граду и миру, скоро пора зажигать масляную лампу. Что мне им говорить? Климент направляется к двери, он уходит — и страх

сменяется облегчением. Мой епископ не увидит моего позора, моего провала.

— Мир вам, добрые люди, — улыбаюсь я им.

Лучше всего быть честным с ними.

— Вам интересно что-то услышать от меня... а мне страшно, признаюсь. Мне неловко, что господин наш Климент по своей доброте сказал обо мне слишком много добрых слов, которые я не смогу оправдать. Вы, наверное, хотели бы видеть на моем месте отца и учителя, а видите мальчишку. Не смущайтесь: я сам робею больше вас.

Они улыбаются. Они широко и радостно улыбаются. Если над тобой смеются — тебя не ненавидят, так нас учили на уроках риторики. Я продолжаю.

— Считайте, что прибыли в незнакомый вам город и за медную монетку наняли на рынке мальчугана, чтобы показал вам окрестности, проводил вас туда, куда вам надо.

— Учитель, мы слушаем тебя, — радостно и широко улыбается та девушка, что сидит ближе, с горбинкой на носу, с серыми глазами... на кого же она похожа? Нет, сейчас не время об этом. Не время.

— И потому, — я продолжаю, хотя голос чуть дрогнул, — я и хочу спросить вас, куда вас вести. Зачем вы пришли в наше училище? Узнать больше о христианстве, подготовиться ко крещению, скажете вы. Но к чему оно вам? К чему вам вступать в нашу, как говорят иные, секту, презираемую элинами и египтянами, иудеями и римлянами, жителями едва ли не всего круга земель? Зачем подвергать себя опасности гонений, зачем отказываться от отеческих обычаев, зачем приходить ко Христу? Что хорошего для себя увидели вы в нашей церкви?

Они отвечают. Говорят о глаголах вечной жизни, о вере в Единого, о том, что мы — не такие, как все. Это и правда, и нет.

— Я задам и второй вопрос, — продолжаю я, — чтобы быть честным с вами. И чтобы в ответ мог надеяться на вашу честность. Скажите мне, что смущает вас, что отталкивает от христианства больше всего, что мешает приблизиться к нам?

Повисает тишина. Они не ждали такого вопроса.

— Вы слишком... — мнется еще один парень с первого ряда, — ну

что ли...

— Не бойся, друг.

— Ну... заносчивы, что ли. Словно вас одних любит этот ваш Бог. А мы?

Ему вторит взрослый мужчина с гладко выбритой головой и смуглой кожей:

— И эллины, и римляне, и все прочие, кто пришел на нашу землю, учились у нас, египтян. Знаю, мать твоя из нашего народа. Осирису не тесно рядом с вашим Иисусом — а вы зачем заставляете нас отречься от него?

— У меня тот же вопрос, — первая девушка улыбается еще шире, — но только, учитель, если позволишь, от эллинов. Народ философов и поэтов — нуждается ли в древних преданиях иудеев? К чему нам эти чужие сказки?

— Эй, потише, — горбоносый кучерявый парень справа от нее то ли в шутку, то ли всерьез возмущен, — Иисус был из наших. А у наших — где два еврея, там три мнения. Ну и вот он такой же. А вы теперь с нами как? Мы вам уже не нужны?

— Да чё там... Пьянствуют, воруют, такое всякое, — хриплый голос сзади, — и говорят, Иисус простит. Это как?

— Ну да, вот позавчера... — тема подхвачена, и конца ей не будет.

— Вы правы, — отвечаю я, когда поток примеров иссякает, — мы говорим о небесном, а сами слишком земные. Я тоже.

Молчат, слушают, ждут. Сгущается вечер: тени протянулись от окна до противоположной стены. Закаты в Египте длятся недолго.

Лица дрожат, расплываются, плывут... Словно рябь на воде. Это ведь сон. Я помню, что сон, только что помнил...

Бритоголовый слишком горд, чтобы меня услышать. Зачем пришел — не знает и сам. А кучерявый — он забавляется, я это вижу. Всё забава для него, а на уме — груз тканей или рыбы, а может, урожай фиников в дальнем оазисе. Он из торговцев. Может, и переменится, но не сразу, а крови попортит мне много.

А у хриплого, недоверчивого — четверо детей и больная жена. Он

здесь, потому что перепробовал всё остальное — не помогло. Она умирает. Он пришел в ожидании чуда и сам не верит в него. Отчего-то я знаю и это. Он будет настаивать и обвинять, но никогда, никогда не попросит о чуде. Он не умеет просить.

И только сероглазая — она распахнута и проста. Я отвожу глаза.

— Зажжем светильник, — предлагаю я, — чтобы видеть лица друг друга, когда настанет темнота. И начнем с самого, самого начала. Почему Бог и человек нужны друг другу?

Серые, задорные глаза — не оторваться от них! Я должен рассказать это всем, но ответ я читаю только в них.

...

— Почему ты выбрал меня, Климент?

Как в калейдоскопе цветные пятна собираются в новый узор, так и ткань сна изменяет свои очертания — теперь мы с Климентом прогуливаемся по небольшому саду, слушая в утренней прохладе щебет птиц. Я забыл или никогда не знал их названий, я не могу припомнить слова для багряных и розовых цветов, что оплели деревянную решетку справа от нас. Этот мир для меня — чужой.

— Не я выбирал. Ты.

— Я?

— Когда я пришел в вашу риторическую школу на следующий день после... ну, после того дня, ты помнишь...

Я сглатываю горячий комок.

— И ты рассказал... нет, не об Эдипе. Ты рассказал о своей вере. О своем отце.

— Язык у меня подвешен хорошо...

— Не гневи Создателя, — улыбается Климент, — Ты выбрал тогда свой путь. А я это лишь разглядел.

Птицы поют оглушительно, чего они хотят? Они трогают меня за плечо, нет, это не птицы...

— Деня, тебе к первой паре сегодня!

— А? Что?

— К первой паре. Ты сам вчера просил тебя поднять.

Мамино лицо. Из соседней комнаты — хиты советской эстрады на «Маяке»: «завалинка, завалинка, шумит о том, о сём...» И светлые пятна на потолок ложатся не от беспощадного египетского солнца — от лампочки в двадцать пять свечей из коридора. У нас так поздно светает в эту пору.

— Ма-ам, ну такой сон недосмотрел...

— На тебя яичницу жарить?

— Да!

Надо же, яйца есть. А, точно, вчера в «самохвате» на Петровке повезло! Два десятка в одни руки. Два! Целых два уговорил дать, наврал — мол, мама дома сидит, сама не может.

Всё, вставать пора.

Декабрь и рубли

А в декабре у Дениса завелись рубли. Они лежали в большой и красивой жестяной банке из-под импортного печенья на старинном книжном шкафу, что стоял в большой комнате (она же мамина, она же общая). Желтенькие помятые рублёвки, зеленые боевые трешки, даже синие пятерки — они смотрелись сиротливо среди сочных красных червонцев и густо-лиловых четвертных, и даже одинокий гордый полтинник красовался своим Лениным среди этой мелочевки. Лежала там в общей сумме пара тысяч — да только деньги были не его. Общие, Университета Цивилизаций.

Но и не возникало особого искушения их потратить. А на что? На еду хватало, только еды становилось как-то всё меньше и меньше. Во всяком случае, десятка-другая в кошельке постоянно водилась теперь и у Дениса. Жалко было спускать их на прогорклый кофе и вожделенные сосиски, когда в букинистических царило пиршество духа, и даже в их первом гуманитарном на самом первом этаже появились свои маленькие неформальные развальчики. Свой первый фиолетовый четвертной удалось обменять на карманное издание Нового Завета на греческом, самого начала века! И откуда только такое берется? Продавцы не рассказывали. Видно, наследство кто-то оставил.

А мама только охала и головой качала: целый четвертной на такую ерунду... А носить что будешь? Да что-нибудь придумаем, мам, не волнуйся, ну еще те ботинки у меня ничего. Ну что это такое: бегать по магазинам, вылавливать, выстаивать, примерять кондовое и пудовое в надежде, что на размер побольше не будут они так давить. Зато будут тереть. Такое только после кирзачей.

Ты же преподаватель теперь, — вздыхала мама и «доставала» через тетю Людю что-то элегантное, чешское или даже австрийское, лакированное, и как раз по ноге, просила не трепать просто так, надевать только на занятия. Денис смеялся и не возражал.

Объявления про свои занятия они с Надькой тогда напечатали,

размножили, после нескольких подходов к чужому копировальному аппарату выросла стопка чуть не в тысячу листочков, их раздали всем-всем-всем, кто к Университету Цивилизаций был причастен. УЦ, называли его сокращенно, и Денису нравилось, что носит он название родной страны библейского героя Иова. Хотя, кажется, никто об этом особо и не задумывался, когда его называли. Или Элла так специально и хотела? У нее никогда не поймешь.

А потом началась расклейка. Одному, конечно, неудобно — они ходили с Надей. Один держит пачку бумажек, у второго тубик с клеем, берешь одну, намазываешь, наклеиваешь, оглаживаешь — пять секунд. В одиночку сложнее. Главное, скучно в одиночку!

Вот чего-чего, а скучно с Надькой не бывает. О чем только они не болтали в эти дурацкие расклеечные часы! Бродили по центру или вокруг Универса, выбирали самые «свои» уголки и переулки, где будут проходить именно те люди, которых захочется потом учить. Клеили не просто на фонарные столбы — на стену самого красивого дома в стиле ар-нуво на Чистопрудном, голубого, со зверями, или на окошко неофициальной курилки первого корпуса («на сачке», как все называли, потому что там сачкуют), или на массивной ограде у входа в главное здание МГУ. Запасы таяли, приходилось выбирать, куда.

А Надя все-таки была замужем. Сказала об этом сразу, легко: муж тоже химик, пропадает в своих лабораториях, у него какой-то важный проект срывается из-за нехватки реактивов и всякое такое. Дочке пять лет, то в садике, то с бабушкой — а Надя, насидевшись с младенцем, вырвалась, как говорила сама, на оперативный простор, торопилась радоваться и жить. Но сроки выдерживала строго: дочку из садика сегодня забирать не позже семи, давай, Денька, пока-пока, завтра увидимся. И чмок в щечку. Вот именно чмок и именно в щечку. А хотелось бы...

Но нет, чужая жена — это чужая жена. Судя по всему, с мужем не всё там было ладно. Она не жаловалась, но видно было, что не хватает ей человеческого, теплого и живого. А может, просто жадная была до общения и жизни — она так же тянулась и ко всем остальным, кто был рядом. Или не так же? Или выделяла Деньку среди всех? Вот кажется, да...

А еще — Надя занималась политикой. Ну да, всерьез. Была

официальным членом Демократического движения, у них там свои сходки, собрания, митинги или как там еще это у них называется. Своя газета, своя программа. Да просто — своя тусовка, где можно болтать обо всем свободно и среди своих. Говорить, просто говорить, как же этого не хватало при лично дорогом Леониде Ильиче!

Только на эти собрания она его не звала, да и он и сам не хотел — ему и так Нади было и слишком мало, и слишком много. Однажды в переулке у Патриарших-Пионерских так вроде само получилось, что рука Дениса приобняла за плечи, и вот тут чуть бы еще развернуться и прямо в губы — он замедлил, а она изящно как-то, совсем не обидно отстранилась:

— Вот, смотри, давай еще туда листок!

И стали клеить. И в щечку она его на прощание чмокнула в тот день, как обычно, словно и не было этого полукруга рук, этих губ в опасной близости друг от друга — а он изнывал, он не замечал вокруг девчонок, а взрослую и верную своей семье Женщину боялся оскорбить прикосновением.

А потом пошли рубли. Нет, ну то есть студенты пошли, да как! В скромный ветеранский подвальчик, где были занятия в малых группах (для больших лекций снимали клубные залы, но Денис там ничего не читал), приходили сначала по двое-трое, по семь-восемь, а то и десять человек за вечер — записываться в этот их загадочный УЦ. И несли рубли. А и верно, на что их тратить, если товаров по госценам уже почти не осталось, а тут открылось такое, такое, такое! Цивилизации! Вот всю жизнь, можно сказать, мечтали, и только теперь и руки дошли, и начальство не проитив, и денежки лишние появились от кооперативной новой жизни.

И румяные червонцы, синие пятерки и примкнувшие к ним гордые четвертные, хрустящие, только с Госзнака, или помятые скромно-колхозные, кочевали из хозяйских портмоне и кошельков в аккуратную Надину коробочку. А однажды она попросила:

— Денька, стремно мне одной у себя всю выручку дома хранить. Мало ли что? Давай я тебе часть отдам? Ты только учет веди, что там откуда и куда.

И Денька согласился, шалея от доверия. Или просто от того, что она была молодой, яркой, потрясающей была эта Надя... и он, кажется, тоже ей нравился. Во всяком случае, в первую латинскую группу она записалась сама, он даже не ожидал!

Перед первым занятием он трепетал. Но не забыл развернуть лицом к стене тот самый деревянный портрет Ленина. Вспомнилось отчего-то, как на картошке после первого курса Гошка радостно переводил на латынь народные частушки: «*Nostrae regioni datur nova ordo Lenini...*» — дальше он на латинском вспомнить не мог. А вот на русском выходило незабываемо: «Нашей области прислали новый орден Ленина, до чего же это нам всё осто.бенило». И в самом деле, точнее не скажешь.

Ильич смирно висел носом к стенке (после занятия Денис, разумеется, его развернул в исходную позицию), десяток студентов от пятнадцати до пятидесяти лет смотрели с интересом и — может, показалось? — недоверием. На столе у стены стояла переносная доска и всё было готово к началу.

— *Exegi monumentum aere perennius*⁵... — раскатистые, звучные строки Горация ложились самым лучшим мостом к древней и строгой красоте, прежде всех падежей и наклонений. Так когда-то на самом первом занятии по английскому в школе учительница прочитала им первую страницу из «Тома Сойера»... и навсегда сразила маленького Дениску магией чужого слова, сочностью и глубиной неясного языка, который — только немного постарайся — откроется и тебе.

А от Горация — мостик к Пушкину, это в одну сторону, и к неизвестному древнеегипетскому воспевателю писцов, это в другую. И латинский язык как ворота в мир древней учености и вечной красоты. А теперь переходим к алфавиту — да вы и так его уже все знаете.

Всё получилось! С первого раза, на отлично! Его слушали, от алфавита удалось сразу шагнуть к первому склонению, даже текст самый простенький начали читать, Денис наслаждался этим таинством знакомства с языком, словно по волнам скользил под парусом, а гаванью для него были Надины серые глаза. И с этого самого первого раза —

⁵ «Памятник я воздвиг, бронзы в веках прочней...» (лат.)

когда не хватало уверенности, сил, терпения — искал эти глаза, возвращался к ним, спрашивал безмолвно: тебе как? Ей было — здорово!

Так бы и сегодня, только Надя не пришла — то ли дочка заболела, то ли еще что, мало ли, семья у нее. Да еще ведь и работала, или, вернее, числилась в том же НИИ, где и муж — правда, в последнее время на полставки, номинально. Так что пришлось собирать деньги самому, но это ничего, не впервой — они же друг друга всегда выручают. Сегодня как раз народ вносил деньги за очередные пять занятий.

Он шел теперь по заснеженной улице к метро, в кармане лежали нетяжелым грузом общественные рубли, из которых, впрочем, он заплатит и себе за декабрь. Так ведь куда проще и выгодней, чем в этих всех казенных институтах! Сам себе голова.

Он читал себе собственные стихи. Это бывало с ним и прежде, он даже не читал их — заново сочинял, погружался в те переживания, в то состояние между небом и землей, когда не знаешь, где явь, а где твоя фантазия — и что нужней, на самом деле:

*Белый двор без цели и без века —
тайный стон о нас, и в тополя
как в людские души, переехал
теплый запах старого жилья.*

*Прежних лет названия — рукою
снов и крыш, раскрытой в синеве.*

Белый двор, затверженный Москвою.

Белый двор, развенчанный в Москве.

*Век и старый город — с их уходом
стала болью память, ибо там
мы встречали весны по восходам
и года считали по дворам.*

Двор, ты вечен. Ибо было чудо.

*В этот день мы видели: вокруг
крыши, крыши, снег и свет повсюду.*

Ветки, что сплелись, как тень от рук.

Эта фигура возникла словно бы ниоткуда, Денис не заметил, как он подошел — словно хотел время спросить, или дорогу. Но обратился

уверенно:

— Денис Васильевич?

— Что? — он вздрогнул. По отчеству к нему не обращались.

— Аксентьев, Денис Васильевич? — неприметный аккуратный человек в аккуратном пальто почти трогал его за рукав, и было всё так знакомо, так тревожно, нехорошо до жути, в особенности с этим ровным и вежливым голосом.

— Да...

— Вы правильно поняли, — усмехнулся тот, — удостоверение показывать надо?

— Да уж покажите, — закипала внутри какая-то ярость.

— Ну, раз вы настаиваете...

Корочки мелькнули, как тогда, в сортире первого гуманитарного. Но на сей раз Денис заставил себя взглянуть в это протокольное лицо, запомнить имя, фамилию, отчество, невысокое звание — такие же грозные и... никакие, как пальто, как интонация, как взгляд незнакомца.

— И что теперь? — он был полон решимости бороться. Не тридцать седьмой, даже не восемьдесят шестой — почти уже девяностый на дворе! Гласность, перестройка, демократизация!

— Да ничего особенного. Есть желание с вами переговорить. Не у меня, но я вас отведу.

— А если я откажусь? Что, арестуете?

— Зачем же, — тот покачал головой, — ну что вы из нас делаете каких-то монстров... Ну, просто тогда придется официально вызывать вас в деканат, Денис Васильевич. Мы бы хотели избежать огласки, да, поди, и вы? Или в военкомат. Или, скажем, нагрянуть с финансово-налоговой проверкой в этот ваш институт культуры... Ах да, у вы же «Университетом Цивилизаций» назвались, вы же планетарного масштаба. Поди, наличные принимаете без ордеров-квитанций? При себе нет их случайно? Объяснить происхождение сможете? Словом, к чему нам эти обременительные формальности? Просто частный небольшой разговор... На часик, не больше. Пойдемте?

И обмякая, сдаваясь, позволяя себя увести — он мог думать, что тем

самым помогает ближним. Спасибо, старший лейтенант, ты облегчил трудный выбор. Профессионально облегчил.

Идти оказалось совсем недалеко — через пару кварталов, в тихом дворике, какой-то закуток на первом этаже вроде дворницкой, а из него — проход в небольшую двухкомнатную квартиру с тошнотными обоями и обшарпанной мебелью, в такой жить бы пьющему инженеру и замордованной учительнице с единственным отпрыском-двоечником. А вот гляди ж ты, как квартиру используют.

Навстречу из кухни (там уже посвистывал чайник) вышел тип попредставительней, лет тридцати, с волевым, но доброжелательным лицом, в очках металлической оправы, в легком свитерке с ромбами поверх бежевой рубашки, домашняя небезная элегантность, протянул руку:

— Проходите, Денис, будем знакомы, я Аркадий Семенович.

Этот уже без отчества обращается, отметил Денис, и руку, замешкавшись, подал. Он решил не упускать инициативы:

— Здравствуйте. А звание назовете? — снял, не торопясь, куртку, повесил, про разуваться даже и спрашивать не стал — вот он наследит и пусть потом убирают!

— А звание мое вам без надобности, — усмехнулся тот, — хотите лучше чаю? Хорошего, «со слонем».

— Не откажусь, — Денису казалось, что в его голосе звучит твердость и решительность.

— Ну вот и отлично, как раз вскипел. Сейчас заварю.

Закипал, пожалуй, разум возмущенный самого Дениса. Привели — и что? И начинал бы свой допрос! А то нет, тянет. Но ничего, прошел за ним на кухню, сел на выщербленную, неудобную табуретку. Даже на этом экономят!

Гебешник аккуратно залил кипятком две щепоти заварки в чайничке, закрыл крышечкой, достал из шкафчика блюдце с дешевыми печеньками, поставил перед Денисом. Какие у него мягкие, холеные руки с обручальным кольцом на безымянном правой руки... Примерный семьянин, не иначе!

— Вы, наверное, — говорил тот запросто, по-домашнему, — ждете

от нас каких-то ужасов, то ли пыток, то ли вербовки. Я вас разочарую: ничего этого не будет. Просто чаю попьем, поговорим о жизни.

Денис молчал. Он изготовился уже к протесту, к отпору — но перед ним был воздух, нечему было сопротивляться. Фантом.

— Я смотрю, вы в армии отслужили, вернулись, занялись учебой, одновременно уроками зарабатываете, прямо как чеховский какой-нибудь студент — вот очень всё правильно, положительно у вас выходит. В излишествах не замечены. Ленина разве что не любите, но это по нынешним временам модно, к тому же молодости свойствен радикализм.

Денис молчал. Куда, интересно, делся тот, первый, который на улице к нему подошел? Неужели стоит там за дверью? И если разговор пойдет плохо, то... Но ничего угрожающего не было в этом невнятном мягком человеке, в его почти ласковой интонации, в запахе чая со слоном, в перестуке допотопных ходиков на стене.

— Вот о чем я хотел бы поговорить — это о вашем увлечении религией.

— Теперь уже можно! — не выдержал он, — вам же наверняка доложили про мой карманный Новый Завет, я его еще в армии читал!

— Нам, о чем надо, докладывают, — ответил гебешник спокойно, и Денис понял, что про ту историю в армии он ничего не знает, она по инстанции не прошла, — вот, к примеру, о ваших художествах в туалете на первом курсе... но вы не волнуйтесь, это всё ерунда, особенно теперь, в период гласности и перестройки.

— Тогда...

— ...о чем я хотел с вами поговорить, правильный вопрос, Денис. О религии. Вы читаете книги, заглядываете иногда в церковь, подумываете, наверное, о том, чтобы стать примерным прихожанином, не так ли? А может быть, и священником?

— А причем здесь вы? — искренне удивился он, — теперь же...

— ...это не преследуется, верно. И даже не особо контролируется, на том уровне, как раньше, по крайней мере. Не волнуйтесь, я не буду просить вас докладывать об антисоветских настроениях или разговорах в студенческой или церковной среде — таких разговоров у нас теперь

хватает в прессе и даже на телевидении. Да и добровольных информаторов. Так что если свежий анекдот про Горбачева — сами первые расскажем.

— Так зачем вам я?

— Скорее, я бы сформулировал вопрос так: чем вам можем быть интересны мы...

— Ничем, — Денису было легко ответить, он знал заранее. По спине пробежали предательские мурашки: вот теперь, вот сейчас... Но нет. Обошлось.

— Не торопитесь. Я даже не говорю о том, что мы можем помочь — ну, или помешать — вашей карьере, притом действительно. Но есть вещи поважнее. Допустим... ну просто предположим, for the sake of argument,⁶ как говорится на языке вероятного противника: вы закончите университет и станете делать карьеру в духовной сфере. Можно пойти длинным путем: поступить в семинарию, знаете, это еще четыре года фактически той же казармы, да еще и с зубрежкой. А можно — и в этом как раз нетрудно будет вам помочь — сразу получить рукоположение, приход в центре Москвы, доброжелательное отношение начальства. Образованные, честные пастыри сейчас на вес золота.

— А взамен — душу?

— Не дерзите, юноша, — голос гебешника не дрогнул, — взамен лучше чаю попейте. Кажется, заварился уже.

— Я ведь даже не крещен пока что, а вы о рукоположении... — Дениса задевало, что говорит он вяло, неуверенно, словно оправдывается перед ним, а надо бы наступать, надо не давать ему продвигать собственный план! Но не получалось, даже голос как будто дрожал.

— Вопрос о крещении решается, насколько мне известно, за полчаса и за четвертной... у вас наверняка найдется — а в особых случаях можно договориться и о скидке. Студенту пойдут навстречу, я уверен.

Он разлил чай, достал из шкафчика сахарницу и две ложечки:

⁶ «ради спора, чисто теоретически» (англ.).

— С сахаром, сами знаете, в стране временные трудности в связи с самогоноварением и сокращением импорта. Подумывают даже о введении талонов в столице, в провинции так уже давно. Знаете свежий анекдот? Приходит гость с улицы, заходит в ванную. Его приглашают чай пить. Вы руки, — спрашивают, — мыли? А вы с мылом мыли? Точно с мылом? Ну тогда чай без сахара. А вы берите, накладывайте, не стесняйтесь. Вы же рук не мыли.

— Я без сахара, — ерепенился Денис, хотя сладкий чай любил.

— Ну так вот... Вы думаете, мы хотим сделать вас агентом в структурах патриархата, доносить на епископов, на исповеди выпытывать у прихожан, в чем они провинились перед Советской властью и всякое такое? В некотором смысле — мы в этом действительно заинтересованы. Вот предположим, опять-таки, *for the sake of argument*, что вы примете решение о духовной карьере. И что за то время, пока вы ее строите, в стране... произойдут дальнейшие перемены.

— Они несомненно произойдут! — уверенно заявил Денис, отхлебывая несладкий, но крепкий чай. А ведь было, пожалуй, даже вкусно.

— Согласен, — ласково кивнул гебешник, — а вы печеньки берите. И, как вы, наверное, почувствовали сами, марксизм-ленинизм вряд ли сумеет сохранить свою привлекательность в качестве базовой идеологии. И вот тут... вот тут, *mutatis mutandis*,⁷ выражаясь языком вашего любимого Цицерона, на первое место выйдет некая иная идея. Я лично выступаю за то, чтобы это была идея подлинно русская, проверенная веками, державная, укорененная в нашей национальной истории и не чуждая в то же время высотам общечеловеческих, как говорит Михаил Сергеевич, ценностей. Связанная, так сказать, со всей мировой цивилизацией. И оглядываясь вокруг, я вижу только одну идею, способную заменить нам марксизм. Называется она «православие».

Денис поперхнулся этим чаем, словно слона с пачки проглотил. Ну как же они смеют, а!

— А вы печенькой заешьте. Так вот, мне — нам всем — очень бы не хотелось, чтобы Россия стала полигоном для отработки этих, знаете ли,

⁷ «с необходимыми изменениями» (лат.).

атлантических западных идеологий, которые нам пытаются продать вместе с «Мальборо» (я знаю, вы не курите) и джинсами, словно цветные бусы папуасам в обмен на их землю и богатства. Такова логика колонизаторов, и надо сказать, они довольно успешно ее применяют в последнее время.

Что мы можем ей противопоставить? Только наше, родное, почвенническое. Но при этом важно не удариться в другую крайность: знаете, все эти старообрядцы-начетчики, все эти скиты и вериги, сектантство и изуверство. Нет, наша версия православия — я подчеркиваю, наша, и я надеюсь, что могу говорить о ней и от твоего, Денис, имени, — она открыта миру. Она принимает всю культуру Запада и Востока, она признает за человеком право на частную и достойную жизнь, и джинсы можно, и «Мальборо», и турпоездки в капстраны, насладиться музеями Ватикана, поработать в библиотеках Оксфорда — но осознавать при этом всю разницу между нами и ними. Всю глубину этой, позволю себе сказать, пропасти.

— И вы... — у Дениса не оставалось слов.

— И мы считаем, что такие парни, как ты — образованные, честные, искренние — и могут помочь нам направить развитие страны именно по этому пути. Не за печенки, нет. А потому что любите Россию.

Денис подавленно молчал. Какой же у того был бархатный, глубокий голос, проникает аж до печенок, успокаивает, гладит, умащивает... Он не вязался с этой обыденной кухней: потертой клеенкой в аляповатых рисованных фруктах, со слегка покосившейся дверцей кухонного шкафчика, с тяжелыми чугунными блинами электроплиты, как же долго такие нагреваются!

А бархатный голос продолжал:

— Ну, собственно, ответ от тебя прямо сейчас и не требуется. Подписку о неразглашении разве что.

— Я ничего не буду подписывать! — аж чаем чуть не поперхнулся.

— Ну и не подписывай, — тот пожал плечами, — я тебе секретов не выдавал, ты мне тоже ничего не докладывал. Разглашать-то и нечего. Просто чая с печенками попили. Да на том и разошлись.

Денис поднялся, оставив на дне чашки пару несладких, ой

несладких каких глотков. Ну как знак протеста на прощание, что ли...

— А будут вопросы, соображения, будет, чем поделиться... ну, или вопросы какие будут — тот с нажимом произнес слово «вопросы» — не стесняйся, обращайся. Да и я, пожалуй, разок-другой тебе домой позвоню.

Он поднялся белой невнятной тенью, протянул визитную карточку, новомодное изобретение последних времен.

И уже по дороге домой Денис поймал себя на том, что совершенно не запомнил его лица — вот если бы сейчас встретил его в подворотне, но в другой одежде, пожалуй, не узнал бы. Специально они, что ли, таких подбирают?

Но кусочек картона по-прежнему жег карман. Денис вытащил его, прочитал: «Аркадий Семенович, консультант». И номер телефона. Картонка была разорвана на тысячу мелких клочков, и внезапный порыв ветра понес ее по переулку прямо в царство Снежной Королевы...

Сон о женщинах

Спрятаться в сон — это как в глубокую яму упасть, только ее еще выкопать надо. Лежать, ворочаться на стареньком своем диванчике, считать овец — а они разбредаются, путаются, притворяются обрывками той картонки, что развеял нынче по ветру. И сосет, давит тревога: что дальше? Что они могут сделать? Что будет?

И все же — поплыли стены и потолок, раздвинулось время, раскрылась щедрая ладонь сонного морока...

Серые влажные глаза не смотрят, а протыкают насквозь. Я протягиваю руку — и она тянется навстречу, берет мою ладонь в две своих, прижимает к собственной щеке. На ней тонкий, совсем коротенький хитон, не скрывает — подчеркивает сочную податливость. Но хитон... да где он? Повела плечом — и заскользил вниз, открывая гладкое, молочное, запретное. До звона в ушах, до тумана в глазах...

— Иди ко мне!

Древний зов разверстой бездны, что наполняет мощью и лишает сил. Запах мускуса и весенних цветов, свежесть влажной кожи, сбивчивое легкое дыхание...

— Иди ко мне!

Я не должен — но я приду. Прихожу, не помню об ином, содрогаюсь в упругой и жаркой тесноте, и тело падает, падает в бездну, а кажется, что взлетает на небеса...

Изгибаясь всем телом — вздрагиваю и просыпаюсь. Окунаюсь в полусумрак предрассветной комнаты, надо мной — две прокопченных потолочных балки, слева — роспись по штукатурке: дивный сад и двери во дворец, где живет моя Сероглазка из постыдного и всеильного сна.

И я успеваю прошептать раньше, чем проснусь:

— Не осквернился! Я не осквернился! Это всего лишь сон...

И сердце стучит в ответ: так ли? Так ли? Ты ведь был готов... был

ГОТОВ...

Сердце, уймись, пожалей, не обличай. Постель моя мокра, но это всего лишь сон, ничего не было наяву. Ничего вообще никогда не было. Я давно не ребенок, но я не знал еще женщины — и как же это... как же это просто, всё себе запретить. Ни сомнений, ни страданий выбора, ни ухаживаний, ни тайных содроганий. И как же это невыносимо — выдерживать запрет, убеждать себя в его правоте...

Мне было лет тринадцать, когда это случилось впервые. Мой сон был томительным и знойным, как летняя египетская ночь, и в этом сне были руки, плечи, рассыпанные волосы, и ниже, ниже... и я проснулся от ужаса и стыда, и не мог понять, что со мной произошло. Не мог поговорить об этом с отцом, ведь я был уверен, что всё это грязь, недостойная, липкая, мерзкая, как истечение, которым я тогда осквернился. А мой отец — он был прекрасен и велик, как мог я его таким опозорить!

Я скрывал это недели две, но все повторилось, и я понял, что болен. Заикаясь и бледнея, я рассказал обо всем матери, а вернее, дал ей догадаться. И она рассмеялась, потрепала меня по макушке — а я холодел от сознания собственной нечистоты — и сказала, что это бывает и проходит, что я становлюсь мужчиной, и что надо, пожалуй, поговорить с дедом, ее отцом, чтобы он сводил меня туда, где...

— Нет, — завопил я тогда, — я не дитя Гора, я сын своего отца!

— Что же ты тогда не пришел с вопросом к нему?

И снова протянула руку к моей макушке, словно я еще был малыш — а я сбежал тогда от нее, сбежал, чтобы плакать в самом дальнем углу нашей улицы, там, где отбросы и бродячие кошки, где было самое подходящее место для оскверненного отрока вроде меня.

И вот теперь я взрослый. Я — Ориген. Я не женат, я не собираюсь жениться, я хочу посвятить свою жизнь Господу и людям, а не семейному счастью. И все же нет покоя...

Я, наставник огласительного училища Александрии, я не могу забыть ту милую, нежную Сероглазку, что когда-то была первой из моих учеников, что давно прошла курс всех моих нехитрых наук, вышла замуж, растит, кажется, двоих уже чудесных детишек... Живет далеко, на

окраине города, виделись, наверное, полгода назад или даже больше. И мне мерзко представить, как ее муж, вдвое ее старше, проделывает с ней, поди, каждую ночь то, что снилось мне. Вижу его плешивую голову, пухлые с болячками губы, что впиваются в гранатовые уста, жадные волосатые руки, что раздвигают складки ткани и те, другие складки, под ними...

Я встаю, в своем старом, залатанном хитоне выхожу во внутренний двор — сейчас зима, и перед рассветом холодно, но именно это мне и нужно. Там, ближе к кухне, есть бочка с водой, всего две недели назад шел дождь и воды довольно, можно потратить ведро, чтобы остудить, изнурить эту плоть, этого крокодила, змея, дракона — эту вошь и моль, которые думаю взять надо мной власть. Окатить водой, и снова, и снова, если понадобится — пока не забудет она алкать плоть чужую, раннюю, сочную, женскую, пока не взмолится о веселом огне очага и грубой шерстяной накидке.

— Ориген!

Глубокий этот голос, словно бы материнский, заставляет меня застыть с ведром в руках. Негоже, чтобы она это видела. Как рано она поднялась сегодня, ведь ей не нужно хлопотать по хозяйству, на то есть служанки...

— Мальчик мой, к чему ты это?

Она так всегда ко мне добра, Арета! С той, что меня родила, мы видимся теперь редко, я по ней не скучаю. Раз в месяц я приношу ей денег, сколько удастся скопить и отложить. Приветствую ее поклоном, обнимаю братишек и сестреноч, а кому и щелбана могу играючи отвесить — кто еще остался в этом доме, кто не вышел из детства. Нас у нее десять. Мать — крепкая, здоровая самка. А я старший сын. Я обязан теперь заботиться о ней и о них — но ведь для этого не обязательно жить вместе?

Я прихожу к ним иногда, сажусь за выщербленный стол, под которым прятался в детстве, я ем, что она подаст, к моему приходу она старается состряпать что-нибудь особенное, угостить меня получше, а мне в горло не идет этот кусок запеченной курицы, эта подслащенная бобовая каша — а ведь малышом я ее любил! И мать в ту пору любил. А

теперь... Она, эта женщина, привыкла молиться этим своим египетским богам и тому же учит малышей. Она живет в мире сопливых носов, разбитых коленок, она не может подняться выше, заглянуть дальше. Не может, а главное — не хочет.

Совсем иное дело — Арета, в доме которой я живу. Само ее нынешнее имя говорит о добродетели,⁸ она давно забыла то египетское прозвище, которым нарекли ее родители. Она — пожилая бездетная вдова, хотя, конечно, не такая древняя, как моя мать. Но и Арете уже почти сорок. И все же, все же... эти руки с синими прожилками, мягкие и теплые на ощупь, когда соприкоснешься с ними, глубокий грудной голос, это нежное и светлое лицо с трогательной морщинкой поперек лба, со складками, идущими от глаз к вискам — я нарочно вглядываюсь в эти приметы старости Ареты, чтобы не разжигаться, когда доводится ее видеть. И — не могу не разжечься. Она еще милее с ними, моя Арета, на два года моложе моей матери.

Моя, моя, моя Арета! В этом доме живет еще один нахлебник, подобный мне — нагло назвался Павлом, присвоил себе великое имя. Он старше, он толстый и прихрамывает, а еще улыбается так противно. А самое главное — он еретик. Он не верит в то же, во что и мы. Сколько раз я просил, требовал, умолял... нет, Арета непреклонна. «Я не разбираюсь, — говорила она, в этих ваших мужских спорах, я просто кормлю голодного, что в том дурного?»

— Мальчик мой, что это ты?

Ее голос возвращает меня на землю. Из кухни доносится тихий скрежет жерновов, это рабыни мелют к завтраку зерно, пахнет дымом и еще чуточку травами, шалфеем и шафраном, а скоро запахнет свежим хлебом, желанным почти как девичья плоть. Темно-серые стены скоро обретут свои дневные цвета, вот и небо потихонечку светлеет, начинается новый день — для молитвы, труда и общения. Но мне не до них.

— Я... да просто...

— Ты простудишься, экий на дворе холод! Не стоит...

Я быстро, ничего не отвечая, выливаю на себя это ведро — и

⁸ Арета — «добродетель» (др.-греч.)

почему-то не чувствую холода. Зато пожар уходит.

— Сейчас согреюсь! — весело кричу я ей и бегу туда, наверх, в горницу, куда уже внесли жаровню с горячими углями, а скоро, поди, принесут утренний отвар из пустынных трав, какими согреваются под зимним небом варвары-азиаты...

Она сидит, улыбается, такая светлая и спокойная. Не будет меня ругать и стыдить за эту порывистость — или она с высоты возраста просто понимает, когда юным нужно остужать свою плоть?

— Знаешь, — она улыбается загадочно и просто, — тут по соседству одна хорошая девушка живет, скромница такая и рукодельница...

— Арета! — я краснею, взрываюсь, смеюсь, — ну о чем ты! Ты же знаешь! Сосватай лучше этого своего еретика...

— Ну что ты петушишься, — примирительно мурлычет она, — не надо меня с ним делить, за меня воевать...

И всё плывет, растягивается, ускользает — день исчезает, не успев начаться.

Ночь. Новая ночь, густая и прохладная, я кутаюсь в старый шерстяной плащ на самой окраине города, где никто — я надеюсь — не узнает меня. Лающий хохот гиен доносится из пустыни. Я решил. Ветер по соседству лениво шевелит длинные опахала на верхушках двух невысоких пальм. Надо же, пальмы — словно в райском саду.

А я стою перед дверью в ад, в самое его жерло, горло, глотку. Я пришел в такое место и такой час, после заката, чтобы меньше было вокруг людей — но я ошибся. Я не один. Переминается с ноги на ногу передо мной кто-то высокий, он мне кажется страшным и злобным, но я не заглядываю ему в лицо, надеясь, что и он в мое смотреть не станет.

А сзади кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь, надвигая капюшон поглубже. Передо мной — бесцветное, бледное, блеклое лицо с горящими глазами.

— Слышь, друг! Я к Рыбке. Рыбка, слышь, моя, ты ее не занимай. Я к ней только и хожу.

— Да пожалуйста, — цежу я сквозь зубы не слишком дружелюбно.

— Впервой, что ли? — понимающе кивает он, — приезжий? Ты, главное, к Бочке не ходи, жирная она и широкая. Никакого удовольствия,

даром, что дешево. А остальные ничего. Но Рыбка — она моя.

Я киваю.

— Слышь, друг, — обойдя меня, он прикасается к плечу того, первого...

Но дверь лупанария⁹ открывается. Хозяин — наглый, толстый, масляный, с бегающими глазками, пропускает того, первого, не задавая вопросов. Видно, знакомы давно.

— Только не к Рыбке! — кричит этот, за мной.

— А то ж! — кривится ухмылкой хозяин, сжимает в кулаке медные кругляши. Видно, что заработаны они трудом, долгим, трудным, хлопотным — потные, стертые монетки. Их берегли, ими оплатили нужное — а теперь они сгинут в разверстой пасти, как и моя душа.

— И ты давай, — машет он мне рукой, — Змейка пойдет? Она гибкая, юная. Восемь!

— Тю-уу, — присвистывает тот, за моей спиной, — бога-ач ты, что ли, парень.

— Пойду, — я сглатываю слюну. Я сейчас хоть к Медузе Горгоне, только чтобы в лицо ей не глядеть.

— Рыбка скоро тоже освободится, — ласково сообщает он тому, что за мной.

Я суетливо выкладываю на протянутую ладонь из кошель сестерций, второй, третий... Три сестерция — это семь с половиной ассов¹⁰. У меня еще есть один, я лезу за ним в кошель... Как это, оказывается, дорого! Или дешево — за продажу души, за вечную гибель?

— Ладно, хватит с тебя, — ласково мурлычет хозяин, — для первого раза скидка! Хватит и этого. И глоток вина потом — бесплатно! А постоянным гостям — по шесть. Тебе понравится, придешь еще.

Он ведет меня узким коридором, двоим не разойтись. Куда, интересно, выходят посетители, которые... уже? По сторонам — завешенные двери. Те звуки, которые доносятся из-за них... нет, это не

⁹ *Лупанарий* — публичный дом в Римской империи.

¹⁰ *Сестерции, ассы* — монеты в Римской империи.

люди. Это рычание, чавканье, хлюпанье Великой Бездны. Этот запах — не мускуса и цветов, а пота, гнева и страха. Страх смерти, его топят в жаркой чужой плоти, пока не лишатся своей.

Над каждой из дверей я вижу в колеблющемся пламени светильника похабные рисунки, чтобы разжечь в мужчине охоту. Неужели кому-то помогает? Они же... Но разглядывать некогда.

Одна завеса отдернута. За ней — жен... девочка. Гибкая юная девочка с раскинутыми ногами на самом простом ложе, рядом с ней — столик, на нем кувшин с водой, на полу — сливная лохань.

— Иди ко мне.

Сколько же ей лет? Как давно оборвалось ее детство? Сколько из немногих этих лет провела она здесь и сколько еще проведет? И сколько пройдет, пока не превратится и она — в бочку, с корявыми ногами и истерзанным лоном? Что будет с ней дальше?

— Иди ко мне, иди, что же ты, дурачок...

Она встает, берется за мои плечи и ниже, ниже: пальцы шарят, словно в поисках кошель, но кошель и так уже почти пуст. Одежда спадает на пол, тело не слушает меня — но отзывается на ее умелую ласку. Да еще как!

— Бедный мой, маленький мальчишечка, соскучился поди, истосковался по...

Я не смогу повторить это слово. Но в ее устах оно пахнет розой.

— Вот и славно, вот мы сейчас поймаем твоего конька, усмирим, объездим... иди, иди ко мне!

И тянет меня на постель.

И я иду. Я падаю. Я рыдаю.

Ночь.

Я стою в своей комнате, усталый, опустошенный, как тот кувшин, из которого она пыталась подмыться, как та плошка, в которой хозяин блудилища поднес мне глоток отвратного вина. Как та улица, на которую выпроводили меня с другой стороны коридора. Как ветер из пустыни, как собачий брех, как глаза заспанного слуги, отворившего мне дверь уже перед самым рассветом.

Так теперь и моя душа. Я познал этот вкус. Я пал.

Я стою в своей комнате обнаженным, с большим кухонным ножом в руках — таким повар кромсает бараньи окорока. На столике — плошка с вином, оно лучше, чем было в блудилище, оно покрепче, им удобно промывать раны. И рядом — горсть пепла из кухонного очага, раны полезно присыпать, чтобы быстрее заживали.

Будет больно. Будет смертельно больно, но так и надо тебе, плоть. Я гляжу на древнего и могучего змея: он победил меня сегодня. Но змей — ничто без двух яблок эдемского сада, среди которых находит он ложный покой, пока не восстанет вновь в поисках моего падения. Я оставлю змея — но отсеку остальное. И поставлю в этой повести точку.

Есть ведь те, кто сделали себя скопцами ради Царствия — я теперь понимаю, как это. Совсем нетрудно взять из кухни пепел и нож, зачерпнуть вина. Взмахнуть и отсечь. Труднее будет объяснить всё потом Арете. Но она поймет. Только один взмах. Только немного боли.

— Считаешь, Я создал Адама несовершенным?

Я не знаю, откуда пришел этот вопрос. Нет, не было гласа с небес, не было вообще ничего, даже легкого движения ветра. Но вопрос — был. Мужчину и женщину сотворил Он человека, и было так от века. Иудеи похваляются обрезанием, отсекая у себя малую часть плоти, и то же творят египтяне, а я решил их превзойти в своем чванстве, добавляя к блюду горший грех гордыни?

Я бросаю на пол нож, подхожу к окну и развеиваю пепел — ночной ветерок услужливо принимает его из моих рук и разносит по всему двору. Я отсеку свою страсть иначе. Я больше никогда не взгляну на Сероглазку.

Пробуждение в душной темноте прежде рассвета — зимние рассветы не торопятся в Москву. Постель мокра. Двадцать лет. И месяца три уже без секса — как же это так получилось?

Январь и вино

На новый 1990-й открыли вино — сразу две бутылки. И оказалось — вкусно! Нет, не просто вкусно: изысканно! Эксперимент удался.

Как и почему удался, гадать было бесполезно, повторить, наверное, не удастся. А всё дело в чем? Во-первых, это Михаил Сергеевич расстарался: в целях борьбы с алкоголизмом лишил народ не только родимой беленькой и пошла вроде «трех топоров» и «плодово-выгодного» (пробовал пару раз в десятом классе в подворотне, а потом в армии в увольнении разок), но и любимых маминых Киндзмараули-Цинандали, что всегда продавались в магазине «Вино» на Столешниковом. Это, наверное, про него сочинили анекдот: «Остановка “Винный магазин”. Следующая — “Конец очереди”». Рядом с ним на Пушкинской улице и в самом деле была троллейбусная остановка, но до следующей очереди все же не дотягивала — так, слегка за угол загибалась, и то не всегда.

На водку уже ввели талоны. Она окончательно стала универсальной валютой, крепче рубля и доступней доллара. Можно было, конечно, выстоять эту очередь, часа на два или три, но... зачем? Вот прикол: в фирменном магазине «Дзинтарс» на соседнем углу «питьевой одеколон», как это называлось почти официально, теперь продавали как водку. Так и писали в объявлении: одеколон — с 14-ти часов!

Или вот еще анекдот: везет Горбачев Рейгана по Москве, а тот видит очередь бухариков. Кто это? — спрашивает. Ну, Горби ему: это абитуриенты, поступают во Всесоюзный институт народного образования, сокращенно ВИНО, вот и вывеска. А чё такие все синие и трясутся? А перед экзаменом волнуются, им же с одиннадцати на два перенесли.

Нет, нельзя сказать, что прямо невмоготу без выпивки, а к празднику все же хотелось. И мама взяла у одной из коллег схему примитивного самогонного аппарата из подручных средств. Даже если

милиция придет проверять — всё чисто, никакого самогонварения.

Все было просто: забродившая брага заливается в большую кастрюлю и ставится на плиту на маленький огонь. В центр большой кастрюли — маленькая, на подставке. Сверху крышка, желательно вогнутая внутрь, а на нее — миска с водой. Спирт начинает испаряться раньше воды, оседает на крышке, каплями стекает в маленькую кастрюльку. Если перегнать два раза, получался вполне пригодный напиток.

Трехлитровые банки с надетыми на них перчатками бесстыдно торчали по квартирам, а порой даже выставлялись на окна: это брага бродила, выделяла газы, перчатка надувалась и колыхалась порой от ветерка, называли наглый ее взмах «привет Горбачеву». А саму брагу-то из чего делать? Сахар в магазинах тоже ведь было не достать.

У маминой сестры была дача по Савеловскому направлению, а там — кусты черноплодной рябины. Бессмысленное, казалось бы, растение: есть эти ягоды невкусно, огненной красоты рябины настоящей в них тоже не было. Говорят, помогала она от давления, варенье варили, сок жали... Но еще подсказали: брага из нее отличная, и сахара совсем немного надо.

Рябины еще в августе нарвали много, почти полное ведро. И всю пустили на брагу, сахару вбухали килограмма два, не больше. Стояла в углу кухни, благоухала. А когда пришли пора варить, Денис попробовал... и оказалось вкусно! Так что часть браги, или уже можно сказать, вина, перелил в пустые бутылки, добавил в каждую чуточку готового самогонного продукта, чтобы унять брожение, заткнул бережно сохраненными пробками, сверху покапал воском для герметичности и оставил доходить в темном углу.

А зато к новогоднему столу — с собственной бутылкой! Было страшновато: а вдруг бурда бурдовая вышла? На всякий случай взяли и самогона, он был уже проверенным, не сказать, чтобы изысканным, но питким. А вот вино вышло ароматным, с глубоким терпким вкусом, в меру крепким — трудно было поверить, что сбродили его на кухне из ведра черноплодки, а не где-нибудь в кахетинских подвалах или бургундских шато.

Новый год встречали с мамой у родственников, точнее — у ее брата-инженера в добротной кооперативной трешке недалеко от Новослободской, вместе с прочей родней. Хотелось Денису улизнуть на какую-то свою тусовку, но что-то не сложилось: кто из иногородних студентов вернулся домой, кто готовился к экзаменам, а счастливицы парочками разбредались по пустующим комнатам общежития или приятельским квартирам. Впрочем, новый год никогда он особенно не любил и не ждал от этого праздника буйного веселья. Ну принято отмечать — отметим. Тем более, у дяди Димы всегда за столом вкусно и обильно, умеет он продукты достать, а жена его Таня — готовить!

Настоящие рижские шпроты, копченая колбаска из стола заказов, салат с несуразным названием «оливье», а надо бы «жри от пуза», и чтобы сперва старый год проводить ледяной водочкой, только что из морозилки, пусть распустится алым цветком там, внутри, только не сразу... А потом горячее, и наверняка что-то мясное, какое теперь только по знакомству, да с запеченной картошечкой (ее еще купить можно), да со свежей рыночной зеленью... ну о чем еще мечтать?

Но сначала — нарядить чуть не с боем добытую елку игрушками. Это в детстве они казались волшебными, а сейчас выглядят полной дребеденью, да под вечную эту «Иронию судьбы», и чтобы мама строгала рядом этот самый оливье мелкими кубиками — каждый ведь приносит к столу, что может.

«Ирония судьбы», вот он, вечный миф о вечном возвращении, — думал Денис. О возвращении советского человека со стандартной работы в стандартную квартиру, о переходе в стандартный новый год, и какой у него номер — это подробность чисто техническая. Кто отличит 77-й от 76-го? Да даже от 71-го, если отвлечься от хитов эстрады и модных причесок? Да никто. Денис помнил, как собрались у телевизора в этой самой комнате — еще отец жил с ними — когда фильм показывали в первый раз, и он, совсем еще малыш, чуть не разревелся, когда после забавного мультика пошли какие-то дурацкие окна под снегом и песня не пойми о чем. Он-то надеялся, что мультик — надолго, часа на два, как в программе было написано!

И вот возвращается эта советская унылая дребедень каждый новый год, вернее, провожают ей каждый старый в надежде, что всё вернется,

всё останется, как было, не будем мы ни стареть, ни умирать, не меняться. А вот шиш! Девяностые... Ясно про них одно: будет интересно. Хотя, кажется, голодновато, так что нажраться бы заранее этим вашим оливьём до отвала. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»

И ведь какие они все незрелые, — думал Денис, — какие беспомощные, как зависят от внешних обстоятельств, эти советские винтики. Одного отправили в Питер багажом, а он даже не хочет понять, что ломает судьбу двум чужим людям и собственной невесте. Да ведь на самом деле он сбежал от нее, пусть не в Питер — сбежал в водку, в беспамятство. Ну хорошо, не запихнули бы его в самолет, привезли бы на правильную улицу Строителей — и пришла бы к нему вечером Галя. И что? А он всё одно в хлам. Романтический бы вышел новый год, ничего не скажешь... Мямля он и болтун, хоть и классно поет — голосом Сергея Никитина. И Надя эта, и Галя, и особенно Ипполит — люди, которые живут по чужим обрыдлым сценариям, им Брежнев и партком нужны, чтобы от себя в бутылку не сбежать.

А мы вот другие, — думал он, пристраивая дурацкого облезлого клоуна на прищепке на разлапистую еловую ветвь, самую представительную на лысоватом этом деревце, какое удалось ухватить на елочном базаре. Брали, правда, иные по два полулысых ствола, составляли вместе, так даже смотрелось ничего, закрывали два инвалида друг у друга проплешины ... как эти Надя с Женей. А вот мы уже другие, нам ни водки, ни парткома, ни Брежнева. И ничего.

И тут же Денька понимал, что сердится не на старое и отличное, кстати, кино — на собственное одиночество. Его ни одна не ждала этой ночью ни в Москве, ни в Ленинграде. И кому ждать? Вера — она в своей вере... Она про книжки, про службы, у нее строгий пост сейчас, вот самый строгий перед самым Рождеством. О чем там вообще? А Надя... ну она, его Надя, она со своим Ипполитом законным. И ничего тут не попишешь. А просто так перепихнуться, как после дембеля на радостях было пару-тройку раз, да это вроде как пожалуйста, не обижен ни экстерьером, ни потенцией, да только... не настоящее всё это. Как елка, как оливье, как новый год.

Ой, а самое-то смешное, самое новогоднее — Ленина, Ленина-то он так и забыл тогда обратно перевернуть! В тот самый день, когда то ли

вербовать его пытались, то ли просто беседовали по душам — он ушел из ветеранского клуба, оставив самый главный портрет повернутым лицом к стене. Плохо себя вел Ильич и теперь наказан.

И когда пришел туда на следующей неделе, где-то минут за десять до занятия — его не пустили. Дверь открыл аккуратный такой старичок в пиджаке с орденскими планками и начал орать с порога:

— Что это вы тут наделали, как вы посмели? Портрет перевернуть, это ж надо, какое вредительство! Вам, молодой человек, может, Владимир Ильич Ленин не нравится?!

— Не нравится, — честно ответил Денис.

Что он услышал в ответ, разобрать было сложно: и «доложу, куда следует», и «родина тебя бесплатно выучила себе на голову», и что-то даже про «убирайся в свой Израиль», хотя Денису он был ни разу не свой. Одно было ясно: в этом клубе им заниматься больше не придется ни-ког-да.

И что? И ничего. Встал у входа, собрал свою группу... и повел их в родной Первый гуманитарный, вдоль по яблонево́й аллее. После обеда нетрудно было найти свободную аудиторию. От урока скандал и переход отгрызли полчаса, но урок — состоялся!

И даже, набравшись наглости, сходил потом Денис к замдекана Леонтьевой, к той самой, что по ходатайству Сельвинской спасала его три года назад от скандальной сортирной истории. И договорились, отлично договорились, за небольшую совсем арендную плату — использовать отдельные свободные аудитории во внеучебное время, даже и для лекций. Все складывалось как нельзя лучше для Университета цивилизаций и для него самого!

А сам новый год встречали в гостях, шумной, большой компанией: две проходных комнаты с широкими дверями нараспашку, три стола, составленные вместе, от дальней стены и почти до самой кухни, собранные по соседям стулья-табуретки всех мастей и такая же посуда, закуски, закуски, закуски, бутылки...

И вечные российские разговоры. Политика, искусство, политика, еда, политика, политика. И еда. И политика!

— Оливьешку мне положи.

- Студень — чудо студень! Маруся такой у тебя делает... и даже хрена к нему достали.
- Ага, хрен — главный дефицит.
- Это почему?
- Ну в какой магазин ни зайдешь — ни хрена нет...
- Довели страну, перестройщики...
- Уже смотрели «Андрея Рублева»?
- Это Тарковского?
- Ну да.
- Нет, только «Зеркало».
- И вообще правильное название «Страсти по Андрею». Это цензура вымарала.
- Ну да. Вы же знаете, в этой стране...
- И всегда так было. Фильм Тарковского ровно об этом.
- ...никогда ничего не изменится.
- Как бы то ни было, а уезжать надо. Мне красненького плесните.
- Спасибо!
- Бартошевичи вон уже уехали.
- Некоторых везде уже ждут. А мы тут никому нахрен...
- Лишь бы не как в Румынии!
- А что Румыния? У нас вон смотрите: на Кавказе режут уже друг друга, Сумгаит этот их Карабах, вот и лабусы совсем оборзели...
- Кто?
- Ну прибалты эти! Дали им этот республиканский хозрасчет, мать его, они и флаги свои понавывешивали, которые дивизий СС... а мне водочки лучше, водочки!
- Да причем тут СС! И нам бы вернуть наше историческое знамя, трехцветное!
- Наше — другое дело. Под ним деды...
- Власовцы, между прочим, тоже под ним.
- А мне винца. Отличный винчик!
- А власовцы были под андреевским, вот.

- Самодельный винчик, из черноплодки. Аксентьевы настаивают.
- Не настаивают, а сбраживают.
- Всё одно удалось. Почаще бы встречаться. Эх, хар-рашо!
- Да никогда ничего в этой стране хорошего!
- Ну почему же, вот Горбачев встречался только что с папой римским, с Бушем, это совершенно...
- Коммуняка этот ваш Горбатый. Номенклатурщик, функционер.
- Ну, есть же и свежие люди, например...
- Этот ваш Ельцин — он страну разваливает! Предатель...
- А вам что, Гидаспов¹¹ больше по душе?
- Он хотя бы ученый.
- Да, надо признать, что для академиков, особенно в естественных науках, советский строй действительно... Если делаешь бомбу или большую химию — любые ресурсы... а мне колбаски, будьте любезны, передайте!
- И, откашлявшись, встав, представительно:
- Вот кстати, давайте, родные и друзья, провожая этот год, помянем великого ученого и самого удивительного человека, чьим современником нам посчастливилось быть, стоя, не чокаясь, холодненькой...
- О ком это?
- Андрей Дмитриевич.
- Конечно же, я была на похоронах...
- Да о ком же?
- Сахаров.
- Тост за Сахарова! До дна! Стоя.
- За него не стану пить. Эта ваша его Елена Боннэр — агент сионизма...
- Не хочешь за правозащитника — давай за академика и героя соцтруда, дважды причем.

11 Б. В. Гидаспов — химик, чл.-корр. АН СССР, в то время — первый секретарь Ленинградского горкома и обкома КПСС, выступавший против перестройки.

— А можно я стихи о нем прочитаю?

Денис сказал это — и почувствовал себя пятилеткой на табуретке, поставили гостям на потеху, и вот сейчас про ёлочку, пока они водочкой балуются. Но тошнило уже, тошнило от этих разговоров ни о чем, всегда одинаковых, в упор не слышат друг друга. Пусть послушают его.

Он Сахарова — ну, уважал, сильно уважал, но не более того. Но было что-то такое... настоящее, античное, в том, как он ушел. Как не вставал и не хлопал, когда вставали все, как смел быть собой, как глядел с фотографий строго и нежно — с подвернутой этой головой, говорят, кормили его в Горьком силком, шею повредили — глядел не триумфатором, но истинным победителем. Взгляд Сократа перед судом афинян. Взгляд из тех, что остаются навсегда

И пока не спохватились, Денис с напускной наглостью (а всё от робкости!) хватанул рюмашку стоя, вне очереди и без тоста, чуточку поплыл на еще полуголодный желудок и начал читать, сбившись на первой же строчке на легкую хрипотцу:

Он умер в оттепель.

*Был ясный день, и улицы текли,
и воздух наполнялся голосами,
и охал снег, и оседал пластами,
но ветра южного порывы не достали
льдом и асфальтом скованной земли.*

Он умер в оттепель.

*Покуда всё окрест
бесцветным зимним небом наливалось,
по всем устам волной передавалось
лишь два-три слова. О какая малость!
Какая простота. Какая весть.*

Он умер в оттепель.

*Не перед всякой смертью мы равны,
не перед всякой вестью мы в ответе,
но кто из нас не ощутил вины
как перед целым миром — перед этим
мучительным и легким до бессмертья
и детским поворотом головы?*

*Он умер в оттепель, Рождественским постом,
когда в России развезло дороги,
и новый год топтался на пороге,
робея пред грядущим Рождеством.*

Все как-то притихли. И только справа, троюродный дедушка, большевик с 1918-го года, откашлявшись:

— Рождество — это правильно. Это наше, русское. Мы же, чай, православные, а не как эти, которые... Хорошо, что теперь вспомнили! Ну, за Рождество!

Денис сел, как будто оплеванный. Корова Маат, — вспомнилось ему некстати. Или кстати? Там, в этом сне, небо было священной коровой, а Египет был землей Маат, от века и навсегда, и он как египтянин был обязан... а теперь, значит, как русский? А если прадедушка по отцу у него был натуральный чуваш, а мамина бабка вообще непонятно кто, то теперь как? И Ленина люби, и Рождество празднуй, да?

Рождество ему — что? Новый, никому не понятный и не особо нужный ритуал? В этом новом году оно так удачно приходится на воскресенье, что можно не задавать неудобных вопросов — праздничный ли день. Тем более, что многие отметили еще 25-го... Ну, с удовольствием повторят!

Но до Рождества была еще сессия. Сдавал Денис экзамены легко, язык был подвешен, соображалка тоже работала, ну и учился вроде ничего, хоть и не в самых первых, но и не в последних рядах точно. Так, сессия и сессия.

Вот зачет у Новицкого — его боялся больше всего, а сдал всего легче. Был он второго января. Да-да, именно второго! В общем-то, зачет был Денису совершенно не нужен, спецкурс по сравнительно-историческому языкознанию в программе классического отделения не стоял, он ходил на него по собственному желанию... или просто потому, что на него ходила Вера? Ей на русском он тоже не обязателен, но Новицкий, Новицкий... не было в нем риторического изящества Николаева, занятия он вел, словно перед коллегами извинялся, что приходится всем известные вещи напоминать, и понять извивы его мысли и глубину его примеров нелингвисту было непросто.

Но было это сродни магии: реконструкция праязыка, погружение в бездну времени, попытка приблизиться к тому первоисточнику всех сущих на Земле языков, от которого не могло остаться надежных свидетельств — или всё же могли? Отдельные корни, измененные до неузнаваемости в звучащих языках Земли — они как отпечатки первых бактерий в толщах каменных плит, свидетели незапамятных древних рождений.

Археология языка, палеонтология наречий, геология пластов сознания! От всем очевидного славянского сходства — в индоевропейский, давно изученный раскоп. А оттуда — дальше, дальше, в урало-алтайские параллели, в глубины ностратики, где русскому родственным оказывается не только санскрит, но и арабский, и татарский, и корейский, и даже, пожалуй, чукотский с его эргативным строем и гулкой фонетикой. А рядом, рядом — еще один такой же зыбучий колодец, и в нем обнаруживается сходство баскского, чеченского, китайского и загадочных енисейских островков — разве это не чудо?! И вдруг удастся нащупать подземный ход, найти и между ними регулярное сходство — и приблизиться к тому праязыку, на котором говорили меж собой первые вышедшие из Африки сапиенсы.

И есть ведь человек, который умеет это показать, даже если тебе в упор не видно — Анатолий Сергеевич Новицкий. Приходит в аудиторию немного потерянным, словно только что оторвали его от ужасно важного дела, и начинает с места в карьер:

— Ну что ж, рассмотрим консонантные кластеры в пракавказском...

То ли Денис был слишком к лингвистике глух, то ли и вправду выражался Новицкий туманно, но казалось, что пошел третьеклассником на физру, а попал на тренировку олимпийской сборной. Даже неловко как-то за свои хилые ручки-ножки на фоне этих бицепсов...

Но возникало — волшебство. Невыговариваемые гортанные фонемы выстраивались в свой какой-то хоровод, и вдруг находилось нечто общее не только между языками Северного Кавказа, но и у всех у них — с баскским, с енисейскими, даже с далеким и певучим китайским, который на первый взгляд ничего общего с ними не имел и иметь не мог. Дальше, глубже, в праисторию человечества, в те пещеры, где

впервые начали разделять имя и глагол, где прозвучала первая пропозиция... и неясные тени плясали на стене, и гудел шаманский бубен, и Новицкий выстраивал свои кластеры в ритуальной пляске, чтобы доброй была его охота. Ну, или так оно казалось.

И вот теперь Новицкого — не было на месте. Прошли академические 15 минут, можно было расходиться, но... не разошлись. И не потому, что очень хотелось заполучить его автограф (обязательности для Дениса в том не было никакой), а просто... ну прикольно было сидеть в этой пещере и ждать своего главного шамана! И болтать заодно о всяком... с Верой.

Да, с Верой — вот и она упорно ходила на этот курс, хоть и вне программы. А он всё как-то стеснялся прежде спросить — а теперь новогодний не выветрившийся хмель давал на всё разрешение.

— Слушай, Вер, давно хотел узнать... а как тебе вообще это всё? Вот ты здесь — а как же Библия?

— При чем тут она? — Вера глядела удивленно. Прямые русые волосы собраны в косу (платка больше не носит, отметил он), чуточка конопушек на носу — такая отличница-переросток, разве что очков для полноты картины не хватает. И фартука, школьного белого фартука, какие и в школах уже не носят! А все-таки... все-таки она красива. Очень красива, на самом деле.

— Ну как же, в Библии вавилонская башня: все языки возникли сразу в готовом виде. А тут — эволюция, страшное слово!

— Денька, ну что ты меня за дурочку держишь, — точеный носик сморщился, скорее от смеха, чем от обиды, — ну что я, бабушка какая, всё буквально понимать...

— Что ты имеешь против стариц церковных, отроковица? — взгремел он дурашливо.

— Ну, они очень славные, но они живут в этом мире, немного сказочном, где у святого Христофора песья голова. И всё понимают буквально, и Библию знают в пересказе, там еще сказок добавлена половина. Ну неужели я на них похожа?

Стараясь походить, — чуть не ответил Денис, но язычок-то прикусил. Юбка эта темная в пол, ботинки походные, кофта

безразмерная, цвета утраченных надежд. Что за униформа старой девы? Вас там заставляют, что ли, стареть раньше времени? Или... или тоже купить не сумела, не захотела выстаивать, доставать?

— А как ты себе это объясняешь? — спросил, сдержавшись.

— Что это?

— Ну, эволюцию языков? Как согласуется с рассказом о вавилонской башне?

— Очень просто, — рассмеялась она, — ну ты решил, наверное, что я и теорию эволюции живого мира отвергаю?

— Ну да... а как же? Шесть дней творения!

— Ну вот смотри, дурилка, вот отец Глеб есть, он профессор минералогии, доктор наук, а священник уже лет двадцать как. И еще отец Александр есть, он кандидат биологических, генетикой занимался, потом духовную семинарию закончил и вот только что его рукоположили. Как ты думаешь, они верят, что всё возникло сразу в готовом виде: и уголь, и нефть, и живые существа во всем их многообразии? Ну что ты из них дурачков-то делаешь?

— Они не дурачки, а я дурилка, да? — Денис решил притворно обидеться.

— Не сердись, — она положила ладонь... нет, даже не на его ладонь, а на предплечье, покрытое старым свитерком, но отчего-то прикосновение все равно обжигало, — не сердись, я так привыкла, что нас держат за обскурантов... ну вот ты послушал бы отца Александра, но не того, другого, он тоже биолог по образованию, кстати. Он прекрасно всё это толкует! Эволюция — инструмент в руках Творца. Еще один. Вот и с языками так.

— Ну а...

Он замешкался с ответом. Все выходило как-то богаче, необычней, сложнее, чем он себе представлял — и Вера, выходит, не такая уж серая мышка.

— А ты на лекции отца Александра Меня правда приходи, и к нам приходи, в храм на Васнецовом переулке. Там знаешь, молодой такой священник, отец Арсений Велемиров. Он наш филфак заканчивал, как он сам говорит, знаешь — «христианнейший факультет»! И вот у него же

всё это сочетается отлично, наука и практика. Ты приходи, ты же про Оригена пишешь? Так он чего может подсказать...

— Ну да, подсказать! Так он же для вас еретик, этот самый Ориген. И всё, даже «Начала» его до конца на русский не перевели. Я вот думаю пару главок взять для курсовой...

— Денька, ну какой же ты все-таки! Ну вот к нему приходят, знаешь, всякие, спрашивают там: что можно, читать, чего нельзя... он никогда не запрещает, если видит интерес!

— Ну спасибо. Еще бы мне он запретил курсовую писать.

— А ты приходи! Вот прямо к нам на Рождество, знаешь, как хорошо...

— А давай ты ко мне в гости? Я там недалеко? И вино, вот знаешь, из черноплодки, такое прям... ну тебе после Рождества можно же?

И она — заколебалась, не отвергла с порога!

— Ну, может быть...

Новицкий появился минут через сорок после назначенного срока, сонный, помятый. Ну не то, чтобы никто опоздания не ожидал, но чтобы так откровенно... И что им сейчас? Вспоминать отличия тохарского А от тохарского Б? Выстраивать параллели нахско-дагестанских с енисейскими? Или вообще даже с бурушаски?

Он уселся, протер чистым платком очки, провел рукой по залысине:

— Ну, давайте зачетки.

И всё! Сдали. Было даже немного обидно: как, а поговорить? Устроить еще один сеанс лингвистической магии? С бубном и кластерами?

А в храм тот... да, в тот храм на Васнецовом он зашел. Вера в него ездила со своего Юго-Запада, а Денису-то десять минут от дома, вот, прогуливался как-то, и как раз было Рождество... То была уже утренняя служба, народу — не протолкнуться, он встал позади, стараясь разобрать, что там поют. За гулом толпы не особо было слышно, служба уже явно шла к концу, все расслабились, обнимались, болтали потихоньку, отходя от чаши с причастием. Веры видно не было — наверное, на ночную сходила, еще прежде.

Рядом с Денисом стоял какой-то парень его лет с русыми кудрями, лицо казалось слегка знакомым, и еще один мужчина постарше, простоватый и хитроватый одновременно, словно никому не доверял — но всё хотел перепробовать.

— Что-то, я смотрю, — обратился он одновременно к Денису и к тому самому незнакомцу, — жидов в этом храме многовато. Вы ребята русские, простые... сами-то как думаете?

— Это совершенно неважно, — вскинулся тот, кудрявый, — апостол Павел писал, что во Христе несть ни элина, ни иудея.

— Да ла-аадно, — протянул простоватый, — чё я, не знаю, чё ль... Жид крещеный — как вор прощенный. Нет им веры.

И тут спереди, из самой людской густоты, и прямо к кудрявому парню подошла молодая красавица с ярко семитскими чертами, нос с горбинкой, глаза жгучие, волосы смоляные, прямые — а на руках маленькая копия ее самой, трехлеточка в аккуратном комбинезончике, в шапочке розовой, только что волосы мастью посветлее из-под нее выбивались.

— Папа, а я видела, какие у Бога ботинки! — радостно сообщила она кудрявому.

— Что ты, Анют, это не Бог, это только священник, — наставительно ответил молодой отец.

А тот хитрован, растворился в толпе, издав какой-то звук с присвистом, словно плюнул в Божьем храме от огорчения.

Вор прощенный, вор прощенный, — так и крутилось у Дениса в голове... Что-то очень знакомое, это о чем же? Так это ж — разбойник благоразумный. Вот только что ж читали где-то там впереди: «но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царствии Твоем».

— Чудны дела Твои, Господи, — только и осталось Денису сказать, когда вышел он наружу, широко, со смаком перекрестился на морозном воздухе, натянул на уши шапку поплотнее, — чудны дела Твои, и сколько ж вокруг них всего понаверчено! Как же Тебе самому, интересно, не надоест... Я б уже давно задолбался.

Сон о спорах

Ночь. Святки. Скоро сессия. На столе раскрыт учебник, ну хотя бы для вида, для стимуляции мозговой активности завтрашним утром, за окнами куранты пробили два, но сон не сразу идет. Уплывает потихонечку из сознания зимняя, стылая-постылая Москва — сколько же еще осталось этой зимы! В теплые бы сейчас края, в безвременье солнца и достатка — от сует и тревог нового, девяностого, скудного и спорного, ой какого спорного года...

Я — в светлом, просторном каком-то зале, на удобном резном сидении, рядом фонтан пытается хилыми брызгами перебороть дыхание пустыни, в бассейне плавают рыбки. Нет, не Библиотека, а чей-то внутренний дворик, просто наверху натянута полотнище, оно укрывает нас от египетского палящего солнца. Жарко. Где-то невдалеке щебечет птица неизвестной породы, да журчит в фонтане вода. В этом доме пахнет солнцем, покоем и деньгами. Большими деньгами.

У меня борода. Я уже совсем взрослый.

В руке у меня — изящный стеклянный сосуд, в нем — о чудеса! — холодный напиток, отдающий медом, молоком и чем-то невыразимо прекрасным.

— Пейте скорее, друзья, пока не нагрелось! — хозяин дома лучится здоровьем, лоснится жиром. Он едва ли старше меня, но насколько же солидней!

— Лед в твои погреба доставляют с севера? — с плохо скрываемым восторгом говорит третий участник беседы. Мне давно знаком этот орлиный профиль, эта львиная седая грива волос, этот хрипловатый голос — мы с ним зачатые друзья, он много старше меня по возрасту и положению, я полностью в его власти, а он... он никак не может без меня обойтись.

— Деметрий, ну ясное дело, из самой Ликий, его там зимой заготавливают в горах. Нынешние-то запасы уже на исходе. Дары Борея!

Деметрий, да, львиногривого зовут Деметрий. Вот оно что. Он — мой епископ.

Перед нами — столик с ароматными плодами, но кого ими удивишь в Египте? То ли дело — лед посреди нескончаемого палящего лета! Рядом с нами — чернокожий раб, в руках у него опахало, он создает приятный ветерок, подгоняя в нашу сторону фонтанные брызги и запах, запах тысяч и тысяч сестерциев.

— Хвала Творцу за его дары, — тут же подхватываю я, Деметрий недовольно косится, что я поправляю богача, — Ибо сказано: «из чьего чрева выходит лед и кто вынашивает небесный иней?» И паки, в другом месте у Иова сказано: «Божье дуновение рождает лед».

— Зачем нам в Александрии Библиотека, — хохочет богач, — если у нас есть Ориген! Он всё это знает наизусть.

— Далеко не всё, — возражаю я, — даже Писание помню не целиком, а что уж говорить о...

Две жирные мухи, брюшки в зеленых отливах, садятся не спелые смоквы. Их мог бы отогнать тот самый раб, но мухи ему безразличны. Он создает ветерок для хозяина. И капельки фонтанной росы достаются и нам. Мухи в этом доме свободней человека.

— В общем, другого такого башковитого пойдя поищи, — подводит итог богач. Его речь груба, выговор резок и неправилен. Он не учился в школе. Вольноотпущенник, разбогатевший на торговле, а то и на разбое — вот он кто.

— И не говори, — радостно соглашается Деметрий. Всегда бы так он меня хвалил! — знаешь, как Ориген победил тогда нечестивого гностика?

— И как же?

Приходится рассказать. Я не помню об этом ничего — но рассказывая, создаю эту память. Мои собеседники узнают о моем прошлом раньше меня, но это же сон, всё бывает во сне...

— Эти гностики, они... они подбрасывают разрозненные строки Писания, как жонглеры на рыночной площади — пестрые шары. Или вот даже, еще лучше — знаете ведь такую игру в три перевернутые плоскости, и нужно угадать, под какой спрятана монета?

— А то, — оживился богач, — помню, в молодости... Впрочем, неважно!

— И неискушенные даже не догадываются, что монеты нет ни под одной из них, она зажата у мошенника между пальцами. Им дают выиграть раз или два.

— Главное тут — не переборщить, — со знанием дела сказал богач, — а то как-то раз... впрочем, продолжай давай.

— Ну вот и они берут золото истины и скрывают его под черепками своих слов. Переставляют их местами, меняют одно на другое, ты не успеваешь уследить. Какие-то бесконечные Полноты и Премудрости, кто-то от кого-то отпал, к кому-то вернулся, и хочется понять, где же тут истина Христова — а нет ее.

— И ты его за руку, чо ль, схватил? — интересуется тот.

На лице чернокожего раба не дрогнет ни черточка. Интересно, понимает ли он вообще, о чем мы говорим? Так и хозяин дома не понимает. Раб, наверно, нубиец, обучился простым словам на греческом и египетском: «подай, принеси, ступай прочь». Остальное подскажет плеть. Несчастней ли он от этого, раб-нубиец? Глупее ли своего господина?

Но я продолжаю. Он хочет знать о победе над гностиком.

— Мы, хваление Творцу, живем в Александрии, где не принято доверять досужей болтовне. В нашей Библиотеке и в наших школах правит царица Филология. Как, к примеру, исследуют поэмы Гомера? Необходимо надежно установить текст, выбрав лучшую из всех рукописей в неиспорченном виде, затем прочесть его вслух, разобрать отдельные слова и их сочетания и лишь потом истолковать общий смысл каждой фразы, исходя из авторской цели и замысла. Нелепо было бы выискивать в «Илиаде» рецепты пирогов или в «Одиссее» — предсказания погоды! Азы, азы филологии, искусной любви к словам! Да, и трудные места из Гомера надлежит объяснять примерами из самого Гомера, а не из Платона или, к примеру, Алкея, сам строя языка у которых различен.

— И не говори, — кивает богач, — была у меня один раз ливиечка... девка что надо, огонь, но по-нашему ни гу-гу! Как и я по-ливийски. И

ничо.

— Но ведь ты, почтенный Дималх, оставил былые утехы юности, приняв святое крещение? — вступает епископ.

Как же мягко, как сладостно он стелет: «утехи юности». Нет бы сказать откровенно: «блуд и разврат»!

— А то, — крикает Дималх.

Вот каково его имя, «Двоецарь», на эллинском и иудейском наречиях сразу... Хорошо хоть не тройным, не Трималхом каким-нибудь назвался! Как же много имя говорит о его носителях.

Но гневаться мне не по возрасту и не к лицу, я продолжаю:

— И вот я разобрал, тезис за тезисом, всё, что городил тот нечестивец, и последовательно доказал, что его выводы никак не вытекают из Священного Писания, а нередко ему и прямо противоречат.

— Да, успех был полный, — Деметрий доволен, — тогда смеялась над гностиком вся школа. А уж как хлопали тебе!

— Жаль, что его не прогнала тогда Арета, — я смущенно перевожу разговор на другое, — сказала, что и таким он ей... не безразличен. Добрая, но не всегда рассудительная женщина.

— Так зато Оригену мозгов не занимать, — улыбается богач, — а вы не смущайтесь, допивайте, я велю подать свежего медового молока на льду, прохладно. То было миндальное, а вот попробуйте еще с фисташками!

— Благодарим, но воздержимся, — епископ сладкоречив, как никогда, — потому что пришли не тешить гортань вкусами, а обсудить... эээ...

— Вспомоществование, — слово явно дается богачу с трудом, — ну, короче, это. Деньги.

— Да, — епископ слегка смущен, — для нашего огласительного училища, которое...

— В котором блистает Ориген.

Я скромно молчу.

— Ну такому башковитому — как не помочь! Чтобы этих уел... которые гностики. И язычников, ясное дело. На публичных диспутах в

Библиотеке!

— Да-да, — вмешивается Деметрий, — споры с язычниками — важнейшая часть нашей миссии. Вместе с тем, нельзя не отметить, что под благодетельным правлением общего нашего повелителя Марка Аврелия Севера Александра мы уже забыли о гонениях и наслаждаемся полной свободой...

— Я не забыл о казни отца, — напоминаю я.

— Никто и не думал оставлять блаженную память наших свидетелей, и среди них блаженного Леонида, твоего отца по плоти, мой дорогой сын Ориген. Но я о другом. Миновали те времена, когда нас тащили на арену на растерзание зверям и на потеху публике...

— Надолго ли?

— Навсегда, угодно будет Богу.

— Угодное Богу, — не сдаюсь я, — изложено в словах Священного Писания. Не жаждал ли Павел разрешиться и быть со Христом, избавившись от сего смертного тела? Не краткий ли сон — наша земная жизнь?

Епископ бросает на меня взгляд, от которого загорелись бы дрова в печи.

— Ты согласишься со мной, Дималх? — я прибегаю к крайней мере.

— Круть, — кивает тот, — так прям ты проповедуешь, аж до печенок пробирает. За деньгами дело не станет. Пришлите ко мне, кого надо.

— И все, же Ориген, — епископ смягчается на глазах, — я бы ценил установившийся мир с язычниками и не торопился его разрушить неосторожным словом. Хочешь обличать нечестивые ереси — всегда есть гностики или вот, к примеру, иудеи.

— Иудеев тоже не стоит, — неожиданно вступается богач, — у меня с Исааком Киринейским есть, знаете, дела... И еще с этим, как его, который с Кипра, ну оптовые закупки, знаете же, наверное? Забыл...

— Иосиф, кажется. У них каждый второй или Исаак, или Иосиф. Так вот, Ориген: обличай-ка ты лучше гностиков, — соглашается епископ, — И самое главное: есть одно нечестивое учение, которому необходимо противостоять изо всех сил и при первой же возможности! Как ты знаешь, персидский лжепророк Зороастр посмел некогда утверждать,

будто добро и зло суть изначальные и равные друг другу силы, а их борьба извечна и не принесет победы ни той, ни другой стороне. Что это, как не уравнивание Бога и сатаны? Вот где нечестие!

— Ишь, чего удумали, — притворно удивляется богач, — поганцы эти персы, те еще уроды! Однажды рожу одному начистил, за то, что... впрочем, это ладно.

— И если, — вдохновенно продолжает мой епископ, — если эллинское или египетское многобожие можно назвать детской неразборчивостью, когда младенец целует свои игрушки, наделяя их разумом и душой, или пугается безличных сил природы, словно нянькиных наказаний, то персидская вера есть не что иное, как сознательное и зловредное поклонение сатане. До чего, впрочем, доходят и гностики.

— То есть эллинов и египтян оставить в покое? — уточняю я с притворным смирением.

— Оставь, — вмешивается богач, — так оно надежней будет.

— Погрязающих во тьме язычества наших братьев и сестер — не выводить к свету истины?

— Ориген, — в голосе епископа властность и гневность, — мы все осведомлены о той истории с эфиопами и ладаном, так что о местных идолах ты бы лучше помолчал.

Я молчу. Да, он знает, куда бить. Об этом немислимо вспоминать даже во сне. Ну как Денису — про ту историю, когда они заступали в караул, и почти... в общем, он сделал тогда чуть заметное движение плечом, словно хотел скинуть заряженный автомат — и от него сразу отстали. Надолго. Но не навсегда.

Да кто такой этот Дионисий, к чему он тут? Что за варварское слово «караул» и при чем тут автомат, забавная паровая игрушка, которая вращается со свистом? Я — Ориген. Я римский гражданин и мог бы поступить в легионеры, но не смешна ли сама мысль об этом?

А епископ мой не унимается:

— Повелеваю тебе обличать нечестие Зороастра!

— Слушаюсь, отец мой и господин, — я отвечаю почти со смирением, — и особенно рьяно берусь исполнять это приказание

сейчас, когда общий повелитель наш Марк Аврелий Север Александр выступил в парфянский поход, отражать и покорять персов-зороастрийцев, и надобно нам показать повелителю, да хранит его Господь, что мы верные его слуги и горячие молитвенники за его бессмертную душу. И самый простой путь сие сотворить — умолчать о близких нам эллинских и египетских идолах, обличая зарубежных персидских.

Пахнет солнцем, деньгами и особенно острым лицемерием. Журчит в фонтане вода, чуть слышно шелестит опахало, но смолкла неведомая птица. Допито миндально-медовое молоко, не доедены фрукты, и по всему видать, что не дожждаться мне от моего епископа ни милости, ни справедливости. Но деньги — деньги на огласительное училище мы получим. Урок будет продолжен. И раб, раб будет оевать богача опахалом, подавать ему прохладное миндальное молоко.

И — проснуться.

Февраль и площади

Ночная зимняя Нева безвидна и пуста, словно в книге Бытия. Дул пронизывающий ледяной ветер, до рассвета — мутного и стылого — была вечность, и дневного света, конечно, сегодня им не увидеть. Они брели по мосту, как паломники: впереди миражом Эрмитаж, позади — теплое, сонное общежитие Ленинградского универа с гулками сводами, с пустыми бутылками в уголке огромной эркерной комнаты, лицемерно разгороженной двумя шкапами примерно напололам: мальчики направо, девочки налево. В той группе, куда Денис вернулся из армии, их было почти поровну, а значит — никому не обидно в пьянках-гулянках, скоротечных романчиках, дружеском каникулярном сексе. Ну, а если обидно — тоже поровну.

А вообще-то ужасно интересно: каково это — быть девчонкой? Ощущать вот это вот всё, особенно когда...

Ну нечего об этом сейчас. Они серьезные, умные студенты. Приехали на музейную практику в город Эрмитаж. Нет, не Ленинград, а именно Эрмитаж, Ленинград — его пригороды, окрестности, предместья. Город там, внутри — город, населенный бесчисленными народами и племенами, но их квартал — античный. Зато его предполагалось вытвердить наизусть. Греки и римляне, римляне и греки, да еще всякие причерноморские скифы, эллинизированные, то есть огреченные и счастливо вошедшие в состав социалистического Отечества по территориальной своей принадлежности. А что, так и называлась первая часть учебника по истории, с которым он готовился к поступлению: «История СССР с древнейших времен до 1861 года».

И вот сегодня — последний день этой самой практики. И не только этой. Голова трещала, слегка подташнивало. Нет, не так уж и много было выпито, просто... всего подряд, и натошак. А может быть, подташнивало больше от другого. Алена — большая, уютная, веселая — шла немного впереди, наискосок, и вроде как никто не имел в виду, что она теперь — его девушка. Да и с какой бы то стати? Так, время провели.

Было даже не то чтобы гадко — неуютно всё это вспоминать. И глядя на контуры Зимнего в тумане, Денис уносился в другую, чужую реальность, где можно было переписать тот самый учебник... Вот же ведь как вышло: предместья прекрасного Эрмитажа стали колыбелью трех революций, а ведь и первой хватало за глаза. Вот бы перенестись в то предгрозовое время, в ранний семнадцатый, вот бы войти не в музей — в нервный центр империи накануне ее агонии. Его, наверное, как-нибудь пропустят, ну не будем сейчас думать, как — обязательно пропустят в тот кабинет, в этой фантазии он сам и перенесется в дымный, страшный, последний февраль:

— Ваше Величество, я знаю, это звучит невероятно, но я прибыл сюда из совсем другого февраля. Еще есть время, его немного, но Вы можете спасти свою страну и свою семью. Нужно только...

Ах да, он же был тогда не в Зимнем, а в ставке в Могилеве. Тоже мне стратег! Ну, значит, туда. В загробный этот Могилев, выбрали же название!

Тот, конечно, будет упрямиться, морщить свой породистый, германский, венценосный лоб, не станет его слушать. Чем его убедить? О, захватить с собой учебник по истории СССР, тот самый смешной, но только вторую его часть — от отмены крепостного права до новых первобытных времен, в которые ввергли страну коммунисты! Показать ему всё про Ипатьевский дом¹², про расстрелы, про Брестский мир. Хотя нет, про Ипатьевский сразу не надо, только напугает его... Захватить что-нибудь такое техническое из наших восьмидесятых, или уже даже девяностых, кто как считает. Какой-нибудь магнитофон или лучше полароид, сфотографировать моментально всю его семью, и чтобы карточка сразу вылезла. Интересно, где взять полароид?

— Ваше Величество, умоляю, от Вас зависит спасение России! Верните срочно гвардию в город, или любые верные части. Поставьте во главе гарнизона генералов Корнилова (он, кажется, уже бежал из германского плена?), Деникина, Юденича, адмирала Колчака, дайте им любые полномочия. Большевиков немедленно всех арестовать и строжайше изолировать. Меншевиков, впрочем, тоже. Наладить любой ценой

¹² Дом Ипатьева — здание в Екатеринбурге, где в июле 1918 г. была расстреляна царская семья.

снабжение города продовольствием. Начать, как это ни прискорбно, переговоры о перемирии...

Нет, на это он не пойдет, на перемирие. И вообще! Может быть, лучше не к нему, а сразу к генералам? Военный переворот? На трон — Алексея, регентом — Корнилова или Деникина... Нет, регента из гражданских, конечно. А то, как ни крути, сапоги всмятку. Кто у нас там был? Столыпин уже убит... Струве?

Поздно, поздно в февраль 1917-го. Поздно. И как все-таки задувает, надо было на троллейбус там сесть, через Неву переехать, хоть и московские студенческие здесь не действуют, ну да ладно, четыре копейки всего билет-то стоит, и чего они потащились на таком ветрище пешком... ну хоть похмелье выветрится, пока до Эрмитажа дойдут. А Алена даже не обернется. Какая у нее все-таки фигура точеная, как у статуй античных... И вообще, чего это Глеб сегодня их вызвал — за полчаса до открытия, к служебному входу? Ну что за блажь, не выспались, и в поезде наверняка опять бухать... если бабло осталось... а ведь не осталось!

Зимний приближался, выростал голубой громадой. Зимний дворец. Снежное, вьюжное царство. Метельная столица на промерзлых болотах. Страна вечных заморозков с редкими оттепелями, вот как сейчас... Вихревое время, краткий промежуток капли между морозами, и кружится он сам, Денис Аксентьев, медленно тающей снежинкой у недвижимых стен Эрмитажа...

Обратно, скорее обратно туда, в уютный мир своих фантазий, в империю пышных балов и жарких печек, в эпоху до всяких революций — а заодно и водочки бы, водочки стопочку! Государь бы точно налил. Ну не сам, конечно, а лакеи бы обязательно поднесли к завтраку, он, говорят, водочку очень даже жаловал.

И все-таки Зимний. В Могилев поздно. Перенестись бы в сонный и мирный какой-нибудь 1900-й год! Ваше Величество, сибирского мужика Распутина — поганой метлой! Спасибо, вторую не стоит, все-таки утро, а головная боль уже прошла. И вот еще: Владимира Ульянова, Иосифа Джугашвили, вот еще список из двадцати имен — в строжайшую изоляцию, лучше всего выслать за границу без права возвращения на Родину. Постепенно, умоляю Вас, вводите представительство на местах:

земство и вот это вот всё. Приучайте власть к тому, что приходится мириться с представителями народа, выслушивать их, даже когда несут чушь. Иначе, представьте себе, Россией будет править агроном со Ставрополя и съезд народных депутатов, это же вообще, Ваше Величество, это ж полный...!

Нет, он не послушает. Вот если бы можно было переселиться прямо в него самого, завладеть его сознанием... А ветер пробирает, вытертая курточка не держит тепла, как весь этот прогнивший строй не держит, или это с похмелья знобит, или простуда начинается — ой, некстати, хотя когда она кстати? Сейчас бы да, чайку горячего, да со стопочкой! А он бредет по набережной, на два шага позади роскошного зада Алены, и мечтает о том, чего не исправить. Вдоль голубой стены бывшего царского дворца на последний день зимней этой практики...

Глеб Иванович Орлов уже ждал их у служебного входа. Он преподавал им античное искусство, прежде всего греческое (так уж повелось, что в античности каждому нравилась или одна, или другая ее половинка и выбор делался, как правило в сторону Эллады, а не Рима — более ранней, более яркой, более светлой, что ли). Орлов читал не просто вдохновенно, а можно сказать, влюбленно. А влюбленный должен изучить предмет своей страсти досконально, узнавать его по родинке, по тени на асфальте! Ночь перед экзаменом, еще на первом курсе, не спал почти никто. Ну, по крайней мере, долго в кровати не спал. Ануш, самая юная в их группе, нежная закавказская девочка, подремала только утром полчаса в библиотеке, уткнувшись лбом в «Историю античной расписной керамики» — ей приснилось, что она статуя Геры Самосской, безголовый идол с одной-единственной рукой, безнадежно застывший в позе столба. Что ж, как шутили они, профессиональная болезнь филолога-классика — плоскопопие, особенно на первом курсе. Чего вот про Алёну никак не скажешь...

А завершался ответ обязательной угадкой. Это в самом конце, когда пролепетал ты свою околесицу про керамику чернофигурную и краснофигурную, про характерные черты разных ордеров и восточное влияние в архаический период, ну кто же этого всего с детского сада не вызубрил назубок! И вот тут в одном из бесчисленных своих альбомов закрывал Глеб Иванович листком бумаги бóльшую часть фотографии и

отдельно, пальцем, подпись — и спрашивал, что за скульптура. На тройку достаточно было угадать хотя бы век. На четыре — уже определить скульптуру. Но кто претендовал на немислимую пятерку, должен был доложить, где статуя находится: в Лувре, Британском музее, или в каком-нибудь Лейдене, Мюнхене, Нью-Йорке...

Он им говорил, он честно всегда это объяснял на лекциях:

— Когда окажетесь в Лувре, всего не успеете, так вот, запомните: в галерее с античной керамикой в третьем шкафу с левой стороны, на второй сверху полке, в самом центре... вот ее-то не упустите!

В ответ — кривились ухмылками, а на перемене так просто ржали: ага, в следующий раз будем проездом в Париже, обязательно заглянем! Ну, и в Лондоне, и в Мюнхене... пивка попить заедем, так заодно и в музей!

А пока что Глеб Иванович — невысокий, очкастый, улыбчивый, робкий и настойчивый одновременно — проводил их не в меру шумную группу мимо сладко зевающего охранника, куда-то вглубь, в темноту, где еще не включили свет, ведь до открытия музея полчаса. Сам щелкал выключателями, уверенно находя их в потемках, а на входе в очередной зал пощелкал чем-то дополнительно — неужто сигнализацию отключал?

— Заходите, — сказал он заговорщицки, — тут пальмирские скульптурные портреты!

Ребята ввалились, огляделись недоуменно... Ну да. Каменные головы, величественные, прекрасные. Портретное сходство, наверное, есть, с теми людьми, на чьих могилах их ставили. Но не просто портреты — словно взял скульптор от каждого всё самое прекрасное, всё то, что хотелось перенести в вечность. И — перенес!

— Я постою в дверях, — продолжил Глеб тем же особым шпионским тоном, — а вы их потрогайте! Наощупь! Это обязательно!

Денис неуверенно подошел к голове мужчины — прекрасного, юного и зрелого одновременно. Идеальный лик, как на иконе, и все же — узнаваемый, личный, неповторимый.

— Да пощупайте же! Ладонями проведите! Трогайте! Можно, я слежу.

И ладонь — а потом и другая, и третья — протянулись к камню. Это

был не мрамор, а плотный известняк, но... это был вообще не совсем камень. Теплый, живой, почти влажный, он казался человеческой плотью, задержавшейся на пороге вечности. Биение жилок прекратилось, пот и слезы высохли и иссякли, страстное стало недвижимым, неизменным — не умерло, а дыхание задержало.

Они ходили по залу, прикасаясь к кликам, и чужая, неведомая жизнь вливалась в ладони. Теперь вы, — говорили им эти люди, — теперь вы обитаете здесь. Сберегите Пальмиру. Населите пустыню. Расскажите о нас. Мы вам приснимся.

А Глеб Иванович напоминал про иконопись, которая вся, вся вышла отсюда, про то, что античность ищет гармонии между духом и плотью, а Средневековье возвышает дух, но унижает плоть — только все это было неважно. А важно было: щупайте, щупайте! Трогайте, потому что живое и неживое, умершее и воскресшее — они рядом, и все правила пользования музеем ничего не значат в миг этой встречи.

Потом был обычный музейный день, статуи, и всё остальное. И в одном из полукруглых залов, уже с посетителями, вполне прилично, без пальчиков, Глеб Иванович, прищурившись, задал свой очередной квест:

— В этом зале, — сказал он, — сплошной эллинизм. Но есть одна работа классического периода. Найдите ее!

И пока все оглядывали мальчика с гусем (эллинистичней некуда) и неприличного гермафродита (вот где бы он жил в их комнате, на правой половине или на левой?), бойкая, сообразительная Тася протянула руку к Попе. Почти ее коснулась.

Попа была женской и очень красивой (да, как у Алены). И совсем одинокой: ничего выше и ниже не сохранилось, и даже напротив всё как-то неубедительно покоровилось. Но Попа — была, цвела, существовала!

— Bravo! А как вы догадались? — снова прищурился Глеб Иванович.

— Ну как же! — подыграла Таська, — Вы только поглядите на эти линии, на эту экспрессию! Эллинизм глубоко вторичен, а здесь мы видим столько свежести и новизны!

Стояли, тарасились. Видели только попу — юную, нежную и прекрасную. Но ответ был верным! Хитрая Таська, вот лиса, просто

разучила Глебов словарь, разыграла его восторг. И да: классики сохранилось так мало, чего меньше всего — то и классика. Так и есть!

А после музея — вынырнули в эту вечернюю петербургскую хмарь, «где к зловещему дегтю подмешан желток» — эх, яишенки бы сейчас горяченькой! Из трех яиц, можно даже из четырех, с колбаской или сосисочками поструганными... Где ж возьмешь, за какие деньги? И неужели на часах всего только четыре? А дело уже к ночи.

Так что из всех достопримечательностей была у них разве что булочная с сочным питерским Ч (куда ей до уютной московской булочной!), с обманными «булками», которые на деле оказались обычными батонами, да с молоком из соседнего молочного — тоже очень даже. И оставалось разве что гулять, гулять до посинения, в буквальном смысле слова, гулять по питерским стильным проспектам... потому что в общагу уже не пустят. Выписались еще утром. Питерские зимние вечера — они не для прогулок, если в кармане лишь чуток мелочи, да и к карману тому прилагается школьная лыжная курточка или пальто того фасона, в каком прадедушка Зимний брал. Зачем брал, спрашивается? Ну взял, поиграл — положь всё взад... Ну в общем-то до общаги и догуляли, обратно через ту же Неву — вещи оттуда забрать, их утром разрешили оставить на вахте, и сразу в метро, на Московский вокзал. Часа за три до отправления — а куда ж еще-то деваться?

Сидели в зале ожидания. Пива в продаже не было, да и денег на него тоже. Вот еще пару батончиков на вечер сберегли, это да, и один плавленый сырок «Дружба» для запаха. А попить в туалете из-под крана можно. Зато потом, в плацкартном вагоне, покачиваясь в мутной снежной пустоте, на последние двугривенные — горячего чая от проводницы, да с сахаром, сахарком... его же Таська с собой припасла. Кусочков двадцать — на всех хватит. Вот умница! Ей мама с Кубани присылает, она всегда делится, и салом, и колбасой. Обычно москвичи брать у нее стеснялись, но здесь, в городе на Неве, колыбели трех революций — все они приезжие.

Из кооперативного киоска долетал то сладковатый Антонов, то надрывный Высоцкий, то что-то попсово-зарубежное, приторно-итальянское, маршевое немецкое. Взяли б из Москвы гитару — может, теперь и сами спели бы. Машка очень здорово поет, и Андрюха неплохо.

А так — трепались про сессию, про преподав, про то, что в стране творится...

Он же чуть не забыл: ведь завтра митинг! Против монополии КПСС, за демократизацию... да нет, за демократию. Потому что демократия от демократизации отличается, как канал от канализации.

А с соседнего ряда скамеек шипела какая-то тетка, явно про них: горлопаны, бездельники, так всю страну продадите, все завоевания, мы-то в ваши годы, а вы-то пороха не нюхали, а туда же...

— Слышь, мать, — оборвал ее молчаливый парень, — ну я нюхал. Вопросы есть? Правильно всё говорят ребята. Пора этих сук за яйца... Слышь, сестренка, где, говоришь, собираются завтра?

— Возле ЦДХ на Крымском, в двенадцать! — радостно выдохнула Танька.

— Я приду. Пацанов позову. За порядком проследим, если чё. А ЦДХ — эт чё?

— Ну вы к Парку культуры приходите, и там через реку по мосту — ну, увидите, там будут все наши...

— Ага, — кивнул серьезно парень, — приду.

И Денька вдруг почувствовал себя таким... маленьким, что ли, рядом с этим парнем старше всего-то лет на пять — но воевавшим. И неловко было даже спрашивать, где. В общем, и так понятно, выбор небольшой.

— Молодой человек...

Вкрадчивый почти неслышный голос прозвучал за спиной, пришлось обернуться — немолодой интеллигентный человек поправил очки:

— ...вы, конечно, не спрашивали моего совета. Но я вам скажу: ехать надо.

— Простите?

— Был у меня в Бобруйске дядя Изя. И знаете, в сорок первом... он говорил: «я же помню за восемнадцатый, немцы-таки культурные люди, не то, что эти...»

— Причем тут...

— Не повторяйте его ошибок, молодой человек. Не повторяйте моих ошибок, я оставался, пока живы были родители, а мог бы сразу... Уезжайте. Это всё добром не кончится. Я вот еду — документы оформлять.

Денька мягко улыбнулся в ответ:

— Вы, наверное, думаете, что я...

— ...тоже еврей, — кивнул тот утвердительно, — но это даже неважно, это не страшно, если нет, всегда найдется еврейская девочка, чтобы замуж.

Денька сглотнул... Надины локоны, Верин сморщенный носик, ну вот даже, хотя это как-то стыдно было — Аленина славянская краса... Ну при чем, при чем тут это? Любить — это же чтобы любить, а не для путешествий.

— Вам спасибо большое за заботу, — ответил он, — но здесь очень интересно жить. И будет еще интересней.

— Как знаете, как знаете, молодой человек...

И так хорошо было выйти на промозглый, ветреный перрон, нырнуть веселой толпой в зеленую пасть вагона, с гамом, прибаутками — чтобы проводница не сосчитала по головам, не догадалась, что голов так у них на одну больше, чем билетов! Ну так получилось. А там свободная койка всегда найдется — или по очереди в тамбуре перетоптаться, пока проводники сами не улягутся. А потом можно забраться и на третью, багажную — в армию их везли вообще по десять человек в плацкартном купе, на каждой багажной по одному, и кто-то еще в проходе пристроился. Доедем, ничего!

В Москве было тепло и сыро, оттепель такая оттепель. И в политике, и в погоде. Оставалось время заскочить домой, позавтракать и чуть-чуть подремать — в поездах Денис спал всегда плохо.

На лестнице попалась навстречу Любка, миловидная школьница из квартиры этажом ниже... а может, уже и не школьница, неважно. Все равно мелкота пузатая, так Денис привык на нее смотреть. Он и имя-то ее настоящее узнал недавно, во дворе ее Сенькой кликали, так это по фамилии, оказалось — Любка Сенькина.

— Привет, — растерянно брякнула она, словно не соседа увидела, а

кого-то совсем неожиданного.

— Здорово! На митинг с нами идешь? На демонстрацию, на шествие за демократию?

— Я...

Кажется, она даже не знала ничего.

— Ты что, Люб, сегодня все, кто хочет лучшего будущего — они собираются там, на Крымском, и идут сюда к нам, на Манежку. Можем сразу сюда и пойти. Хочешь.

Она глядела растерянно и как будто испуганно:

— Я... боюсь площадей.

— Ты что, там же все свои!

— Все своими не бывают, — покачала она головой, и Денис впервые заметил, что она, пожалуй, тоже красива. По-своему. Милотой крестьянской девочки с полотен Венецианова или Аргунова... Сморщенный и чуточку конопатый носик, светло-русые прямые пряди, чуть полноватые губы, теплые каштановые глаза.

— На площадях... там все друг другу чужие. Это только кажется, что вместе.

— Ты что, — он ей терпеливо объяснял, как маленькой, — это же за наше общее будущее!

— Мамин отдел в КБ расформируют, — она говорила тихо, но и одновременно яростно, — говорят, конверсия, клепайте кастрюли, ваша электроника никому не нужна. А они же... А бабушка из Дзержинска пишет — там вообще уже есть нечего. В магазинах нет ничего. Производство всё встает, поставок нет, план летит к чертям, зарплату задерживать начинают. А и то, рубли эти — что на них купишь? Карточки уже вводят, как в войну...

— Ну ладно, я пошел, — холодно бросил Денис.

Девочка — из Дзержинска Горьковской области. Он прежде и не знал. Все понятно. Даже... даже идет ей такое происхождение. Что она понимает, юная дзержинка! И, не оборачиваясь, поднялся, влетел в квартиру — а там запах, дивный какой запах! Мама жарила котлеты.

— Это на обед! — мама спиной уловила голодный взгляд, — как

съездил, как добрался?

— Все хорошо...

— Позавтракать — геркулес тебе сварю. С вареньем можно, позапрошлогоднее я открыла абрикосовое, только чуточку засахарилось, а так почти что свежее. И еще сыра немного есть, бутерброд сам сделай. А котлеты на обед! На всю неделю, учти.

С сыром — ровно то, что было нужно! Да еще было полбанки растворимого индийского кофе, а если овсяночки с вареньицем на десерт — так и вовсе роскошь после общажного аскетизма. В желудке разлились тяжесть и теплота, старенький диванчик ждал на прежнем месте, и... В общем, когда он проснулся, идти к месту сбора было уже поздно — успеть бы на сам митинг на Манежке.

От их переулка дотуда — минут десять ходу. Но Денька опасался, что не пустят. В недавнюю эпоху «гонок на катафалках», когда один престарелый генсек сменял другого на годик-полтора, чтобы самому к безмерной скорби всего прогрессивного человечества упокоиться под кремлевской стеной, прощалось человечество с финалистами гонок как раз в Колонном зале на Пушкинской, совсем рядом с их Салтыковским. Траурная очередь тянулась по Пушкинской, всё было оцеплено милицией, наглухо законопачено, даже можно было не ходить в школу. Собственно, дойти до нее было нереально: в оцеплении стояли простые ребята из Рязани и Саратова, в головах у них было только «пуцать не велено», разве что по паспорту с пропиской к месту постоянного проживания, а паспортов у школьников не было. Так что — спасибо партии родной за наш трехдневный выходной!

А тут — целый митинг! Да ведь точно всё перекроют, никуда не пустят... Но нет. Милиции было совсем мало, никаких этих барьеров, живых цепочек, ничего не спрашивали, оглядывали невнимательно. Кажется, для самих ментов всё выглядело как нашествие марсиан: как это, митинг в центре столицы?! Не на первое мая, не на седьмое ноября... и без красных знамен, и даже с флагами какими-то разноцветными, то ли власовскими, то ли бандеровскими, то ли еще непонятно какой национальности, и начальство, начальство — не против? Не запретило? Не велело разгонять? Ну ладно... мы постоим, нам-то что!

А по Горького — впрочем, какая там Горького, Тверская, долой пролетарского гуманиста, автора людоедского очерка про Соловки! По Тверской шел и шел народ, своими какими-то группами и ручейками вливался в шумное манежное море. На тротуарах стояли и глазели бабушки, вечные российские бабушки, терпеливые, запуганные, робкие: как, уже и это можно? И домохозяйки помладше, и Любка эта бестолковая из краснознаменного Дзержинска тоже небось где-то здесь стоит, губки пухленькие скривила, оборонное КБ ей, милитаристке малолетней, жалко распускать...

Но где, где здесь найти своих? И Денька просто влился в этот ручеек, а на Манежной... На Манежной было людское море, от края и до края. Лица, лица — незнакомые, а ведь все-таки родные. Те, которые с детства — рядом. На семейном празднике, в районной библиотеке, в повестях Стругацких и рассказах Шукшина, в комедиях Рязанова и Гайдая, даже на плакатах — они, они, люди, которые живут не для брюха, не для... ну в общем, как с Аленой в общежитии. Строители коммунизма, говорили о них с трибун. А они — просто люди. Они жили для высокой цели, вот и все. Разве мало?

— Де-енька! — родной такой вопль выхватил его из толпы, заставил завертеться, оглянуться. Надя, Надюша!

— Я тут! — почти вежливо расталкивая толпу, бросился к ней, чмокнул сходу в щечку и тут же устыдился этого мещанского жеста, да и муж-то, наверное, рядом? Как посмотрит?

— Знакомься, — радостно выдохнула она, — Паша, Нино, Витя, Артур... наша маленькая дружина! А Серега мой дома остался, простыл он чего-то, да и за Наткой заодно присмотрит. Ну и вообще...

Она будто слегка стыдилась своего аполитичного мужа. Но стало чуточку легче — некому права на Надю предъявлять.

А со сцены — вещали, требовали, призывали. Народные депутаты, политики, трибуны — да откуда же столько их взялось? Ходили десятилетиями на унылые партсобрания, поддерживали, одобряли, вступали, куда скажут — и что? Хлопали в ту пору глухую усталым ораторам, вестникам бессмысленной пустоты — хлопали, но берегли ладони, и Солженицына передавали друг другу в метро, завернутого в

позавчерашнюю «Правду». Да и то, как в анекдоте, у газетного киоска: «Правды» нет, «Россию» продали, остался «Труд» за три копейки.

И откуда что взялось? Как казенная серость обернулась этим разноцветьем, как вытравленное из сердец и умов — воспарило, взлетело, разыгралось? И — ни одного кулака, ни одного камня в милицию, в витрину... не Париж шестьдесят восьмого, не Алабама шестьдесят третьего — мирная, интеллигентная, демократическая Москва девяностого года! Мы победим.

Там, на сцене у гостиницы «Москва», требовали дотошного следствия и справедливой кары для партийной мафии, чтобы «Узбекское дело» Гдляна и Иванова¹³ превратить в «Кремлевское» — и вверх взмывали кулаки. Венсеремос, мы победим! Прежде так можно было только про какого-нибудь Пиночета, а тут — у самых стен Кремля и про самих кремлевских.

— К от-ве-ту! К от-ве-ту! — редела толпа.

И кто-то рядом подхватил в такт:

— Кот-ле-ту! Кот-ле-ту!

А ведь и правда — аппетит на воздухе снова ой как разгулялся! Котлетки бы сейчас горяченькой, из тех, что мама утром жарила...

— Кот-ле-ту! — подхватил Денис радостно... и словил недоуменный взгляд Нади. Всё так серьезно, а он!

— Шутка же, — оправдался неуклюже, но она не ответила.

Митинг подходил к концу, резолюции приняли, друг другом насладились, но расходиться совсем не хотелось.

— А знаете что... — неожиданно выдал он, — насчет котлет... у нас, кажется, парочка есть! Давайте ко мне? Я тут в двух шагах живу. Дома только мама.

— Ну, неудобно, — засомневалась Нино, грузинская красавица одних с Денькой лет.

— Меня мои ждут, — поддержала ее Надя.

— Мы ж с пустыми руками, — согласился изящный Артур.

¹³ Самое громкое уголовное дело времен Перестройки: группа под руководством Т. Гдляна и Н. Иванова расследовали злоупотребления высшего партийного руководства Узбекской ССР.

— Да ладно, — стал спешно уговаривать Денис, — если что, тут рядом «самохват», гастроном на Горького, там, печенек если каких к чаю... поболтаем еще! Мне же интересно про этот ваш... ну про партию.

— У нас движение, — строго ответила Надя, — это шире, чем партия. А ты приходи на собрание! Мы принимаем людей с любыми демократическими взглядами.

— Любыми, — подчеркнул Артур, — но только демократическими.

Как Денис их уломал — и сам потом не мог понять. Только Нино с ними не пошла, сослалась на что-то неотложное, а на самом деле, видно, не позволял ей кавказский этикет свалиться на голову первому встречному, опустошать его продовольственные запасы. Да и что тут говорить, мама была совсем не рада. Котлеты... они же на целую неделю были нажарены! Спасти удалось не больше половины. Им досталось по полторы каждому. Со свежим хлебушком из булочной на Камергерском (хоть он пока без очередей, да надолго ли?), с печеньками тошнотворными из гастронома, больше там все равно нечего было брать, ни сыра, ни колбасы не случилось... да под коньячок армянский три звездочки — у Витька, оказывается, с собой была бутылочка небольшая, четвертинка. Так, понюхать разве что к чаю.

Но как бы ни было мало котлет и коньяка, каким бы третьесортным ни был отечественный чай — было, о чем поговорить.

— Все беды России, — Артур говорил уверенно, размеренно, бесспорно, — происходят ровно от того, что она выбрала не ту версию христианства. Сравните с Польшей или Прибалтикой... Там демократия — она в плоти и крови людей. И это просто потому, что они выбрали Рим, а не эту нашу византийщину.

— Византия, — Денис не мог не вспылить, — и есть прямое и непосредственное продолжение Рима — после того, как Рим пал под ударами варваров!

— ...худшего, что было в нем, — не смущаясь, продолжил Артур, — вся вот эта казарма, полицейщина, интриганство, рабство...

— И в Прибалтике нацисты свои были, — лениво отозвался Витя.

— Рабство у нас скорее от Золотой Орды, — Надя тряхнула волосами, они рассыпались по ее серому свитерку, и у Дениса

перехватило дыхание, — ведь не случайно территория СССР, кроме разве что той самой Балтии да западной Украины, в общих чертах повторяет ее контуры. До Орды Русь была частью Европы, а после Орды — стала именно ее продолжением. Всевластие хана, презрение к закону...

— И все же мы Запад! — горячился Артур. Его крупные руки сжимали дурацкую семейную чашку «привет из Трускавца» так крепко, словно хотели раздавить. Или вдавить этот самый вольный город Трускавец¹⁴ и в сердца и умы треклятых ордынских московитов...

— А что ж на Востоке вам не нравится? — доброжелательно отозвался Витек, с почти равнодушной усмешкой, — Восток — дело тонкое...

— Ну да, йога твоя, мы знаем, — улыбнулась Надя.

— Да дело не в йоге, — отвечал тот, — хоть и в ней тоже. Восток... ну, он не избирателен. Он центробежен. Вот вы всё время: католицизм там, или православие. Иудеи или мусульмане. Если правы те, то эти неправы. А на Востоке...

— Ходжа Насреддин на суде: ты прав и ты прав. И ты, жена, говоришь, что так нельзя — и ты права! — с усмешкой напомнил Артур старый анекдот.

— Именно так, — кивнул Витек, — все правы. По-своему. Вы, авраамиты...

— Кто?

— Последователи авраамических религий и их наследники вроде марксистов.

Артур фыркнул, Надя улыбнулась.

— Вы мыслите бинарными оппозициями, — невозмутимо продолжил Витек, — а Восток их деконструирует. Точнее, просто избегает. Вам важно: прав Горбачев или Ельцин? Или вдруг даже — Лигачев!

— Не дай Боже! — вырвалось у Артура.

— А для меня все они правы. Каждый живет в гармонии со своим мировоззрением. Мы же не обязаны соглашаться с Лигачевым? Да и с

¹⁴ Трускавец — курорт во Львовской области Украины.

Ельциным...

Артур фыркнул.

— Вы спросите, почему я участвую в этом. А мне по приколу! Прогуляться оттепельным днем по улицам, пообщаться с интересными людьми... какая может быть программа на выходные лучше и интереснее? Разве что углубленная медитация. Так это вечером, после...

— После коньячка? — уточнил Денис.

— Способствует, — кивнул тот, — в моем случае. Но только в небольших дозах. Совершенным этого не нужно...

— Совершенным у вас, я слышал, и есть-пить не нужно, — настаивал Артур, не сдавался.

— Вот перестройка и ведет нас к просветлению, — усмехнулся Витек, — но главное — гармония. Если тебе нужно для нее выпить — так выпей, в чем вопрос.

— Ты всерьез считаешь, что буддизм — истинная религия? — у Дениса это вырвалось как бы само.

— Сколько предубеждений в одном вопросе, — покачал головой Витек, — ты не вопрошаешь, ты утверждаешь, что я буддист, что буддизм — религия, что религии бывают истинными и не...

— А разве не так?

— А ты прислушайся к себе. К тому, что в твоём теле. В твоём сознании. В твоём... ну, неважно, это на следующей ступени. Ты голоден или сыт? Ты влюблен или так, перепихнуться просто?

Денис покраснел:

— А на вопрос мой ответишь?

— Истинный мудрец, — улыбнулся Витя, — не отвечает на вопросы. Он заставляет тебя задуматься: нужен ли, важен ли тебе этот вопрос? И когда ты понял, что уже нет — вопрос снят. Без ответа.

— И все-таки?

— Истинная ли религия буддизм? Да фиг его знает. Он вообще не религия. А насчет истинности... Вот скажи: демократ ли Горбачев? Игра словами, софистика. Смотря, что ты назовешь истиной, или демократией, или еще каким птичьим чириканьем.

— Язычник, неисправимый язычник! — привычно усмехался Артур.

— Кто как обзывается, — с той же доброжелательностью отозвался Витек, — тот так и портит себе карму. Самостоятельно и добровольно. Это у вас: грех там, покаяние...

— А у вас: дхарма. Закон воздаяния.

— Ну да, — кивнул тот, — звезданешь молотком по пальцу — будет бо-бо. Такое оно, мироздание. А ты ищи гармонии, и не будет бо-бо. Только другим свою гармонию — не навязывай.

— А котлеты? — Денис не сдавался, — котлеты жрать можно? Они ж мясные? За них пострадали живые существа!

— Разные есть школы, — уклончиво ответил Витек, — бывает, кто и не ест. А кто, как я: сам не убивает и не велит убивать. Ну типа я пришел к тебе, а тут у тебя куренок бегаёт, ты предлагаешь супчику куриного с лапшичкой, вот прям из куренка из этого. А я такой: не причиняй живому страданий. А если я пришел, а тут уже котлеты на столе — хрена ль выёживаться? Кушай и благодари. На здоровье. Вку-усно было! И хозяйке в карму плюс.

Хозяйка, по счастью, их не слышала.

— Ой, ладно, мальчики, — Надя засобиралась, — там мои меня заждались. День, можно от тебя позвоню?

— Конечно, — ответил он грустно. Вот и всё. Так и не поговорили, хоть болтали без умолку.

Надя в просторной прихожей, где и стоял телефон, замурчала, зажурчала, почти что оправдываясь перед мужем за отсутствие, и было нестерпимо, что это она — не ему.

— А все-таки знаете... — Денис как будто слегка захмелел, хоть и всего ничего было коньяку, — Запад, Восток... не наше это как-то всё. Нет, я не против. Просто... ну русский я.

— Русский — значит, православный? — издевательски переспросил Артур.

— А и хотя бы, — Денис принял вызов.

— Был бы шведом — был бы лютеранином? А в Иране — шиитом?

— Ну.

— Человек сам выбирает свое счастье, — решительно отозвался Артур.

Только это была неправда. Надя стояла в дверном проеме, и Надя была — не его.

— Ну всё, пошли?

Она командовала своей маленькой ячейкой. Мягко, просто, легко — но безоговорочно руководила этими идейными и такими на самом деле... слабыми мужчинами. И Денис понимал, что не готов стать одним из них просто потому, что... что она не будет его. Она замужем и останется замужем. И значит, никогда, никогда...

— А Россия будет свободной, — улыбаясь широко и безмятежно, говорила она, — смотрите, ребят, мы же собрали сегодня пол-Москвы. Все пришли. Разные, хорошие люди. Им больше не нужны эти Лигачевы-Горбачевы, да и мы им нужны только сейчас, только пока они привыкают к свободе. Но привыкнут быстро. Они стосковались, как по невесте. Они забудут про нас: как мы сутками на телефоне висели, как листовки эти печатали, как таскали их сумками, как спали по три часа. А мы... или дети наши, вот та же Натка моя — они будут гражданами свободной России. Обязательно. Без вариантов.

— Твоими бы устами... — ворчал Артур.

— Оммманипадмехуммм! — прогудел Витек даже как бы в шутку.

— Аминь, — отозвался Денис.

— Денька, завтра всё у тебя по расписанию, да?

Он кивнул. Это уже про собственные уроки...

Чмок в щечку, еще один, и чуть-чуть более тесное объятие, и два крепких рукопожатия с мужчинами. Разговор с грустной мамой на кухне — как ей все-таки жаль этих котлет! И немножко телеви...

Впрочем, нет. Его ждет Ориген. Курсовая работа — он же еще, по сути, и не приступил к переводу... Только серые, слегка помятые ксероксы в картонной папке с тесемками, сокровище от Степанцова, уныло лежали на столе, прочитанные едва наполовину. «О началах» — труд его, так и не переведенный на русский до конца, потому что... ну неправославно там местами выходит, неправильно, некошерно. Не так, как в учебниках Закона Божьего для умственно отсталых учеников

подготовительного класса церковно-приходского училища.

Ну и что? И мы этого — боимся, вот уже семнадцать веков? Он взялся первым за эту задачу: собрать, разложить по полочкам, обосновать и изложить всё самое главное в христианском богословии. Все эти учебники и катехизисы — это уже после него, по его следам, местами и с поправками, да. А мы основателя — боимся? Ну прямо как коммунисты Ленина опасаются, если брать его целиком. Там ой как много чего такого, Денис в ленинском зале их университетской библиотеки прикольные находил цитаты, раскрывая наугад ранние ленинские тома. Так те хоть издали его без купюр! А Оригена — нет. До сих пор нет. Надо исправить!

Ориген. Что рассказал бы он ему про прошедший день? Почему он вообще так навязчиво приходит во снах? К чему ему — Ориген? Кто он ему?

Ориген бы точно не похвалил. Целеустремленный, ученый, добродетельный муж. Да и за что тут хвалить? Любит Денис одну, замужнюю. Спит с другой. В Эрмитаже и то: женская попа — вот и всё, что запомнил. Голая жопа пятого века до нашей эры. Стоило ехать за этим в Питер?

Жрать булки-батоны, пока из ушей не полезет, пить коньяк по чуть-чуть, но лишь потому, что больше не налили, кричать кричалки, целовать в щечки чужую и трахать ту, что не хочешь видеть своей — и Ориген? «О началах»? Серьезно? Переводить это сокровище — вот такими руками?

Лег он в начале второго. Ориген так и остался девственно нетронутым, разве серые ксероксы из картонной папки переложились в прочитанную стопку, десятка три листочков... Зато в блокноте, в том самом потертом и замызганном блокноте появились две странички с исправлениями, зачеркиваниями, пометками.

*Это кончится тоже когда-то.
перейдя эту грань вовне,
мы окажемся виноваты
перед зеркалом на стене.
Перелистывая страницы,*

*где писалось то вкривь, то вкось,
мы сумеем лишь удивиться,
как немного нам удалось.
И с начальным наброском сличая
полувзлет, полувзмах, полувскрик
нашей жизни — недочитаем
свой испорченный черновик.
Эту терпкую боль земную
берегу, как остаток сил.
Если вкривь — значит, я существую,
я живу, если я любил.
Я узнал, каково — не сбываться,
я себя в себе узнавал,
я по каплям цедил лекарство —
заурядности радостный дар.*

Я хочу быть хорошим, Господи. Я хочу, чтобы у жизни был высокий смысл. Приснись мне сегодня, Ориген. Побудь в эту ночь — мной.

Сон о расставании

Вода, бескрайняя соленая вода за деревянной оградой бортов. Борты оберегают наши жизни от разверстой и жаждущей бездны — как церковь наши души от волнений житейского моря. Кормчий — Христос, гребцы — епископы и пресвитеры. И диаконы, да.

Хлопает парус — это меняется ветер. Кричат чайки, противно, надсадно — мы приближаемся к чужой и неведомой мне земле. К Святой Земле.

А я... я даже не диакон. После стольких лет служения! Мне через три года, в конце концов, исполнится пятьдесят! Прожито уже полжизни, даже более, а чего я добился? Кто я на этом корабле? Досужий путник, которого отправили — ну это просто смешно! — отправили в Афины закупиться книгами для Библиотеки. Грамотный раб-секретарь справился бы с этой задачей. А отправили меня. Изгнали. Выпинали. Обрубили.

Бью кулаком по деревянному борту, прочному, спасительному, надежному. Плюю в набежавшую бирюзу, она глотает плевков, откатывается, набегаёт снова. Чайка с мерзким воплем ныряет вслед моему плевку. Разбойницы, портовые чайки, привыкли сопровождать корабли в надежде поживиться объедками. Но плевков растворяется в бескрайней соли, в великой влаге, в виноцветном, как говорил Гомер, море, и чайке нечем поживиться. А мне становится стыдно за приступ мимолетного гнева.

— Ориген!

Мой спутник окликает меня. Он помладше, попроще, он — мой помощник. Мой соглядатай. Приставленные ко мне глаза епископа Деметрия, его уши, его, если потребуются, руки. Невзрачное, неприметное лицо, слегка плаксивое и вечно недовольное, чуточку злобное и без меры тупое. Или это я так на всех нынче обижен?

Во сне очень здорово обижаться. Это же сон, верно? Я сплю... я в Мос... как называется этот город? Правит в нем северный князь Гог фон

Магог, правитель Роша, Мешеха и Тувала¹⁵. Мешех — столица нашей Рошской Родины, а Тувал — город-герой неподалеку от нее. Я где-то там. Бред какой-то. Нечего было слушать чаек.

— Ориген!

— Да?

Я даже не помню, как его зовут. Пусть, к примеру, Гай. Неважно.

— Жалеешь?

— О чем, Гай?

— Я Ксанф, — тот смотрит удивленно.

Но какая разница, как зовут человека без лица? Пусть бы даже Аркадием.

— Так о чем, Ксанф? О чем я жалею?

— Что покинул Александрию?

— Я не покинул ее.

Пусть даже не надеются. Я вернусь в Александрию. Будем считать, что я вернусь — с новыми свитками, с той эллинской премудростью, которую нам подобает не отвергнуть, но превзойти.

Но... не вернусь я к Деметрию, конечно же, ни-ког-да. Не в почестях даже дело, не в том, что держит меня за одного из своих слуг. Надоело другое. Почему я должен угадывать переменчивое его настроение? Кого он любит, с кем враждует? Почему должен принаравливать Слово Божие к его нестройным хотелкам?

— Ориген!

Этот всё не понимает.

— Мы прибываем в Кесарию.

— Вижу.

Синяя полоска берега по правому борту сместилась к носу, выросла, приблизилась, расцветилась красками. И вот уже можно различить не только дальний маяк (куда ему до нашего, александрийского!), но и белые строения на берегу. Кесария Палестинская, главный порт Святой Земли.

¹⁵ Эти имена и географические названия упомянуты в 38-й главе Иезекииля, их иногда связывали с топонимикой России.

— Надолго задержимся здесь?

— Не знаю, Аркадий...

— Да Ксанф же я!

— Прости, Ксанф. Не знаю. Нам подобает принести послание веры и любви местным христианам, а уж как они нас примут — увидим. Пригласят задержаться — задержимся.

Крикливые чайки, кажется, отстали от нас. Мы при виде безопасной гавани не выкидываем, как некоторые корабли, протухшей в дороге провизии, так что им нечего ждать и нечего жрать. Пусть ищут другие корабли.

Птицы отстали, а этот — нет.

— Ориген!

— Ну что тебе?

— А зачем вообще это всё? Нам ли, в Александрии, гоняться за афинской премудростью? Чего недостает Александрии, второй в целом свете после Рима?

Отвечать ли ему, постылому? Или лучше ответить себе?

— Мы должны припасть к корням, Ксанф. Испить из источника.

— Че-го?

— Я начну издалека. Когда израильтяне покидали Египет... (да, прямо как я сейчас)

— Я читал.

— Так вот, они вынесли, ты же помнишь, золото, серебро и драгоценности египтян, полученные ими по праву, чтобы отлить богослужебные сосуды из благороднейших на свете металлов, чтобы украсить Божественную Скинию самым подходящим образом. Так и мы, расставаясь с языческими мудрованиями, берем с собой самое лучшее, что только приготовили эллины — их философию. Мы украшаем ей нашу проповедь, мы отливаем из слов Платона и Аристотеля хвалы, которые возносим к Богу. Где же родилась философия?

— В Кесарии?

Он безнадежно неграмотен и туп.

— В Афинах, Ксанф. Как и почти всё самое прекрасное, самое

долговечное в Элладе. И только блаженной памяти Александр Завоеватель, ученик Аристотеля, принес эту премудрость в иные страны земного круга и основал нашу Александрию. И так предуготовал нашу евангельскую проповедь. И как грамматика, риторика, диалектика, арифметика и прочие искусства подводят нас, словно служанки, к своей госпоже философии, так и сама она берет нас за руку и ведет, словно детей в школу, к евангельскому благовестию.

— Да ла-адно...

Он не верит. Приходится пояснять.

— Смотри, на каком языке написаны наши Евангелия? На каком языке мы молимся сами?

— На греческом.

— Смотри, мы отплыли на корабле из Александрии, прибываем в Кесарию, а потом посетим иные гавани и города, и в каждом из них найдем себе приют и пищу, везде примут нашу монету, а главное — везде нас поймут. И не только потому, что мы говорим на греческом, даже не только потому, что всеми этими землями правит Рим, но, что много важнее, потому что есть у нас общие представления о добродетели и пороке, о божественном и человеческом, о похвальном и постыдном. А этому учит философия. И родом она из Афин.

— Думаешь, без нее — никак?

— Думаю, что без нее...

Я не вижу перед собой этого Ксанфа, или как бишь там его. Отвечаю на самом деле Деметрию с его львиной гривой, орлиным носом и хищной повадкой.

— Без нее — во что превратится христианство в нашем, к примеру, Египте? Да, египетская мудрость древнее эллинской. Солон, установив законы для Афин, отправился в Египет учиться именно ей, и Геродот не смог закончить своей «Истории», доколе не посетил Египта. Да, египетские жрецы знали о загробном суде и воздаянии много больше, чем любой из эллинов, и задолго до них. Но представить себе, что Египет горделиво замкнется сам в себе, как это было до Александра, что откажется от эллинизма...

— И что?

— Ты же видел пирамиды? Огромные, бессмысленные могилы фараонов. Проходят века, а они все те же. Какова посмертная участь тех, кто был в них погребен — Бог весть, но хорошего для них не жду. И христианство, если откажется, не дай Бог, от философии, может выродиться в мертвое поклонение букве, в повторение бесконечного ритуала, в бессмысленную попытку обеспечить благое посмертие немногим правителям ценой неподъемных трудов своих слуг. Христианство — источник воды живой, но и его могут замести пески пустыни.

Жаль, Деметрий меня сейчас не слышит. Покидая его Александрию — я оставляю не только его. Я расстаюсь со злым невежеством, с нетерпимостью к непонятному, с угождением сильным мира сего. С теми темными мужланами, которые однажды возьмут вместо Евангелия дубинку и назовут это христианством. А это непременно будет, если такие, как Деметрий, продолжат править в Египте.

— Ну ладно. Ориген, но вот скажи... Ты же читал иудейские рукописи тоже, так?

— Да. В нашей Библиотеке их немало.

— Их-то зачем? Мы ж христиане.

— Помнишь ли ты, кто твой дед — отец твоего отца? Кто бабка — его мать?

— Ну да.

— Наши пророки, наши апостолы, сам наш Спаситель — они от иудеев.

Тот молчит. Не возражает, но и не торопится согласиться. Что-то замышляет там, в душе. Я, кажется, знаю, какое донесение отправит он Деметрию с первым же обратным кораблем.

А Кесария стремительно приближается. Видны уже красные черепичные крыши, доносится слабый запах дыма и жилья, едва слышен шум стройки и рев ослов. Скоро нам сходить на берег.

— Мы спорим с иудеями, — я все пытаюсь ему это объяснить, хоть и впустую, — но спор должен быть основан на Слове Божьем. Мы и они толкуем его по-разному, и чтобы победить в споре — мы должны прежде всего точно установить, прочитав и поняв его текст. И я составляю

таблицы, где отмечаю особо сложные места из пророчеств Ветхого Завета: какие слова стоят в еврейском тексте, как кто переводит их на греческий. Там, на Святой Земле, кое-что нужно будет уточнить.

Тот только смеется.

— Ну ты даешь... Ладно, скоро на берег. Я соберу наши вещи.

Что там собирать? Истинный философ носит всё свое с собой, как сказал Цицерон. А свитки, драгоценные несколько свитков, которые мы взяли из Александрии, давно и прочно упакованы мной, чтобы не повредили им ни морская влага, ни палящее солнце. Что там еще — перемена одежды, пара запасных сандалий? С этим справится Ксанф.

Я оставил Египет, я совершил свой Исход не для того, чтобы заботиться об этом.

Весла гребцов по свистку кормчего вспархивают, как крылья огромной птицы, и зависают, устремленные к небу, а наш корабль уверенно и нежно утыкается в деревянную пристань, словно теленок в вымя матери. Кормчий истинный мастер своего ремесла! Кто бы так управлял церковью в Египте?

Но уже переброшены мостки, и катят по ним тяжеленные пифосы с зерном, и несут нежные корзинки с фруктами, а мы, мы стоим на берегу, любуясь размеренными хлопотами трудяг и торговцев и не догадываясь, куда идти нам самим. Кому нужны мы в Кесарии Палестинской? Под какой из черепичных крыш нас примут как странников?

— Ориген! Где Ориген? На этом корабле? Он же с вами?

Двое каких-то странных людей в белоснежных плащах суетливо расспрашивают моряков.

— Кто-кто?

— Ориген Адамантий Александрийский! Мы ищем его.

Выступаю, смущенный, вперед:

— Это я. Мир вам! И мой спутник... эээ... Ксанф.

Распахиваются глаза и улыбки:

— Ориген, светоч Александрии, мир тебе и твоему спутнику! Прими наши приветствия и благодарность за то, что ты посетил Кесарию Палестинскую, несравнимую по мудрости блеску с родным твоим

городом. И если тебе угодно, мы, двое пресвитеров кесарийской церкви, Аэций и Эвриклет, проводим тебя к нашему епископу Феоктисту — совместно вознести Господу хвалу за твое благополучное прибытие в наши края в надежде принять хотя бы малую частицу Божественной премудрости, исходящую из твоих уст...

И кричат, заливаются чайки над гаванью, как кричали они в Александрии. Нет, не так. Там разбойничали жадные попрошайки, здесь же их крик — это музыка небесных сфер, исполненная гармонии и красоты. Кесария — царский град на Святой Земле. Мой Исход совершился.

Март и крыши

Надя позвонила вечером, часов около десяти — как раз когда мама заканчивала домашние дела и садилась к телевизору смотреть очередной фильм, и просить ее отойти было неудобно, а говорить при ней ни о чем, кроме дел, и вовсе невозможно. Телефон, на беду, стоял совсем рядом с треклятым ящиком для идиотов...

— Дня, привет — Надин голос был так же прост и беззаботен, как и всегда, но что-то звучало в нем такое...

— Привет, — сказал он как можно безразличнее.

— А пригласи... — она чуточку помедлила, а потом все-таки договорилась, — а пригласи меня в гости. Завтра-послезавтра. Когда будешь один, поговорить с тобой хочу. Котлеты готовить не стоит, я сама что-нибудь к чаю принесу. Только не вечером, вечерами не могу, к пяти дома нужно быть. И в общем... чтобы мы наедине. Можешь?

Он вздрогнул — кажется, мама не заметила... Это было... ну как если бы Горбачев позвонил, попросил разрешения у них на кухне провести заседание Политбюро.

— Да, конечно, — сказал он наигранно-спокойно, — ну вот завтра... в час или два — устроит?

Мама завтра весь день на работе, он с последних своих пар сбежит, а в УЦ ничего завтра нет, неучебный у них день.

— Конечно, — он буквально видел, как взлетели ее локоны там, на другом конце, от радостного кивка, — на недельке, в полвторого...

— Буду ждать тебя, Петрова, — не удержался он.

— А ты поэт!

— А то! Ну, до завтра.

А то брови у мамы уже поползли вверх. Ну, или так ему показалось.

— Кто звонил? — как можно безразличней спросила она.

— Петрова, наш организатор в УЦ. Ты же знаешь. Обсудить кое-что надо...

Не скажешь же: женщина, которая никогда не будет моей.

Назавтра она позвонила в его дверь ровно в тринадцать двадцать девять — он следил по наручным часам. Успел за полчаса до того вбежать в квартиру, удрав после второй пары. Отыскал в шкафу какой-то особенный чай, что маме подарили коллеги после командировки в Китай, распечатал пакетик, развернул толстую вонючую бомбочку, заварил, продегустировал... чай был черным, как деготь, и странным каким-то, но, кажется, не ядовитым. В общем, на стол не стыдно. Только пьет ли она такой?

Она вошла — нет, влетела! — в их скромную квартиру весенней королевой, совсем не так, как в прошлый раз. Повесила на обшарпанный крючок свою курточку, освободила из-под шапки роскошные свои локоны, сняла сапоги, а от тапочек отказалась:

— Люблю босиком!

И Денька тут же пожалел, что не совсем босиком, что дурацкие цветастые носочки скрывают ее ступни, почему-то заранее виделось — с красным лаком на точеных пальчиках, да только до мая никак этого не проверишь.

— А и то сказать... — она прищурилась, — босиком так босиком! Как в детстве по травке! Я, знаешь, мелкая была — как скидывала в июне сандалетки, до сентября не надевала. И в городе даже, и уж конечно на даче... У вас ведь тепло?

Денька только кивнул. И руки (с розовым лаком!) потянули из-под джинсов эти озорные носки — и пятки у нее оказались розовыми и нежными, как у ребенка, а лака на пальчиках ног не было совсем, и оттого ступни казались детскими, хрупкими, невинными и такими желанными...

— А про свое детство — расскажешь? — она потрянула волосами снова, словно знала колдовскую их силу. Впрочем, она и знала. Точно знала.

Денис кивнул:

— Расскажу. Пошли чай пить? Я заварил, китайский. Особенный какой-то.

— Вот и отлично, — она достала из сумочки простецкий сверток, —

а я сыру принесла. «Приходи ко мне, Глафира, я намаялся один, приноси кусочек сыра»...

Она напевала что-то такое для своих, что стыдно не узнать, но Денис не узнавал. Потопал на кухню, шурша дурацкими тапками, подумал было достать парадные чашки, но... Надя ведь была не такая. Совсем не такая. Достал те же, что и в прошлый раз, обычные, все разные и несуразные.

— Это есть у нас два таких чудика, поют всякое. «А без сыра — что за чай?» Давай я нарежу, пока ты разливаешь.

Денис, конечно, не обедал. Достал батон, сахар, даже масло еще не закончилось, только было твердым, сразу из холодильника — из ревущего старенького «Саратова», ночью таким только грабителей пугать. Чай разлил, а набрасываться на бутерброды — стеснялся.

— Да ты бери, я-то из дома, — она словно читала его мысли, — ой, ты куда это кипятком льешь? Ты что, это же пуэр...

— Что это?

— Пуэр! Китайский самый-самый! Обожаю, спасибо, что нашел! Его пьют по чуть-чуть, но зато крепким. А заваривают пять-шесть раз....

— Ага, — кивнул Денька, — у нас на даче бабушка тоже заваривала по нескольку дней одну и ту же щепотку... краснодарского. Такая бурда была!

— Вот меня папа к хорошему приучил, — деловито сказала Надя, — он во Вьетнам в командировки ездил. Привозил. Лечил там от малярии.

— Мой отец, — деловито ответил Денис, — инженер. Теперь главный на каком-то там производстве в Новосибирске. Он ушел, мне десять лет было. Кедровых шишек не возит. Мы вообще видимся редко. Ну его...

Надя кивнула. Столько в этом жесте было... сочувствия, или нет, лучше — понимания. Уместней любых слов, беспомощных и неуклюжих.

— Я очень на него тогда злился, — сам не зная, зачем, продолжал он, — всё спрашивал, неужели эта вот лучше мамы, зачем ты нас бросил... Может, он потому и уехал, чтобы не отвечать.

— Взрослые — странные... — задумчиво протянула она.

— А мама у меня в Ленинке работает. В библиотеке. В рукописном отделе.

— Хорошая у тебя мама, — вдруг сказала Надя.

Денька удивленно поднял глаза.

— Правда, хорошая, — но продолжать не стала, — А ты расскажи мне про что-нибудь такое твое-твое-твое. Из детства. Ну что не со всеми бывает, мало с каким мальчишкой. Расскажешь? Что особенного было...

Денис горячо кивнул.

— Подожди!

Тапки остались под кухонным столом, в комнате он быстро содрал и носки (кажется, не очень свежие, не с запахом ли китайского диковинного чая он это вот безобразие перепутал), подставил стул, чтобы достать со шкафа детское, давнее, что сдано было в архив — и выкинуть немислимо, и держать под рукой незачем. Нащупал два альбома для рисования, он их покупал в «Чертежнике» по соседству: толстых, заполненных до последнего бумажного сантиметра, с понятными и нужными лишь ему одному секретами...

— Смотри! — внес их в кухню, как на пиршестве главное блюдо, — это мой Остров.

Надя взяла верхний альбом осторожно, словно что-то ветхое и хрупкое, как у мамы в ее библиотеке, раскрыла:

— Да тут целый континент!

— Ну да, вообще континент, хоть и небольшой, — улыбнулся он, — я начал еще в третьем классе...

— Когда папа ушел?

Ему самому никогда не приходило в голову эти две вещи связать!

— Ну, почти... но нет, пораньше. Тогда он уже редко ночевал дома, всё было им двоим ясно, только я был мелким еще, не понимал. Один раз проснулся от шума: они ругались тут, на этой самой кухне, я не разбираю слов, я только слышал, как мама рыдала, навзрыд, я был уверен, что кто-то умер. Разве бывает еще такое горе, думал я? А утром проснулся — и ничего мне не говорят... Их спрашиваю: почему мама рыдала, папа, что ты ей говорил? А они: ничего, тебе все приснилось. А

для меня... ну как мир напололам. Вот тут одна, там другой, между ними пропасть, над пропастью — я. На тонком мостике, веревочном.

— И ты создал Остров.

— Ну, получается, так...

Надя понимала про него больше, чем он сам. Разве так бывает?

— Смотри. Тут...

В прямоугольник листа вписался Остров с причудливыми очертаниями, с горами, реками, озерами, с маленькими островками вокруг. Денька тогда прорисовывал контуры через копирку, потом обводил фломастером. Горы и реки оставались, остальное менялось: возникали и рушились царства, империи покоряли варваров, чтобы вскорости распасться, всё белое пространство листа было исчеркано стрелками военных походов, усеяно крестиками сражений, разорвано прихотливыми извивами границ.

— А самыми твоими были вот эти, — Надя не спрашивала, она показывала на левый верхний угол листа, где была страна с небесно-синим названием «Корляндия» (он тогда еще даже не знал, на что это слово похоже, зато оно звучало орлино и горделиво, правильное имя для лучшей в его мире страны).

— А как ты поняла? — опешил он.

— Поняла, — она пожала плечами, — имя красивое. А еще в этой стране есть всё, что у остальных лишь кусочками: и горы, и озеро, и много моря. Мы же все любим море! И название написал... ну, ярче, что ли, чем вот эти тут.

— Ну да...

— А тут на них напала страна Сьерра. Это Испания такая, да?

— Ну вроде...

— И они отбились. А Кания у тебя похожа на Германию.

— Да...

— Значит, Корляндия — это вроде как *la douce France*¹⁶?

— Я тогда еще совсем не знал французского...

— А я в школе учила. Отец настоял, он же в Индокитае

16 «Милая Франция» (франц.)

безвылазно... А вот тут, справа, у тебя Восток такой Восток: ханство какое-то особое, на крокодила похоже формой. А сверху справа — родные ледяные просторы. Да?

— Ну все-таки это мой мир! — запротестовал он, — не наш глобус!

— Конечно. Твой мир. Твои границы. Враги нападают, ты отбиваешься. Всё так. Снаружи мир был большой и непонятный, в нем от тебя так мало зависело... А тут ты был маленьким богом. В этом маленьком своем мире, ясном, податливом и веселом. И это позволяло жить дальше. Да, Денька?

— Надя, как...

Он никому бы не позволил так говорить о своем Острове. А ей — как ей возразить? А она продолжала:

— Скажи... а язык придумывал для любимой страны?

— Нет, — как-то сам удивился он, — язык это потом, и уже не для Острова. Это постарше.

— А мы с девчонками лет в десять придумали. Ну как язык — просто слоги и буквы переставляли. «Ай лае шука» — знаешь, что такое?

— Ай, лает шука?

— Ну что ты! Я ела кашу. Или вот: «Ыт лапи йач».

— Ты пила чай!

— Лейна енм ёще юча, — попросила она.

— По... а как будут длинные слова?

— Жапосталуй, — чуть помедлив, ответила она, — четные слоги меняются с нечетными, а когда слог непарный, он просто идет наоборот. Ну не язык, конечно, шифр скорее.

— Линаюва! — Денису тоже понадобилось секунды две, чтобы перевести, — бете сновку?

— Ченьо! — хохотала Надюшка. Вот теперь именно что Надюшка, его милая, нежная, всепонимающая Надюшка!

— Чего разулся? — спросила она уже на обычном языке, когда и эта чашка была допита, — чтобы как я?

— Чтобы как ты, — серьезно кивнул Денис, — я бы для тебя...

— Что бы ты для меня?

Надя встала. И теперь — взрослая, уверенная, знающая себе цену женщина. Как ей это удается?

— Да я бы для тебя и штаны бы снял, — ляпнул Денис, сам краснея от сальной шутки.

— Знаю, Денечка, — она была такой серьезной, какой никогда он ее не видел, — знаю давно, милый мой, солнечный мой мальчик. И потому пришла.

— Я...

— Ты их сейчас и снимешь, — кивнула она, а руки, руки с розовым маникюром потянулись к пуговице, — или еще лучше: я сама...

Когда все завершилось — он был безнадежно, беспрекословно, бесповоротно счастлив. Они лежали на подростковом его диванчике, прижавшись, как шпротки в банке. И что случилось только что — было огненным, стремительным, окончательным. Он не знал прежде, что это бывает — так. Он не знал, прошло ли пять минут — или два часа. Ничего прекраснее не бывало еще в его жизни. И Надя была — его.

Она неспешно гладила его не как любовника, скорей, как малыша, и это было еще нежней и приятней. Казалось, он слышит стук часов в соседней комнате... или курантов на Спасской башне Кремля. Это размеренно и упорно стучало его сердце, проталкивая по жилам жизнь, и прислушиваясь к нежному биению другого сердечка за двойной преградой ребер и мышц, чтобы настроиться с ним на единый лад.

— Мальчик, — ее рука изучала его тело, как новый континент, и слово «мальчик» не звучало обидно, — такой серьезный и задумчивый мальчик придумывал себе сказку про Остров. Жил этой сказкой. А вокруг были разные люди, они и мальчик плохо понимали друг друга. И мальчишка открывал свои страны... в своей голове... свои миры... своих людей... других...

— Мне нужна теперь только ты, — ответил он глухо, будто заученный урок, — Надя. Моя Надюша. А хочешь...

— Подожди, я...

Надя рывком приподнялась, присела, высвободив из объятий другую руку:

— Затекала вот... Неудобно! Узкая у тебя кровать.

Встала на ноги, потянулась — ослепительная, прекрасная, нагая. Повернулась спиной, словно хотела показать себя всю, со всех сторон, свое тело то ли узенького подростка, то ли взрослой роскошной женщины. Нет, это не Алена, не холодная античная красота. Это что-то немыслимо родное и прекрасное, в сто раз лучше мрамора, живее живого. Она подошла к окну, за которым — крыши, бесконечные московские крыши, мансарды, окна...

— А веришь, — Денис потянулся за ней следом, — тут виден кусочек Большого театра. Хочешь, я подарю тебе этот вид?

— Да, — она кивнула серьезно и немного печально, — он будет мне очень нужен... совсем скоро.

— Дарю! — подошел сзади, обнял, балансируя на тонкой грани между влажной и терпкой пустотой, что переполнила его сразу после — и едва уловимым, но растущим желанием повторить.

— Большой... где же он...

— Да вот же, — показал пальцем на маленький треугольный уголок крыши вдали, даже не сразу и разглядишь.

— Спасибо, — ответила просто и серьезно.

Стояли голышом перед окном, кутаясь в неверное мартовское солнце, золотые и блаженные, облеченные в молчание — первое общее молчание на двоих. И Денис думал, что до прихода мамы еще, пожалуй, не меньше часа, и что этот час будет самым важным в его жизни надолго, и может быть, навсегда.

— Денька, — она повернулась всем телом, взяла его за плечи.

— Надька, — передразнил он, распаяясь новым огнем, ощущая, как он разливается там, внизу, где только что была пустота.

— Деня, я... я уезжаю.

— Куда? — не понял он.

— Далеко. И очень скоро. И потому пришла к тебе.

Эти слова казались легким, внезапным мартовским снежком — могли растаять на солнцепеке, а могли стать предвестниками бури, метели, бурана...

— Объясни...

Это был даже не вопрос. Мольба.

— Нам все-таки дали эту чертову визу, — всегда рассудительная Надя роняла слова безо всякой логики и порядка, — я, честно, до конца не верила. Мурыжили месяца три.

— Какую визу? Куда?

— В Нидерланды, День. Серегу моего... в общем, там проект один международный, в Амстердаме. Его берут на работу. Но это, ты же понимаешь, это для него только старт, только повод, его цель и мечта жизни — Калифорния. Ну, надо с чего-то начинать послужной список, главное для него — вырваться отсюда, из совка. А я... я его жена. Наткина мама. Ей там точно будет лучше.

Она говорила словно бы на другом языке, таком, что не расшифруешь сразу, как тот, смешной и трогательный детский, про съеденную кашу и выпитый чай. О чем это, как это?

— Я не говорила тебе, чтобы не расстраивать зря. Ну я думала, что всё, может быть, не выгорит. А вот и нет. Вышло. Билеты, паспорта, визы.

И она, кажется, не была этому рада.

— В общем, я пришла проститься. Чтобы... чтобы ты запомнил. И я запомнила. Ты же давно этого хотел, да, День?

— С первого дня, как тебя увидел, — почти не соврал он.

— Ну и я... очень скоро захотела. А мечты надо сбывать. Когда это безопасно, конечно. Иначе потом болеть будешь.

— Надя...

— Я пойду, День. Я сейчас оденусь, я стану серьезной и строгой тетей, супругой минхера Петрофф, представляешь у них там «господин» — это «минхер», вот умора... Я... я обязательно вернусь. Или ты... Россия будет свободной, я в это верю. Ты приедешь ко мне в Амстердам, в Сан-Франциско, я там не знаю, Антананариву или Тимбукту, мы будем с тобой пить шампанское или кальвадос, что подадут, мы будем болтать и смеяться, мы будем вспоминать эти крыши в мартовском неверном солнышке, наш с тобой самый светлый день.

— В мартовском неверном снегу...

Слова ложились глухо, бредово, он не понимал их смысла.

— Солнышке. Снега нет. Ты что?

— Надя, я...

— Ты — чудесный, Денька. Прекрасный. Зеленоглазый. Я все-таки разглядела, глаза у тебя сейчас — зеленые. А сам ты — золотой. От света.

Обнялись снова и стояли так, без слов, без будущего, без цели и смысла. Без Надежды. Навсегда, навсегда, навсегда. Крыши молчали, и кто-то мог следить за ними из мансардных окон — Деньке всегда было интересно подсматривать за ними, придумывать им свою какую-то жизнь. Вот и теперь подросточек какой любитесь небось из-за занавески голой парочкой у окна...

— Почему вы уходите? Все... — растерянно спросил Денька, разжимая объятия.

— Кто? — впервые она не поняла его.

— Кого я люблю. Кто, кажется, любит меня. Папа... и вот ты... когда кажется, что всё — навсегда...

— Всё навсегда.

Глаза в глаза, сухие, бездонные и теперь уже почти чужие глаза.

— Всё, что было — остается с нами навсегда. Пока мы живы. Этот день, эта весна, это короткое солнце. Всё с тобой, в тебе.

И уже в прихожей, почти на пороге, когда она натягивала сапоги на цветастые свои носочки, Денис встрепенулся о забытом:

— Я сейчас.

Метнулся к письменному столу, схватил тот самый блокнот, вырвал страницу, где почти без помарок, сразу набело, набросал вчера строки. Из этого блокнота страницы вырывать — почти что святотатство, но стихи он напишет заново, он их помнит наизусть.

— Вчера, когда ты позвонила... я сразу... вот это про тебя, про нас. Про монастырь тут рядом, на Петровке — знаешь, там музей был, а теперь вроде снова будет монастырь... Но это неважно. Ты почти потом. Это...

— Я прочту, — серьезно кивнула она, — а это... то, что было — оно было прекрасно. Оно теперь есть — у тебя и у меня.

— У нас...

И сказанное — обернулось ложью. Никаких «нас» не было, не могло быть, уже не будет впредь.

— Когда у тебя самолет?

— В пятницу вечером, через три дня. Провожать не стоит...

— Я приеду. Шереметьево?

— Да, второе. Кто провожает — собирается к трем дня, только... День, там ты и я для всех будем — ну, ты понимаешь. Почти чужими. Почти. Просто сказать «пока».

— Я понимаю.

— Это...

Она отвела локоны назад и смотрела, смотрела снова, долго, бездонно и безнадежно. Надежда — безнадежно. Каким разным бывает ее взгляд...

— Деня, это было — прекрасно. И это у нас — было. А теперь — пока!

— Прощай...

Он закрыл за ней дверь на тяжелый металлический засов, что оставался в этой квартире, верно, с довоенных, если не дореволюционных времен, когда квартира была втрое больше, включала в себя соседскую — потом разгородили. Он не стал глядеть, как она идет по лестнице, вслушиваться, как толкает скрипучую подъездную дверь, как выходит в сизую мартовскую капель ненадежных обещаний. Он мог с закрытыми глазами увидеть, как идет она вниз к метро, как бросает пяточок в холодную щель, как любимую поглощает пасть равнодушного вагона и как там, прижавшись к надписи «не прислоняться», она разворачивает листок и читает, читает, три и четыре раза подряд. Не слыша объявленных станций, не чувствуя толкотни, не видя ничего, кроме строчек — да и те сквозь непрошенные слезы. Свои и его слезы — общие на двоих.

*Поколенье мартовского льда,
поколенье шага без опоры
смотрит в непонятное «туда»,
опоздав на европейский скорый.*

*Перемена вида прежних мест
вновь течет — но горячо и больно
улице, когда начищен крест
медный над безгласной колокольней.
От огня витрин и до зари
он простер лучи на наши смуты...
И ладони стерли звонари,
благовест с набатом перепутав.*

А все-таки... Он так и не сказал ей, как назывался его Остров на самом деле. Это имя было слишком священным, поделиться им — словно отдать ключ от собственного детства. Он не отдал. Был готов — но ей не отдал, и это верно. Есть ведь те — или Тот? — кто его не бросит. Есть.

В Шемеретьево было муторно и нервно. Собственно, как она и предупреждала. На такси денег, конечно, не было, а автобус тащился немислимо долго по чавкающим этим хлябям, в итоге он почти опоздал.

Надя, не его Надя — стояла серой мышкой среди друзей-подруг и товарищей по борьбе, а ее Серега — о, как Денис его ненавидел с первого взгляда! — самоуверенный, рано полысевший, коротко стриженный и начисто выбритый, в больших пижонских очках — принимал поздравления. Светился довольством.

Сереге он коротко кивнул (тот впаривал что-то своим про реактивы и лабораторию, про срезанное финансирование, про ученый совет и чужую предзащиту, гадостным таким тоном всезнайки), подошел к Наде. Чмок-чмок в щечку, тут так принято, у них.

— Ты уж нас там не бросай, — жалобно протянул Артур, — ты объясняй там, западникам, всю двуличность политики их любимчика Горби...

— Они еще не эмигранты, они еще ее сыны, — отшучивалась Надя, и это, конечно, тоже была цитата из кого-то очень-очень своего, и Денька снова не понимал, откуда.

— В астрале, короче, встретимся, — хихикал неожиданно веселый

Витек, и что-то щебетала Нино, и еще какие-то люди, которых он видел, или мог видеть на сеансе борьбы за демократию в этом феврале, или мог придумать, вообразить, сочинить — и все они не стоили и одной Надюшиной улыбки, обращенной к нему.

Улыбка и была — всего одна. Та, которая его. И ни слезинки, ни словечка лишнего.

А тут сразу: «Пассажиров рейса номер... просим пройти для прохождения таможенного и паспортного контроля», и куда-то задевалась Серегина мама, и ее бегали искать, а они всё стояли у прохода, стояли и ждали маму, как будто собирались на пляж, на прогулку, в магазин — а не в новую и чужую жизнь. А пассажиров рейса номер всё приглашали и приглашали, они всё текли, и Денис впервые увидел ее — Стену.

Стена была совсем не страшной на первый взгляд: стеклянной, прозрачной, элегантной. Но безвозвратной. За ней были ряды столов, за столами стояли суровые люди в пограничных мундирах, они раскрывали и перетряхивали чужие чемоданы, и кто-то подбегал то и дело передать наружу, через красную черту — то книгу, то картину, то лишние две бутылки водки, потому что нельзя, не задекларировано, не предусмотрено, не положено Родину расхищать. У сытых туристов — отнимали ли матрешек и балалайки, отсюда было не разглядеть, а к стене они не подходили. Им было незачем.

И Денис понимал, что у Сереги с Надей всё наверняка было взвешено и сосчитано, проверено по своду таможенных правил, так уж они жили. Так она пришла к нему три дня назад — всё взвесив и рассчитав.

Но Серегина мама уже спешила откуда-то из глубины аэропортовых дебрей, уже собирались закрывать проход для рейса этого самого номера, и чемоданы уже подхватились в руки, и губы слились в избранном последнем поцелуе — и тут его ладонь сжала другая, и он сперва даже не понял, что Надюшина, что она передает ему, втайне ото всех, что-то маленькое и твердое, словно это он летит за рубеж и должен вывезти сокровища российской короны или аэрофотосъемку колхоза «Тридцать лет без урожая» в Краснознаменном Забайкалье.

— Увидимся! — радостный Серега подхватил в охапку мелкую девчонку (так вот она какая, эта Натка), чемодан и походный брезентовый рюкзак.

— Сразу напишем, как комнату в общеаге дадут! — Надя тоже казалась радостной, — или лучше даже телеграмму дам! С адресом! Артур остается за старшего в нашей ячейке!

И — опустела без тебя земля.

Он ушел раньше, чем они закончили со всеми этими шмотками и бумажками, раньше, чем поглотил их черный заграничный коридор. Это видеть было бы невыносимо. Опять. Опять он остался один.

А на раскрытой ладони у него лежал кулончик без цепочки: крупный кусок балтийского янтаря, теплый, солнечный и нежный, как сама Надюша. Слепок мартовского солнечного дня, память крыш, рассказ о том дне, который никогда не повторится, о Надежде, которая — не сбылась.

На выходе из аэропорта курил буддист Витя.

— О, Денис, — обрадовался он, — вот есть, чем тебя угостить. Хошь? От сигаретки тянуло непривычным, сладковатым дымком.

— Я не курю.

— Так и я не курю. Курить — здоровью вредить.

— А это?

— А это не табак. Это расширяет... умиротворяет...

— А буддистам, — зло спросил Денька, — буддистам и это можно?

— Фиг его знает, — пожал плечами тот, — а вот тебе сейчас — нужно.

— А давай. И знаешь... давай я сейчас к тебе?

— Без проблем, — пожал он плечами, — но бухла дома нет, предупреждаю.

— Возьмем у таксиста бутылку, — уже начинал хмелеть Денька, — я плачу. Потому что сейчас — надо. Ты прав.

Был у него с собой на всякий случай лиловый четвертной.

Сон о толковании

Это помещение кажется огромным: два ряда колонн разделяют его на три части, оно заполнено сидящим и стоящим народом, а огоньки светильников выхватывают из мрака на стенах фрески со сценами из священной истории.

Мы в базилике, в «царском» помещении для общественных собраний и ритуалов. И эта базилика — в Кесарии, в «царском» городе на берегу Средиземного моря. И в центральной части, в полукруглой апсиде — поистине царский престол, резное сиденье, на котором восседает величавый красавец в белом расшитом одеянии.

Я — по правую руку от него. На мне — белый плащ. Я пресвитер. И рядом со мной — такие же пресвитеры, но самый близкий к моему епископу Феоктисту — именно я. Выкуси, Деметрий! Не помогли все твои возмущенные письма, все клеветы, все потуги. Исход состоялся. Невзирая на эфиопа, на ладан, на якобы самооскопление, которого, конечно же, не было (разве не видна тебе была моя борода?!) Невзирая даже на постыдную пьянку с Витькой и с травкой... какой такой Виктор, что за пьянство? Такого не было в моей истории. Это лишнее. Убираем.

Мы — в Кесарии Палестинской. В базилике, где собираются на молитву христиане. Посредине — чтец, перед ним на деревянном возвышении (аналой, да, так его потом назовут) развернут свиток. Он только что закончил читать. Епископ чуть заметно поводит рукой в мою сторону — и взгляды прикованы ко мне.

— Мы услышали прочитанное, и прочитано было немало, — начинаю я говорить, и сразу же молодой паренек за столом чуть поодаль начинает делать пометки в папирусе. Это поразительно, но он успевает записать всё сказанное и не искажает смысла. У него своя система пометок и обозначений, ни одного слова не пишет он целиком, но потом достоверно восстанавливает по этим своим черточкам и кружочкам. И далее, странно даже о таком говорить, толкования мои переписываются, расходятся по городам, оседают, наверное, даже в Александрийской

Библиотеке...

— Мы слышали сейчас о том, как Давид скрывался от Саула, как Бог принял одного и отвергнул другого. Много было яркого, поучительного, живого. Предоставим нашему господину, епископу Феокисту, выбрать, какой именно эпизод мы будем сегодня разбирать.

Феокиста я знаю отлично. Что выберет он? Сомнений нет: самое трудное. Иначе зачем и собирать народ на такую молитву с углубленным и подробным чтением Писания? Кому-то довольно исполнения ритуалов, но наш епископ ищет во всем смысл.

— О волшебнице и Самуиле, — говорит он.

И я вижу, как морщится пожилой лысоватый пресвитер напротив меня. Лицо у него сразу становится похожим на сморщенный кислый плод, который называют цитроном. И я, в этом сне начинаю понимать, припоминаю сюжет, которого не знает еще тот юноша в северной стране. И понимаю, почему тот скривился.

Еще бы, такая история! Царь Саул накануне решающей битвы идет к волшебнице и просит вывести дух умершего пророка Самуила. И та выводит, Самуил приходит и пророчествует. Что это, как это? Только простаков соблазнять!

— В Писании нет ничего произвольного и постороннего, — начинаю я речь, и голос мой обретает крепость, — но не всё относится к каждому из нас в равной мере. Какая мне, к примеру, польза от истории про дочерей Лота, которые соблазнили собственного отца? Или про Фамарь, соблаздившую своего свекра Иуду? Но не будем торопиться: только истолкованное, а не просто услышанное, идет нам впрок.

Отсюда, из апсиды, заполненное людьми пространство базилики кажется чем-то вроде моря — живет, волнуется, дышит. Мне не разглядеть отсюда дальних лиц, глаза ослабли, но как слышишь рокот волн и вдыхаешь всей грудью соленую влагу — так чувствуешь и дыхание толпы... нет, не толпы — кесарийской церкви.

Лиц не разглядеть их отсюда, но я знаю: они пришли на закате дня. Ноют спины, скрюченные бесконечным трудом в мастерской, зудят от щелочи руки прачек, потихоньку выхаркивают свои легкие подмастерья кузнецов, что раздувают мехи и дышат дымом. Им бы всем теперь

размяться, им бы в термы, смыть усталость дня, похлебать горячего да завалиться на циновку в углу, забыться до завтрашнего утра зыбким и хрупким сном. А там — по новой.

Но они пришли на закате дня — увидеть свет невечерний. Что скажу я им, чем займу голодные умы? Слова-пустышки дешевы. Они хотят услышать правду. А я — я уже научился чувствовать их боль, их усталость, их ужас перед разверстой пастью погибели, куда скользит каждый из нас.

— Волшебница по приказу Саула возвела из преисподней дух Самуила. Будь это кто иной, может быть, мы не смущались бы так сильно. Но пророк Иеремия свидетельствует о Самуиле, что он, покойный, вместе с величайшим Моисеем — перед лицом Господним. И от псалмопевца мы слышим: «Моисей и Аарон среди иереев Его, Самуил среди призывающих имя Его». Как же так? Тот, кто был угоден Богу — в подземельном заточении и повинуется волшебству?

— Да врет она всё, — кто-то кричит из толпы народа, — то был не Самуил!

— Можно так подумать, — я охотно принимаю брошенный мне мяч, — что она лжет. Не был возведен Самуил, не беседовал он с Саулом. Мало ли было лжепророков, говоривших от имени Господа? Тем легче сказать нечто якобы от имени Самуила. Не мыслим же мы, что он в аду?!

— Ну не-ет! — раздаются голоса. Молчи, цитроннолицый. Ты всё понял в этом мире, а они только выходят в дорогу и еще не знают, куда придут. Мне с ними по пути!

— Конечно же! Самуил с юности носил священническое одеяние, Бог низводил по его молитве дождь в летнюю пору, был праведен и не требовал платы. Если он в аду — где же Авраам, Исаак и Иаков? Самуил в аду? Тогда и Моисей! Тогда кто из нас удостоится рая?

— Никто! Да врет она всё!

Цитронное лицо светлеет. Ничего, подожди, наше толкование далеко еще не завершено. Тебе еще будет, чему удивиться.

— Но будем же рассудительны, не будем вкладывать в Писание то, что нравится слышать нам самим, а постараемся понять, что оно говорит нам. Кто на самом деле автор Священного Писания, спрошу я

вас?

— Святой Дух! — раздаются стройные голоса, — Сам Бог!

— Именно так. А что же написано? Женщина спрашивает Саула, чей дух возвести из преисподней. И Саул отвечает...

— Писать хочу!

Писклявый дитячий голосок врывается в наше толкование.

— Мама, я хочу пописать!

Мама шипит на дитяtko, остальные хохочут. Верно, она, пунцовая от стыда, уже отвешивает малышу подзатыльник.

— Своди, своди его наружу, — со смехом говорит епископ, — и возвращайтесь к нам. И смотри не ругай: плоть немощна, а дети себя не стесняются. Всем нам напоминание!

Он знает свой народ, мой добрый епископ. Хохот стих. А я продолжаю:

— Что же на самом деле ответил Саул? Кого он попросил вывести?

— Самуила!

Как же здорово вести беседу, когда людям важно понять! Да им — как и дожить им до завтра, как это завтра пережить, если не оторваться от своего ремесла и своей похлебки, если не возвести очи к небу? И я — их проводник.

— Всё так и есть. И дальше Писание рассказывает: увидела она человека, выходящего из земли, облеченного в священническую одежду, и поведала о том Саулу. Не сказано, что солгала, но сказано, что видела.

Народ молчит.

— И далее, уже не она, но Дух Святой нам сообщает: «И спросил Самуил у Саула». Вы скажете, может быть, что он лишь думает, будто спрашивает у него. Знаем ведь, что и сатана может принимать вид ангела света, чтобы прельстить верных. Но вот дальше... Чтец, прочти-ка нам снова это самое место, прошу тебя! Кто там ответил Саулу, и что именно ответил?

Мама с пописавшим малышом уже, верно, вернулась. Она почти ничего не пропустила. А чтец разворачивает свиток снова, отыскивает нужное место, внятно и громко произносит: «Ответил Самуил: “Что же

ты спрашиваешь меня, если Господь отвернулся от тебя, стал тебе врагом? Поступил с тобой Господь, как и обещал через меня: вырвал Господь царство из твоих рук и отдал его ближнему твоему, Давиду»...»...

— Благодарю тебя, довольно! Спрошу снова: может ли нам солгать Святой Дух?

Лысый снова превращается в кислый плод. Там, вдали, люди перешептываются, кто-то кричит:

— Не может! — да только уверенность в голосе не слышно.

— Итак, Писание нам не лжет. А ведь оно говорит нам: отвечал Саулу не демон, а сам Самуил. Более того: если бы то был демон, мог бы он знать волю Божью и возвещать ее Саулу? Но он ее возвещает! Значит...

— То был Самуил! — кричит кто-то из народа.

— Да ни в жисть! — отвечают ему.

— Епископ, скажи, как правильно?!

Мой епископ улыбается и молчит. Потом вытягивает ладонь, жестом успокаивает народ.

— Итак, — я продолжаю, — вывод наш один: Писание не лжет, то был Самуил. И что же смущает нас больше всего?

Как же это прекрасно, что им не всё равно! Кричат:

— Что он слушается какой-то тетки!

— Что не утащил с собой Саула сразу!

— Что Самуил в аду!

— И верно, — продолжаю я, — что Самуил в аду. Вот что полезно нам знать: где он оказался после смерти? Если он там, где же окажемся мы?

Народ недовольно гудит. Я задел за самое болезненное.

— Но спрошу больше: был ли в аду Христос? Нисходил ли Он туда? Тот, кто больше пророков, кто говорил через них — посетил ли он грешников в аду? Не о Нем ли сказано: «Ты не оставишь души моей во аде и не дашь святому Твоему увидеть тление»?

— О Нем, воистину, о Нем, — первым отвечают пресвитеры и диаконы.

— А если он, отчего же не Самуил?

Кто-то из народа недоуменно, рассержено:

— А Христос-то зачем?

— Вас и спрошу: для чего Христос сошел во ад? Чтобы победить или быть побежденным смертью?

— Победить! Победить!

— Воистину, он сошел туда как полководец, чтобы сразиться с ней, как мы недавно и говорили, рассуждая о псалмах. И было ли о том возвещено заранее пророками?

— Было!

— И если они возвещали о Нем здесь, отчего бы им не сойти туда, где души не слышали иной проповеди? Отчего бы и Моисею, и Самуилу не спустится в преисподнюю, как лучший из врачей нисходит к больным в заразный барак? Ведь они несут душам не временное телесное облегчение, но вечное спасение! Не бойтесь ада, друзья. Христос был там. Моисей и Самуил были там. Они выведут нас оттуда!

Народ радостно выдыхает, кто-то даже рукоплещет, но ведь мы не на стадионе, не в цирке. И даже цитронное лицо разгладилось понемногу.

— Мы можем оказаться где угодно, — делаю я вывод, — мы можем угодить на арену зверям на потраву, даже попасть в преисподнюю. Но нам нечего бояться: прежде нас там были Христос и наши святые, их не запятнал ад, к ним не пристала грязь. И нас они выведут оттуда. И потому Самуил был в аду. Потому-то и в притче о богаче и Лазаре мы видим, как богач, будучи в месте посмертных мучений, беседует с отцом Авраамом и принимает от него обличение. Жизненный путь завершен, наказание заслужено и получено, но остается осмысление, и только голос пророка способен его дать — он достигает преисподней, чтобы обличить и наставить.

— И что, богач там так и останется?

— В самом деле? Навсегда?

— Иной вопрос, братья и сестры мои, — отвечаю я, — и дорого я бы дал, чтоб на него ответить. Знаю только: мы, как в притче о виноградарях, уже получили от Господина виноградника свой динарий,

а даст ли он его остальным — на то Его святая воля.

Народ гудит, народ шумит, как хмельная голова того самого Дениса (и откуда он постоянно берется), и взирают с фресок лики пророков, и толкуется Слово, и собирается Церковь. Мы волнуемся, мы спорим, мы обсуждаем, и собирает нас — Его Слово.

Разгибаются согбенные спины. Наполняются воздухом чахоточные груди. Наливаются силой истомленные руки.

И называется это — христианство.

Апрель и трава

Пустота. Надя тогда шагнула в железный рукав, на другом конце которого приветливые стюардессы, мягкие кресла, пластиковая еда и «пристегните ремни» — а в его пьяном сне это был жестяной желоб, по которому она летела, летела, летела в зияющую пустоту. Его Надежда.

Сон возвращался. И наяву пустота дремала в нем, когда он сидел на парах, когда переводил своего Оригена, когда листал словарь, когда брел по бульварам, когда листал новый номер «Огонька» или ржал над новым анекдотом про Горбачева...

А потом вдруг раскрывалась эта черная пасть и принималась грызть и сосать его изнутри: больше нет и не будет рядом Нади. За что, почему она так? Если и в самом деле любила — почему рассталась так легко? Может быть, он уговорил бы ее остаться с ним, отпустить мужа в эту его Швецию или Ирландию, но она ведь всё решила заранее, не спросила, не предложила... А если это было просто так, ну как тогда у него с Аленой... ну зачем же так жестоко? Как, как она могла дать всё — и сразу отнять? Где она сейчас, вспоминает ли о нем, ну хоть иногда?

В верхнем ящике письменного стола молчал о ней кусочек балтийского янтаря, и был он — насекомым, попавшим в его медовый плен на ближайšie сто тысячелетий.

И даже в эмгеушном бассейне, среди гибких девичьих тел, он неизбежно сравнивал: а вот у этой грудь слишком велика, а у этой, напротив, фигурка какая-то полудетская, вот у Нади было всё прекрасно — и тут же сам пугался, что не помнит точно ни одной ее черточки, ни одного изгиба, а только собственный беспредельный восторг. И как тогда не догадался уместить в ладонях и запомнить навсегда самую прекрасную в мире грудь, чтобы телом запомнить недоступное взгляду?

Он пытался писать стихи. Даже получалось — о вечном, ведь оно не обманет. Хотелось писать просто, как умел Пастернак — о том, что вокруг и рядом. Шел по улицам и смотрел, как вторгается в город украдкой весна, и пытался представить себе, как видел он такую же

весну лет в десять, когда мир был большой и живой, а все девчонки были с другой планеты и говорить с ними было незачем и не о чем...

И в заветный блокнотик ложились строки: ровные, гладкие, точные. Как будто.

*Всем городам наперекор
в асфальтовые сети
чуть уловимый запах спор
весны приносит ветер.
Лишь скучных улиц берега
покинет он — и сходу
вдруг заторопятся снега
преобразиться в воду.
И следом — чудом — небеса
от долгой голодовки
и запаха, и голоса
достанут из кладовки.
Придется треснуть мостовым,
зеленкой прорастая,
и в день рождения травы
прочертят небо стаи.
И полноправно, нараспев
обычный треп весенний
затеют грозы, осмелев
от запаха растений.*

Но стаи и грозы — это было всё не о том. Пустота — не унималась, затихала ненадолго, пока перо порхало над листком. Ее можно было прогнать только другой любовью... ну ладно, не любовью, не привязанностью даже — просто другой. Верная, тихая, скромная девочка Вера... ну кто же еще? Маленькая Вера.

И едва назвал ее маленькой — фыркнул от смеха, и пустота дрогнула, отступила. «Маленькая Вера» — надо же так назвать Тихомирову! Фильм с тем названием им показали в армии, видать, по недомыслию. Их иногда водили смотреть кино не в тесный клуб при части, куда привозили всякую муру, а в городской кинотеатр на соседней

улице. Вот и на актуальную картину о жизни современной советской молодежи решили отправить свободных от наряда, видать, никто из офицеров даже не догадывался, о чем это. И когда на экране в полный рост — в позе наездницы и почти крупным планом — раздался в зале дикий гогот. Это младший сержант Туганбаев оглядел соседей: а руки, руки-то почти каждый держал, где уставом не положено... Ему потом вломить даже хотели: весь кайф своим ржачем обломал! Да больно здоров был Туганбаев, не подступишься.

О чем только не станешь думать, лишь бы только не...

Так вот, Вера. Вера Тихомирова, а не та дурацкая Вера эротическая, киношная, с повышенной сексуальностью и трудной судьбой. Нет, не та, его Вера — человек штучный. Из интеллигентной московской семьи, сама по уши, как она это называет, «воцерковленная», сексуальность там надежно на нуле (вот, пожалуй, и лучше, вот и безопасно, чтобы потом локтей не кусать), а Дениса — ну, замечает, назовем это так. Книжки ему интересные таскает. Даже ценит, пожалуй.

И когда встал вопрос: а кем заменить администратора Петрову в Университете цивилизаций, — ответ был очевиден. Конечно, позвать Веру, аккуратную отличницу! Что она согласится, Денис не сомневался, и был прав. Элла Александровна, правда, заметила Денису, что не умеет он, похоже, разделять личные и деловые отношения, но и не возражала особо — а он спорить не стал, да и не понял ее, если честно. А с кем же дела вести, как не с тем, кому доверяешь, с кем дружишь? Так что взялась за всю эту несложную муторную работу Вера. И справлялась вроде бы неплохо.

Сразу предложила пригласить к ним на лекцию того самого отца Арсения, и Денис согласился. Почему бы и нет? Элла, к его удивлению, тоже, хотя вроде бы к православию относилась сдержанно. Зато мама его удивила. Спросила за ужином:

— А у вас там что, правда Арсюша будет выступать? Он же тетя Лидина родня, ты что, не знал разве?

И тут же рассказала пару милых семейных историй про мальчишку Сюшку, недотепистого фантазера, и Денис сморщился: поди, и тетя Лида про него, Дениса, такие же апокрифы сочиняет? Что всё это смесь из

фантазий и неточных припоминаний, Денис не сомневался, он такие рассказы про бывших малышей ненавидел все и заранее. Взрослые так и ставили их, давно выросших, на стульчик — гостям на потеху, себе на забаву.

А отец Арсений — он точно был взрослый (про себя самого Денис все же не был уверен). Постарше лет на десять или около того, с длинной ухоженной бородой, такой же прической, с гладкой и сладкой речью девятнадцатого века. Он нес себя бережно, словно чашу боялся расплескать, но отпить из нее щедро давал каждому.

Вера сама привезла батюшку на лекцию на такси, он взошел, сияющий, на кафедру, изящно перекрестился, и полилась его речь, словно ручей по гладким камушкам:

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... Рад приветствовать вас, друзья, на христианнейшем факультете Московского университета — филологическом. Да-да, я не оговорился, некогда французские короли присвоили себе этот титул, но много более подобает он нашему факультету, который я и сам закончил семь лет назад. Сегодня по приглашению наших гостеприимных хозяев мы отправимся в дивное путешествие по словесным тропам и посетим цветущие луга древнерусской словесности, припадем к полноводным источникам отеческих словес, дабы утолить нашу жажду...

Это было, пожалуй, слишком приторно, но... на кафедре перед ними стоял не просто еще один преподаватель древней литературы, а человек, который ей жил. Как Николаев своим Цицероном. Но Николаев все же римлянином не был, а он, Арсений — плоть от плоти церковнорусскости, любимой им без остатка и взахлеб. И даже как сам собой любовался, как называл себя «батюшкой», с придыханием — даже это казалось уместным и добрым. Знай нашу древнюю Русь, вы, племя советское, незнакомое! Ай да мы!

И люди — слушали. Денис специально сел сверху и сбоку — следить за аудиторией. Были не только студенты их УЦа, внизу администратор — верная Вера! — продавала разовые билеты, а с батюшкой заявился длинный хвост поклонников, в основном поклонниц, и разумеется, бесплатно. Да и не возражал никто: ну пусть, это же о высоком, о главном! Какие уж тут деньги.

— Вот он, настоящий русский батя! Не то, что эти... которые из богоизбранных... примазались к вере нашей!

Жаркие, бесстыдные слова сказаны были вполголоса, но ударили выстрелом за два ряда от Дениса. Голос был незнакомым, а вот лицо... нет, точно не из их студентов, он из той самой свиты, но где, где Денис его видел прежде? Да не тот ли самый чудак, что тогда, на Рождество, попался ему в церкви? Или просто похож? Много их, агрессивных придурков. Но ничего, эта сочная батюшкина речь, эта нежная разумная проповедь — она смягчит, проймет и просветит любые сердца.

А самое главное было все-таки после лекции. Они вывалились в широкий универовский коридор, батюшку обступили, о чем-то спрашивали, он улыбался, он плыл по этим волнам признания и интереса, ловец человеков, и было всем хорошо, и ему, и уловленным человекам.

Вера подвела Деньку, деликатно пропихнула между спинами:

— Батюшка, вот наш Дионисий, он занимается Оригеном...

— Дионисий, — имя округло обкаталось на языке, а руки, добрые сильные руки — взяли его десницу, нежно сжали. То ли познакомились, то ли наполняли собственным теплом, до краев и через край.

— Ориген, — мягко и наставительно проговорили батюшкины уста, — зашел глубоко и не справился с волнами страстей в пучине богомыслия. Нам, чтобы преодолеть течение и не захлебнуться, потребен спасательный круг. Святоотеческий круг! Вы крещены, Дионисий?

— Нет... еще... — промямлил тот.

— Это исправимо, — кивнул он Вере, — и даже очень!

— Да, батюшка! — та приняла как задание.

— И приходите, непременно приходите к нам в храм! — он так и не выпускал его ладонь, держал своими двумя, нежно и требовательно, — вот он, спасательный круг: исповедь, причащение, богослужение и домашняя молитва! И круг чтения, но здесь (он подмигнул Вере) нам есть, на кого положиться!

Вот и всё. Как-то оказалось оно просто и понятно: его не бросят. Здесь любят — навсегда, на целую вечность. И не бывает в такой любви

ни стыда, ни разочарования.

А дальше всё росло само — как растёт трава, медленно, но верно раздвигая серые глыбы асфальта, наливаясь солнечным светом и влагой дождей, побеждая хмурую суету городов вековечным давлением жизни.

Вот он сидит за письменным столом — и начинает, наконец, понимать мысль Оригена. Прежде видны были лишь латинские конструкции, ну и изначальный греческий за ними. Оригинал Оригена, до нас он не дошел. А ведь самый главный оригинал — сам Ориген. Как хватило ему дерзости и ума (батюшка сказал бы «дерзновения») взять и выстроить из разноголосицы апостольских текстов догматическую систему? Разобрать подробно и последовательно, что к чему, во что мы, собственно, верим. Никто прежде него и не рискнул.

Вот взять и сказать: апостолы всего так и не разъяснили, оставили нам загадки, давайте же мы их отгадаем! Разберем по порядку... Кажется, именно этот труд, «О началах», рассорил его со своим епископом. Ориген просто опередил свое время, батюшка вот говорит: утонул. Нет, не утонул, а... открыл нам глубину! А что потом не все согласились, что потом даже официально его... ну, скажем, поправили — это ничего, это бывает. Церковь, как говорит батюшка, это сообщество кающихся грешников. Мы все в чем-то неправы, но когда мы вместе — с нами Христос!

И да, это уже — мы. Как тогда, как в армии, когда был в их разговоре на двоих — Третий.

Вот он достает с антресолей (и как же мама могла туда ее загнать!) старинную икону, еще из студенческой поездки по северным деревням когда-то привезла, они и думать забыли о ней. Оттирает от пыли, из под которой строго и ласково взирает на него Лик Вседержителя. Исцарапанный, потертый лик — двадцатый век его не пощадил. Протереть бы его чем-то таким, чтобы отчистить грязь — но не тряпкой же...

— Мам, у нас есть вата и спирт?

— Бутылка водки была в записке. А тебе зачем?

— Икону протереть.

Немая сцена.

Но икона оттерта заботливыми мамиными руками и смотрит на него со стены — пришлось искать на тех же антресолях инструмент да шуруп подлиннее. Зато теперь они — с Богом.

Вот он сидит на кухне у Степанцова, пьет чай с постными сушками, а сам хмелеет от разговора:

— Вы станете моим крестным отцом?

— Конечно! — широкая, добротная, надежная улыбка, — а крестной матерью кто?

— Есть одна девушка, продвинутая, ну то есть воцерковленная...

— Ты с девушкой не торопись, — назидательно говорит Степанцов, отхлебывая густую влагу, — с девушками дело такое: духовное родство исключает всякое иное. Проще говоря, женитьба на ней будет в случае крестного родства — невозможна!

— А кого же тогда?

— А можно и никого, если нет подходящей. Да ты не переживай, я ведь и сам крестный никудышный, знаешь ли, поминаю вот разве всех за молитвой, ты у меня тридцать пятым крестником будешь... о наставничестве в вере и говорить не приходится.

— Вы, Иван Семенович, уже наставили.

— Да ла-ааадно, — снова улыбается он в аккуратно расчесанную бороду.

Как же уютно, как надежно с таким! И почти не вспоминается Надя...

А вот он в маленьком здании, в баптистерии, в крестильне при большом соборе (это Степанцов посоветовал, чтобы именно там, чтобы с полным погружением). Раздетый, как в том давнем сне, но замотанный в простыню, и вместе с ним — трое мужчин, двое мальчиков. Крещение нынче в моде, да. Пожилой, усталый батюшка спрашивает:

— Символ веры знаете?

Все растерянно мотают головами. А что такое «символ веры»? Денис это как-то упустил. У Оригена ничего такого не было.

— Никео-цареградский? — уточняет батюшка, словно есть опасность, что помнят они какой-нибудь другой. Оказывается, он

выговаривает Г на южный манер, похоже, украинец.

Так Никея — это уже после Оригена! — чуть не говорит Денис вслух, — это же мы еще не проходили.

— Читайте тогда, вот, на стене написано. Или повторяйте за мной: «Верую во Единого Бога Отца...»

Читают все хором, сбивчиво, невнятно, хотя на стене всё написано большими, четкими буквами. Церковнославянский звучит немного непривычно: тот же греческий в славянских одеждах, только без артиклей. Читает Денис и внутренне соглашается со всем, с каждым словом! Ориген бы такой текст одобрил, это точно.

Прочитан Символ Веры — а Вера стоит там, в самом последнем ряду, и наверняка потупила глаза, чтобы не видеть мужской наготы даже под чистотой крещальных простынь. Степанцов не пришел, не выбрался. Ну ничего, будет заочным крестным, так тоже можно.

И вот над Денькой смыкается прохладная, чистая вода, во имя Отца, и снова во имя Сына, и еще раз во имя Святого Духа, и прошлое остается в купели — а выходя из купели, первый шаг к вечности делает христианин Дионисий, мокрый, веселый и беззаботный.

А глаза Веры, когда они бредут потом от храма к метро — бездонные, весенние глаза! И ручьи, ручьи вдоль бордюров и тротуаров, и замызганные машины, и нежданно жаркое солнышко, и воробьи в стылых лужах... Это настоящее счастье. Оно — не предаст и не бросит!

Что там у тебя, большой и неуютный мир? Горбачев избран президентом СССР? Шестая статья Конституции отменена? Зарегистрированы первые демократические партии? (Витька вступил или нет, интересно? Артур-то наверняка!) Литва объявила о независимости, а Горбачев объявил ей блокаду? Вводят карточки и талоны на всякие товары? Выбирают народных депутатов РСФСР? Объединяются две Германии? Чехословакия больше не социалистическая, а из Венгрии уже выходят наши войска? Да зашибись, большой мир. У тебя за десять лет не было столько новостей, сколько за эту весну навалилось. А у него — лужи, воробьи, верины глаза. Маленький крестик на шее, копеечный штампованный крестик, и он важнее всех твоих новостей, большой мир.

Даже больше той пустоты, которая... которая утонула в купели.

Он сидит на кухне и блаженно трескает жаренную картошку со свежим лучком. Мама смотрит удивленно и настороженно:

— Деня, ты точно не хочешь котлету?

— Пост же, мама! Я же говорил: я постом не ем мяса!

— Так то мясо... А котлету?!

— Картофельную, мама, или свекольную.

— Где ж я тебе возьму-то теперь свекольную?

Не понимает она. Ничего, пройдет время — она тоже обратится. Обязательно!

А вот он стоит в полуночной церквушке, она гремит торжествующим хором:

— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!

И даже смешной этот «живот» не смешит, потому что да, будет и животу радость, разговение.

И священники в красном без устали, без заминки ликуют, восклицают, торжествуют:

— Христос воскресе!

И толпа, тесно сжавшись, аж руки не поднять, единым выдохом, единым взлетом:

— Воистину воскресе!

И еще, и еще, и еще раз — досыта, до восторга, до гула в ногах...

И золотая чаша, вкус вина и хлеба на языке, Плоть и Кровь Спасителя — во оставление грехов и в жизнь вечную, аминь.

Раб Божий Дионисий. Раба Божья Вера. Батюшка Арсений. Нав-сег-да.

Или все-таки... чуть меньше восторга? Чуть-чуть бы поменьше? Помолчи, внутренний мой скептик! Не до тебя сейчас.

А там, за стенами храма, за бортом церковного корабля, схлынули талые воды, разбрелись поддатые прохожие (и где только выпивку нашли!), и новой, неизведанной весной пахнут проплешины черной земли по краям асфальтовых рек. И первая поросль травы — пробилась

навстречу скорому рассвету.

Что заставило его открыть за подъездной дверью почтовый ящик? Подсказка свыше, должно быть: тебе весть из прошлого, оно прошло, не печалься о нем. Там была цветастая открытка из зарубежья, с ровными рядами немыслимых тюльпанов и каналом по краю. А на обороте — марка, с которой строго взирала дама в королевской короне, да еще выведенный по-русски адрес. И вместо текста — рисунок ладошки, жест «дай пять», как бывало у них до ее отъезда. И маленькая буква Н. с точкой, хотя и так всё понятно, без подписи.

Надо же, она умеет здорово рисовать, — подумал Денис.

Где ты, пустота? Где ты? Нет тебя. Уплыла, утонула, травой весенней поросла. Слава Богу за всё. Христос воскрес!

Сон о красоте

Брызги солнца сквозь резную листву. Запахи трав, от которых чуточку кружится голова. Легкий ветерок с недалежного морского залива. Стрекот цикад и пересвист птиц, блеяние овец где-то неподалеку...

Я схожу с мощеной ровной дороги, перепрыгиваю через водосточную канавку, чтобы войти в сплетение запахов, звуков и пятен света, в прекраснейший храм, созданный Самим Творцом. Только надо разуться, чтобы по-детски ощупать подошвами эту первобытную сладость земли и травы, как у тети Лиды летом в деревне... Хотя, если разобраться, тетка моя Лидия жила на краю пустыни, где летом песок обжигал ноги, а редкие жесткие стебли пустынных растений не делились влагой ни с кем. Откуда же я помню этот босоногий восторг, эту речку за рощицей, июньские ранние зори и соловьиные трели?

Здесь все немного иное: яркое, сочное, светлое, как бывает лишь в тех краях, что равно далеки от палящей пустыни и северных снегов, но близки к Срединному морю. Что за город остался там, за моей спиной? Откуда же я пришел?

Это были, наверное, Афины с немислимым, неповторимым взлетом колонн, мраморной теплотой дышащих статуй, с обилием жертвенников («неведомому Богу», как ты был прав, Павел!), немолчным гулом философов на Агоре. Стоики, платоники, эпикурейцы... Да, верно, я оттуда, ведь и на мне плащ философа — или это одеяние пресвитера? Или нет уже разницы между ними? Ведь мы переняли, присвоили и довели до совершенной полноты всю строгость стоицизма, глубину платонизма, радость эпикурейства, мы сплели из них дивный венец и увенчали ей Премудрость. За моей спиной остались Афины.

Или то был Коринф с его цветущим изобилием, с буйным весельем, с Плутосом и Афродитой, с театрами и тавернами? С древней и верной общиной, которая шаг за шагом и день за днем преображает этот мир и создает из Эллады — Византию? Странное слово, кстати, и откуда я только его знаю...

Нет, это был Рим. Единственный, неподражаемый и неповторимый, Владыка Вселенной. Именно там, и уже скоро, грубая власть и самоуверенная сила склонятся перед немощью Распятого, а легионы нанесут его монограмму на щиты и понесут ее до края земель, нести варварам Слово, а если Слова не примут — огонь и меч. Но я уже не увижу этого, да я бы и не одобрил. Первый Рим, единственный и неповторимый, а второго не миновать, а Третьего лучше избегать, и вообще Рим в степени N при N, стремящемся к бесконечности — дурная шутка арифметики.

Где я, на краю какой земли? Что за чушь лезет мне в голову?

Щебечут птицы. Стрекочат цикады. Пахнет шалфеем и лавром, сотнями трав, свежестью перелесков, нежностью холмов. Город остался позади, огромный, важный, ненужный. И совершенно безразлично мне теперь его имя.

Я поднимаюсь на холмик, поросший невысокими платанами. Солнце еще не слишком высоко, оно пригревает, прогоняет ночную сырость, но не томит жарой — это утро, это весна, это радость и покой.

Там, чуть поодаль, на лужайке пасется овечье стадо. Рядом с ним сидит юная пастушка — мои глаза потускнели от возраста и вечернего чтения, но вижу ее сейчас орлиным взором, до складок на ее простецкой одежде, до завитков темных кудрей, до стебельков трав, из которых она плетет венок. Рядом с ней — кудлатый пес, прикорнул, голову положил на лапы. А чуть поодаль неуклюже и смешно бегают годовалый малыш, ловит ладонями бабочку и смеется.

Я иду в их сторону, но не так, словно есть у меня к ним дело — я просто люблю радость жизни, этим утром и этим смехом, созвучным пению птиц. По небу лениво ползут облака, словно тоже не в силах расстаться с пастушкой. Идиллия Феокрита, ни дать, ни взять, и страна эта — счастливая Аркадия, вот ее подлинное имя...

Малыш падает и звонко ревет. Девчушка вскакивает, бежит к нему, поднимает, крепко прижимает к себе: «родненький мой, не плачь, все сейчас пройдет», — говорит она на языке всех мам на свете. Пес настороженно поднимает голову, смотрит в мою сторону, глухо рычит. И только овцы, бессмысленные овцы бродят себе по лугу, жуют свежую

траву, изредка блеют, роняют шарики помета, существуют, не сознавая себя.

И вдруг я вижу, как далека от Аркадии эта жизнь. Девочка, конечно, рабыня, ей лет от силы пятнадцать, и хозяин взял ее силой, а она не смела сопротивляться, он отвесил ей пару оплеух и сделал ребенка. Родила она, может быть, прямо тут, среди этих овец, как одна из них, и через день или два вернулась к работе. Он старый, кривоногий, он до доньшка выпьет ее молодость и силу, превратит к тридцати годам в старуху. Так овечек пускают на жаркое.

Пес болен и стар, у него нет сил даже на лай, его кормят очистками и шелухой, а он пытается служить и лижет ногу, которая отвешивает ему пинка.

Младенец будет продан, едва подрастет, потому что дела у хозяина пойдут неважно, и где-нибудь на руднике или на галерах вспомнит этот безоблачный весенний рассвет как сон, как несбыточную мечту о Елисейских полях, куда не пускают голодных увечных рабов, чтоб не расстраивать чистую публику.

Что могу я им сказать? Чем утешить? Я — праздный путник, свидетель короткого весеннего счастья и нескончаемого страдания, неизбывной боли, нищеты, унижения, преждевременной старости, неоплаканной гибели.

Но им сейчас — хорошо. Овцы жуют траву, пес снова уронил голову на лапы, юная мать целует младенца и нет прекраснее их в целом свете. Она дает ему тугую и нежную грудь, он приникает к ее теплу, захлебываясь молоком и восторгом.

И... все наши толкования, все поэмы, все статуи мира, все проповеди и все ритуалы — лишь тень этого блаженства, подобие этой красоты. И мы, повествуя о Рожденном в вертепе, воспевая Деву, что родила не от мужа — мы ведь просто говорим людям: остановитесь. Полюбуйтесь земной красотой, отсветом ее в последней простушке-пастушке, если получится у вас — не обижайте ее. Ради Вифлеемских яслей, ради Творца мира, пожелавшего стать смешным малышом — не обижайте.

К ним, счастливым и вечным, придут с мечом и кинжалом, с

костром на площади и пыточным застенком, с газенвагеном и расстрельным рвом (я не знаю, что это такое, но живущий в моем теле помнит смысл этих слов). Но уже никогда не будут насильники гордиться насилием. Будут его неуклюже оправдывать или стыдливо таить. И может быть, рано или поздно отвыкнут от него. Разве этого мало? Пусть научит их хотя бы этому наше христианство. Пусть научит нас.

Блеют овцы, щебечут птицы, ворчит пес, затихает младенец.

И плывут облака.

Я, кажется, вспомнил имя города, в котором мне пора просыпаться.

Май и маки

— Когда я впервые познакомился с покойным патриархом Пименом, он был еще псаломщиком...

Андрей Казимирович Чеславский вел у них спецкурс под загадочным названием «Западно-ионийское койне I века н.э.», но странное это название было нужно только для одного: большевиков запутать. Что первый век — никакого сомнения, что койне (простонародный, общий язык) — тоже, насчет западно-ионийского можно было бы и поспорить, а назывался так у них, заговорщиков, греческий язык Нового Завета. По сути дела, такой же курс по чтению авторов, как с Платоном или Гомером, но нельзя же было взять да и начать читать Евангелие с советскими студентами в аудитории советского ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного знамени (вроде, ни одного не пропустил?) университете — цитадели марксизма и научного атеизма!

Но для Чеславского — запросто можно. Родившийся в бурные революционные годы в Москве в польской семье, он рано осиротел и был воспитан московским дьяконом, на церковный клирос попал раньше, чем в советскую (а других ведь не было) школу. И был он — живым мостиком к той дореволюционной церковной жизни, к исповедникам и новомученикам большевистских времен, ко граду Китежу, что однажды скрылся в бурлении мутных сталинских вод, а ныне должен восстать во всей красоте.

Что там знакомство с Пименом, который казался вечным московским патриархом, пережившим Брежнева и почившим вот только недавно! Чеславский видел всех, всех русских патриархов двадцатого века, начиная с Тихона, хотя его не запомнил, еще был малышом — несмышленным, но уже воцерковленным. И вот малыш вырос, набрался ума и осторожности, работал везде, от сибирской школы до Московского университета, но где бы и что бы ни преподавал — рассказывал о христианстве, о православной культуре. Ходил ровно по той грани, за

которой увольняли, а в иные годы и сажали.

И значит, говорил обо всем подряд: читал на историческом факультете, где официально преподавал, курс лекций об архитектуре древней Руси, например. А это что? Это храмы! И значит, рассказывал о русском христианстве. Или вел виртуальную экскурсию по Вильнюсу, а Вильнюс у нас что? Правильно, древний польско-литовский город, столица единственного в СССР католического края! Значит, говорил о христианстве западном. Протягивал ниточку к нынешним временам, да не протягивал — был ей! Когда он познакомился с будущим патриархом — оба ведь были обычными парнями, пили чай с сушками, поди, и с девчонками целовались, не только акафисты читали. Что-то живое, настоящее, домашнее, московское, не вытоптанное подковами Первой конной, не вымороженное Колымой — корнями оттуда, из самого что ни на есть западно-ионийского койне. Христианство как опыт жизни, а не как набор громких фраз — как не хватало этого вокруг, как же это было ценно!

Теперь, в девяностом, конечно, можно было говорить вслух обо всем. Надолго ли? Чеславский пережил слишком разные времена, чтобы вполне довериться нынешним. И вот делали вид, что разбирают особенности грамматики этого самого койне. Для студента третьего курса подвиг не ахти какой, читать Гомера и Платона куда сложнее, так Чеславский формы с ними особо не разбирал. Ну что там и разбирать-то, ну сильный аорист с окончаниями слабого, вроде формы εἶλα, ну предлог εἰς в значении ἐν, да прочие неправильности. Словом, греческий с семитским акцентом — сходить на рынок, так там такое же западно-советское койне, там по-русски представители всех республик разговаривают слегка поперек грамматики.

Но какие зато Чеславский давал комментарии! Конечно, и Гомера, и Платона читали, комментировали и заново потом перечитывали с тех самых пор, как были написаны их первые свитки. Но можно ли встретить сегодня человека, для которого платонизм — не предмет изучения, а смысл жизни? О том, что никто нынче не верит в розовоперстую Эос и златокудрого Аполлона, уж и говорить нечего.

А Чеславский в Евангелие не просто верил — он ведь им жил. В этом не было никакой экзальтации, его вера была спокойной, уверенной

в себе, даже немного такой... ну, культурологической, что ли. Или просто так казалось, когда он рассказывал обо всем и обо всех как знаток? А еще у него был обычай: примерно раз в месяц совершал он воскресным утром инспекторский обход разных московских храмов: где как поют, где как читают. Сам-то он — маститый псаломщик с малолетства... А потом звонил настоятелям, делал замечания, где что надлежит исправить. И те прислушивались.

От него же Денис с изумлением услышал, что обычай петь всем храмом сначала Символ веры (да, он уже знал, что это такое!), а потом и «Отче наш» — сомнительное и недавнее нововведение. В юности Чеславского то и другое читал псаломщик, то есть он сам: хорошим, поставленным голосом, без малейшей ошибки. А теперь поют все кому не лень, гнусавят на любые лады, перевирают слова... Фразу «распятого же за ны», то есть «ради нас», путают с каким-то нелепым Жезаны, персонажем казахского фольклора, не иначе!

Пару недель назад рассказал он им, как посетил общину недавно рукоположенного священника Соколовского, который увлекался всякими новшествами — разумеется, ради возврата к благословенному прошлому. К богослужению относился исключительно серьезно, и когда звучал возглас «двери, двери», то двери действительно запирались, как в древней церкви, а особо назначенный привратник опоздавших не пускал. И Андрея Казимировича — не пустил! Единственный из всей православной Москвы! Тот, негодуя, попросил передать отцу-настоятелю привет от профессора Чеславского, и вечером он, разумеется, позвонил, долго извинялся. Но от укоров по поводу модернизма — у Чеславского вполне, впрочем, сдержанных и доброжелательных — это его не спасло.

Это поражало в нем, пожалуй, больше всего: он знал невероятно много, не стеснялся выносить на публику свои суждения, но совсем не торопился с тем, что на церковном языке (Денис уже это узнал!) называлось осуждением. Православный новоначальный люд, это Денис уже понял, всё про всех знал и приговоры выносил, как семечки щелкал. Из них каждый правильное православие из книжки вычитал — а Чеславский был горяч, но бережлив.

Некоторые его суждения поражали, а воспоминания — тем более.

Он, к примеру, помнил времена, когда завели новую моду: читать в храмах за литургией имена из записок, и живых своих родных, и умерших. Началось это, как он говорил, в войну, когда все молились за воинов на поле брани, за живых и за погибших, и чтение это словно собирало под сводами церкви всех, кто ушел и неизвестно, вернется ли. А теперь какая в том нужда, удивлялся Чеславский? Баловство одно и новшество! Вот когда он познакомился с Сережей Извековым, будущим Пименом, такого на Москве, конечно, не водилось...

Прочитать на том занятии они успели десяток стихов, не более. Зато Чеславский им поведал про долгую и полную компромиссов жизнь патриарха Пимена, про возможных новых кандидатов на патриарший престол. Очень ругал киевского митрополита Филарета, но не объяснял, почему, а хвалил Алексия из Ленинграда и говорил, что он — потомок древнего рода, вырос в несоветской среде, человек исключительно благородный и искренне верующий, что среди иерархов, увы, не само собой разумеется.

Всё было правильно теперь в жизни Дениса. Он воцерковлялся — приобретал опыт, квалификацию, навыки православного верующего. Главное — церковный образ мыслей! Учился в Универсе, конечно, тоже, но в меру, без фанатизма. Светская культура христианину необходима, но не должна подменять собой суть веры. Хотя и вера... она тоже нуждается в некоем внешнем выражении, будь то формы аориста в Евангелии или какие-нибудь закомары древнерусских храмов. Изучать их — дело правильное и достойное.

И даже писались сами собой стихи — несколько вечеров он возвращался к блокноту и пытался понять... нет, скорее прожить те самые времена, из которых был родом Чеславский. Они были настоящими, и злодейства творились не опереточные, но ведь и вера была настоящей. Причем у тех и других, у красных и белых. Хоть и очень разные то были веры. Он представлял себе зимнее широкое поле, на котором маками алеют свежие пятна крови, и кровь одинаково красная, как снег одинаково белый — для всех.

*Распалась опаленная земля
как глина от жары — но среди стужи.
И ветра вой: «Кому же нужен я?»*

И кто же нужен мне? Никто не нужен ...»

*И красное на белом — зимний бой,
и не остановит, и не остаться,
и конный строй несет тебя с собой,
взвивая снег под вьюгами гражданской.*

*Кто за кого? И кто же — за тебя
свечу пред Богородицею, если...*

*А конный строй уносит, не скорбя —
из топота и вьюг слагая песни.*

*Песни встали над прошлым,
и с песни рождается бой,
и наполнено сердце
восторгом незнанья конца.*

*И летели испуганно птицы
над белой землей —
так сердца их летели,
не веря в возможность свинца.*

*Мимо праздных полей,
мимо мелких житейских забот,
оставляя уют и уклад,
отдаваясь векам,
не щадя ни других, ни себя.*

*За какой поворот
эта скачка тебя занесет?
Если б знал это сам ...*

*Их тогда разделил океан,
у причалов — лишь тонкой нитью:
отплывающий эмигрант,
остающийся победитель.*

*И сжигая себя дотла,
только памятью жили люди:
о России, какая была,
о России, какая будет.*

*Их тогда разделила честь.
Но превыше знамен и чести —*

*что в России, какая есть,
их погибшие были — вместе.*

Вот теперь он обрел опору, начал писать настоящие стихи. Не про травушку-муравушку. Хотя... Что знал он про Гражданскую? Афган — и тот был ему знаком лишь по сбивчивым, неохотным рассказам тех, кто там побывал, и выходило всё очень непохоже на бравурные надрывные песни, под которые безногие молодые инвалиды собирали в электричках мелочь. Может, про траву сочинять — честнее?

Телефонный звонок выдернул его из той давней и чужой зимы, с тех севастопольских причалов — мама возилась на кухне, трубку пришлось брать ему, хоть и не хотелось выныривать в уютный перестроечный май.

Голос показался как будто знакомым, но... он его не узнал.

— Денис, приветствую!

— Здравствуйте. Вы...

— Аркадий Семенович. Не забыл?

Словно водой холодной облили. Уточнил невпопад:

— Который — чекист?

— Можно и так сказать. Поздравляю с принятием святого крещения!

— Спасибо... вы за этим позвонили?

— Не груби, Денис, старшим. Особенно тем, кто тебе добра желает.

— Извините...

А голос в трубке звенел, наливался силой, но почти неприметно, без грубости.

— Мы рады, что ты выбрал свой путь. Можно даже сказать — прислушался к нашим рекомендациям.

— Да я же... я же сам!

— Не сомневаемся. Просто хочу напомнить: если примешь — сам, разумеется, сам, — решение продвигаться по религиозной линии, окажем содействие. Сам видишь, перемены наступят скоро и в церковном управлении. Будут нужны молодые, грамотные, инициативные. И Тихомирова девочка хорошая, попадая из нее

получится на загляденье.

Предмет разговора срочно надо было менять.

— Аркадий Семенович, а можно вопрос по теме?

— Попробуй.

— Как вы полагаете... или даже знаете, ведь вам всё почти известно — кто будет следующим патриархом?

— Решение еще не принято, — ответила трубка предельно серьезно, и не уточнила, принимают ли его прямо на том конце провода или где-то еще.

— А что насчет...

— Насчет беспокойства Андрея Казимировича — крайне маловероятная кандидатура, скажу честно. Хотя и амбициозная, надо признать. Но видишь, времена нынче не те. Номенклатура брежневских времен...

— Спасибо, — как-то автоматически ответил Денис.

— Ну ты визитку-то мою сохранил?

— Ну да, — соврал он, сам не зная, зачем.

— В общем, если потребуется содействие в продвижении, или информация какая появится ценная — ты обращайся без стеснения. Напрямик.

— Да какая у меня информация...

— Мало ли какая! Сам решишь, ты парень умный. Ну, бывай. Успехов тебе в учебе! В церковной, так сказать, и политической подготовке!

И повесил трубку, едва Денис промямлил свое дежурное «до свиданья».

— Кто это был? — из кухни выглянула мама — я даже звонка не слышала.

Она обычно не интересовалась, но тут, похоже, у Деньки был слишком растерянный вид.

— Да так, один знакомый... Выборы патриарха обсуждали. Предстоящие.

— Деня, — мама поправила очки, — я пожарила на завтра

кабачковые оладьи, как ты любишь. Из тетень-Лидиных кабачков, она с дачи передала. Завтра ведь постный день, да? Вот как раз. И мне кажется... ты слишком ушел в это свое новое увлечение.

— Это не увлечение, мама!

— Ну все-таки. К ним даже есть сметана, хотя... ну да. Ну погреешь на подсолнечном масле, они в холодильнике на верхней полке.

А потом была зачетная сессия, сдали они ее быстро и довольно легко, никто особо не придирался, потому что в самом конце мая ждала их еще одна музейная практика, и называлась она — Херсонес Таврический, город в древнем Крыму, колония греков. И только после нее — экзамены!

Поезд долго тащился по душной весенней степи в алых брызгах цветущих маков, на горизонте поднимались синие прохладные горы, на станциях продавали вареную картошку и раннюю клубнику (но денег им хватало только на рассыпчатую картоху с укропом и крупной серой солью, да еще пару бутылок пивка холодненького прикупили на всех). А по радио союзный премьер Рыжков бесстыдно бубнил, будто цены в СССР что-то слишком для населения дешевые и надо бы их поскорее поднять.

Смеялись, болтали, спорили, но теперь-то, теперь, когда есть в России свой наполовину демократический Съезд и свой Верховный совет с Ельциным во главе — что нам цены, что Рыжков! А главное, мы молоды и мы едем — в Херсонес! В Тавриду, в Элладу, к Понту Эвксинскому!

Поезд прибыл на севастопольский вокзал уже затемно. Они вывалились веселой гурьбой в этот совсем другой, не курортный Крым (Денис в Севастополе был впервые), строгий, подтянутый, военно-морской. В него и не въедешь просто так, пришлось заранее оформлять каждому в московской милиции пропуск, и на одной из ближних станций его действительно проверил суровый матросский патруль! Как в ту самую Гражданскую.

У вокзала сели на троллейбус, и он пополз, с горки на горку, а в окна с правой стороны дышало сквозь белый неспящий город

совершенно черное море. В разрывах домов и деревьев то и дело проглядывала гладь бухты — той самой, кстати, где грузились последние врангелевцы! — а на ней стояли военные корабли. Проехали мимо памятника Нахимову, мимо Шестой Бастионной (кто жадно читал в журнале «Пионер» повести Крапивина, тот, конечно, поймет), а потом — пешком, с рюкзаками, по сонной улочке Древней до ворот археологического заповедника.

Разместили их для начала примерно как античных рабов: в маленькой подсобке вповалку на пляжных топчанах и продавленных ватных матрасах, изготовленных если и в нашу эру, то в самые первые ее века. Поспать, словом, особо не удалось.

Денис встал, едва рассвело. Ужасно хотелось выползти на белый свет, размять затекшее тело, проклиная суровые условия и негостеприимных хозяев, заодно и увидеть хоть что-нибудь античное...

А ничего не античного — не было. За их бараком начинались маки, море немислимых и бесконечных маков, расчерченных чуть поодаль линиями древних стен и редкими вертикалями колонн. И сочная, глубокая синева моря вдаль, и нежная голубизна новорожденного неба. Он бегом, как в детстве, бросился к берегу, поздороваться с солеными брызгами, с ароматом Эллады, с юностью и счастьем.

Плавки? Да какие плавки в шесть или сколько там утра! Спустился к морю, бросил одежду на камни, а сам — нырнул в зеленоватую прохладу, бурную, дышащую, живую. Раствориться, вернуться в эту первобытную, нежную стихию — словно в утробу матери, в бессловесное предбытие...

Он вылезал на солнышко мокрый и счастливый — и не сразу даже заметил, что на берегу не один.

— Как водичка?

На камне, запрокинув голову, стояла Алена — тоже, разумеется, без купальника. Руки закинула за голову, еще низкое солнце золотило ее тело, высвечивая каждую черточку, словно утренний нежный свет шел изнутри нее — и вспыхивал полуденным жаром.

— Что надо водичка, — ответил Денька с наигранным безразличием и стал смотреть на колонны, на маки, на что-то еще... Нет,

не получилось бесстрастия. Совсем не получилось. А когда на тебе нет трусов — это еще и невозможно скрыть.

— А чего глаза отводишь? — нагло хихикнула Алена.

— Я...

Все очарование моря, вся свежесть утра были смяты и отброшены.

— Я думала — вместе искупаемся. Нет?

Денька упрямо мотнул головой.

— Ну ла-адно, — сладко и хищно протянула она, вошла в воду рядом с ним, осторожно балансируя на камнях. Протянула руку словно бы погладить... а потом легонько шлепнула его, как малыша, с визгом обрушилась в набежавшую так кстати волну — и поплыла, нагая, одетая в пену и солнце.

Денька брел к своему бараку, бормоча какие-то обрывки наспех выученных молитв, и понимал, что новоначальный христианин Дионисий потерпел сокрушительное поражение. Маки, маки... вы свидетели позора!

А потом все как-то наладилось. И ночлег им дали другой, девчонок отселили в Дом колхозника у Центрального рынка (по пятьдесят копеек в день вызвался платить Универ), парней, кто хотел, в тот же Дом, а остальных — в сарайчик попримочней, с настоящими кроватями. Денька к колхозникам не хотел, тем более, что там была Алена. Встречаться с ней еще и вечерами, после раскопок и посиделок, пусть даже в гостиничном коридоре — это уже слишком!

Да и вообще, какая там Алена, когда перед ними, вокруг них, ниточкой из древности — Херсонес Таврический, он же Корсунь, город, основанный выходцами из Гераклеи Понтийской в пятом веке до нашей эры, в самые наиклассические времена! Он оставался греческим, римским, византийским аж до самого монгольского нашествия, и даже некоторое время спустя. Город был раскопан лишь частично, и тот слой, который археологи оставили открытым, относился к временам ранней Византии, на несколько веков позднее Оригена! Когда трава была зеленее, вода мокрее, а вера крепче.

И теперь можно было обо всем говорить открыто. Их водила по заповеднику девушка с чуть раскосыми глазами и смоляной косой,

Джамиля Азизова, лет на пять-шесть постарше их самих — научная сотрудница музея. Для начала показала им самую знаменитую из последних находок — баптистерий, крестильню при главном храме византийского Херсонеса. Если князь Владимир принял крещение именно здесь (в чем сильно сомневаются историки, добавила она), то, несомненно, именно в этой купели.

Купель сохранилась хорошо — небольшой бассейн, вроде того, в котором месяц с небольшим тому назад расстался с прежней своей жизнью (ну да, оказалось, что не совсем) сам Денис. Мрамора, конечно, уже не было, ну, или чем там он был облицован — но на самом дне был выложен свежий алый крест из вездесущих таврических маков. И было это дороже любого мрамора и позолоты: маки, живые маки из степи, обозначили место, где Русь обрела свою веру — и обретает ее снова.

Еще показала им подземную цистерну для засолки рыбы, которая была расширена небольшими углублениями в четыре стороны. Рассказала: это может быть свидетельством того, что в самые первые века здесь было место для подпольных собраний первых христиан, а потом, уже когда стало можно, его переоборудовали во вполне официальный храм: сделали алтарную апсиду на восточной стороне и три малых апсиды по бокам. К сожалению, это всего лишь гипотеза, но исторические источники вполне надежно сообщают: Таврида при римских императорах была Колымой, сюда ссылали государственных преступников, например, четвертого по счету римского епископа Климента. Он был на каторге в Инкермане, там до сих пор сохраняются остатки пещерного монастыря, так что доказать нельзя, но можно предположить, что именно тут, в этой самой цистерне, когда-то он собирался вместе со своими последователями.

А вот церковки и часовенки ранневизантийских времен определить очень просто: по этой самой полукруглой апсиде с восточной стороны помещения. Получалось, что были они прямо-таки везде, одно молитвенное помещение на три-четыре дома, не то, что теперь в мегаполисах: бывшая деревенская церковка на три-четыре спальных района. И трудно было представить, каким было это домашнее, простое христианство: в такую церковку много народу не поместится, там в пышном облачении не повернуться, дикириями-

трикириями (подсвечники такие особые, Денису уже рассказали) размахивать негде, стены зацепишь. Интересно, как это было?

Стояли рядом стены разбомбленного в войну Владимирского собора, уже совсем другого, имперского, конца XIX века. Вот есть же у империй такое свойство: своей тяжестью придавливать изначальное, настоящее. Впрочем, и в эти стены должна была вернуться церковная жизнь, и в Инкерман, где после двух оборон мало что осталось от монашеских пещер, и вообще всюду. Пусть не так, как в Византии, но здесь снова будут молиться.

А еще интересно стало: почему девушка с именем Джамиля им об этом рассказывает?

— А вы христианка? — спросил ее после такого экскурсионного дня Денис.

— Нет, — ответила она, — сама нерелигиозна, но из мусульманской семьи.

— А почему тогда... — и замялся, как это лучше сформулировать.

— Это же история моих предков! — с жаром ответила она, не дослушав вопроса, — я выросла в Узбекистане, в изгнании, а два года назад мы вернулись на землю предков. Я — крымская татарка.

— Но вы же...

— Мусульмане, да. Но не всегда же мы ими были! Основу крымско-татарского этноса составили половцы, но в него вошли, особенно на Южном берегу, выходцы из многих других народов: греков, аланов, готов. Мы коренные. Есть старые сельские кладбища, где самые древние могилы — христианские. Так что это история моего народа на моей земле.

Она говорила об этом так горячо и убедительно, что казалось: никакая вера во Всевышнего не станет для нее важнее веры в свой народ. И в самом деле, если жить из поколения в поколения на чужбине, не смея вернуться домой... Или просто человеку всегда нужно верить во что-то больше, чем он сам? Чтобы было, куда возложить маки? Крымские татары вот только-только, 18 мая, отметили очередную годовщину своей депортации... И сами, как маки, упорно прорастали корнями в родные крымские степи. Сколько их ни срывай — взойдут

снова.

— А давайте, — продолжила Джамиля, обращаясь уже ко всем, — давайте посмотрим древние пещерные храмы! Мангуп, он же столица княжества Феодоро, или Чуфут-кале, где жили караимы. Там еще недавно снимали фильм по Стругацким, «Трудно быть богом». Впрочем, Чуфут-кале и так почти все знают. А вот храм донаторов, или трех всадников... Отвезти, показать?

— Конечно! — единым вздохом,

— Только с начальством вашим договорюсь!

И договорилась. В единственный их выходной выпросила где-то микроавтобус, все желающие (хорошо, что Алена не желала!) в него погрузились, тряслись по разбитым дорогам, потом шли и местами даже ползли по скалам, мокрым от недавнего дождя — и вот оно! Огромная глыба, отколовшаяся от скалы в какие-то допотопные времена. И если только долезть до нее по скалам, если найти вход — внутри крохотный храм! Глыбу выдолбили, сделали внутри маленькую молельню — чтобы совершенно невозможно было увидеть ее снаружи, если не знать. Не такой ли должна быть и наша молитва, думал Денис?

Как жаль, что не осталось никаких письменных свидетельств... лишь кусочки фресок, не сбитые завоевателями, не отсыревшие под талыми водами. В одном храме — три фигуры на конях, в другом — люди, видимо, семья. Считается — донаторы, то есть те, на чьи деньги и строился этот храм. А может, зиждители? Может, сами и выдалбливали камень, расписывали его — рисовали сами себя, но не напоказ, а втайне?

На обратном пути в автобусе к нему подседа рассудительная и серьезная Аня. Пока Андрюха горланил всё подряд из БГ, про город золотой и старика Козлодоева, а остальные подпевали, можно было поговорить незаметно.

— Знаешь, чего Ленка не поехала?

— Алена?

— Ну. Не хочу, говорит, смущать нашего мальчика-зайчика, он меня стремится.

— Это она про меня?

— Про тебя, День. Ну что такое? Ну что ты Ленку обижаешь? Она...

ну она нормально к тебе, понимаешь? А ты...

— Да я просто...

— Ну ты просто подумай, ладно? Она не велела говорить, но в подушку рыдала всю ночь вот после того, как... А ведь у вас же раньше — ?

— Но я...

Не было у него ответа. Что говорить ей? Что теперь он православный и может только после свадьбы, причем — после церковного венчания? Аня, заранее понятно, что ответит: пальцем у виска покрутит. А в Питере, скажет, мог и так? И что изменилось? И почему Аленка должна из-за его православия рыдать в подушку?

Лучше не говорить ничего, чтобы не слышать этого ответа. Потому что... потому что и она будет по-своему тогда права. Показное православие за чужой счет не катит... а как надо? Надо-то как?

А рядом бурлил, кипел Севастополь.

На стене около центрального рынка вдруг возникла мощная черная надпись «Кому належить Севастопіль?» и схематическое изображение трезубца — кажется, то был символ украинских националистов. Вопрос казался довольно глупым: СССР он принадлежит, конечно! — а вот дурацкая буква і в названии дико раздражала. И, наверное, именно из-за этой буквы рядом с надписью тут же возник рисунок: бравый паренек в тельняшке отвешивал пенделя карикатурному хлопцу в вышиванке и с казацким чубом. Словом, дружба народов процветала под перестроечным солнцем, как и везде в Союзе.

В гавани бросил якорь французский фрегат, первый со времен Крымской... ой нет, со времен Гражданской войны. По бульварам небрежной походочкой шныряли смуглые красавцы в форменных беретах с помпончиками, причмокивали при виде девчонок, а те падали им под ноги штабелями, в самых лучших своих платьицах и боевом макияже, лямур-тужур.

И даже Николаев, закоренелый холостяк Николаев выпрашивал у замужней серьезной Ани, что лучше всего купить в «Детском мире» для новорожденного, ведь закрытый город Севастополь снабжался по

нынешним временам очень хорошо, в магазинах было почти всё, даже мясо в свободной продаже. Ну, а пеленки-распашонки там всякие — какие брать? Это, разумеется, не для него, а просто одна родственница... Видать, в семейной жизни Николаева назревали большие перемены.

А Денька чувствовал себя — ну не пришей кобыле хвост. Хорошо было в весеннем, летнем уже Крыму, но... скорее бы в Москву. К экзаменам, книжным шкафам и библиотекам. С ними ведь много проще, чем с людьми.

Да и маки в степи — отцветали.

Сон о свободе

Море не может надоесть. Каждый раз оно — иное, и каждый закат неповторим. Здесь, в Кесарии, Солнце, повинувшись на своей идеальной круговой орбите замыслу Творца, опускается прямо в морские волны — или, вернее, огибает земной шар. Но хочется все же думать, как в далеком детстве, что Солнышко на ночь уходит спать. Что Земля на самом деле огромный шар, подвешенный в пустоте — одно из тех чудес тварного мира, которым я не устаю удивляться.

Как же люблю я эти долгие предзакатные прогулки по берегу Срединного моря: слушать гул и ропот волн, впитывать солоноватый ветер, наблюдать, как клонится к горизонту пылающий диск (или оно — тоже шар?), как багровеет, как скрывается вдаль, чтобы осветить другие, нам пока не ведомые моря и страны. И там, верно, живут люди, они плачут и смеются, любят, страдают и умирают. Знают ли они о своем Творце, или нашим потомкам еще предстоит донести до них эту весть?

Море недаром сравнивают с богословием. Отец в детстве, когда ходили мы с ним купаться на пресное озеро, кричал: «Не заплывай далеко, утонешь!» Это повторяют и они, кто читает сегодня мои книги. Глупцы, они не знают, что человек не может утонуть, ибо он легче воды, и, как открыл еще Архимед, погружаясь, теряет в весе столько, сколько весит вытесненная им вода. В спокойных и теплых водах можно плавать бесконечно, если не пугаться, не барахтаться, не вдыхать вместо воздуха влагу. Нет, я не утону.

А есть еще притча про богослова, которая особенно нравится мне. Он шел по берегу моря, размышляя о Боге, и увидел малыша, что зачерпывал воду и наливал ее в ямку.

— Чем ты занят? — спросил его богослов.

— Хочу перелить море в эту ямку, — ответил милый малыш.

Богослов рассмеялся:

— Разве не видишь ты, насколько безбрежное море больше нее?

— Разве не тем же занят и ты, — сказал ему малыш, — когда

пытаешься вместить в свой разум Предвечного Бога?

Я не пытаюсь поставить Богу границ. Я радуюсь Ему, я дышу и живу Им. Я свободен.

И если встать над дальним обрывом, если раскинуть руки навстречу закату — кажется, ты летишь над бездной, прозревая дальние страны и все тайны мира. Бренное тело забыло, что ему седьмой десяток, ему снова семнадцать, нет, ему семь лет, мир открыт, прекрасен и удивителен, а мальчик — свободен.

Свободен. Спокоен. Уверен... не в себе, нет, а в Том, Кто направляет меня. Кусок хлеба, глоток воды, прекрасные люди рядом, любимое дело, насыщенная жизнь — что еще нужно? И всё это даровано мне в изобилии. Обещано нам много больше: не приходило на ум человеку, что приготовил Господь.

Юлия Мамея — мы беседовали с ней в Антиохии. Юлия Мамея, мать и соправительница императора Александра Севера, пожелала узнать о христианской философии, ей назвали мое имя. Властная и домовитая, прекрасная, невзирая на свои годы (мы ведь, кажется, ровесники), с цепким взором и гибким умом — она первой из всех женщин не только взяла власть над городом Римом и всем кругом земель, но и получила из рук Сената титул соправительницы своего малолетнего сына. Императрица, повелительница — не смешно ли звучит само это слово? Как женщина, тем более, сириянка родом, может вести за собой римские легионы? Но она стала императрицей. И легионы встали вокруг нее, оберегать покой, в ожидании, пока ее сын поведет их на парфян.

Мы бродили с ней по весенним садам ее дворца, мы беседовали о Боге и человеке. Что мог я сказать той, которую с почтением выслушивал сам император Александр Север? Сколько же было советчиков и охотников до власти ее и богатств!

Обрати, — требовали они, — обрати императрицу в христианство! Пусть она повлияет на сына. Мало нам того, что он позволяет нам жить, как нам нравится, нет, пусть перестроит капище Юпитера Капитолийского в храм Христа Воскресшего, пусть заставит наших недругов отречься от идольских суеверий или удалит их от себя. Пусть христианство станет дозволенным в империи культом! И только

христианство — добавляли некоторые, подумав.

Словом, пусть лишит других той самой свободы, которую мы вымолили для себя. Смешные, невежественные люди. Они ничему не научились.

Они не знали, что императрица уже стала христианкой после наших бесед. Там, в дальней купальне в ее саду, в окружении нескольких верных служанок — она вошла, прекрасная и нагая, в воду, и троекратно мои руки погрузили ее в смерть Христову, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, чтобы возвести ее к воскресению. Ее, и ее служанок, и тех, кто добровольно последует за ней — но не империю. Не легионы. Не время еще для них.

Христианство, говорил я тогда, есть прежде всего свобода. Свобода от смерти и греха, Христос искупил нас от них. Свобода от мертвящей буквы закона, от мелочного ритуализма. Свобода от насилия во имя Бога, от фанатизма, от уверенности в собственной правоте. Ты со Христом, и ты можешь быть слабой, нищей, ты можешь лишиться всего, даже внешних признаков этой самой свободы — но ты уже никогда не утратишь ее, пока ты с Ним.

— Ты будешь мне духовным отцом, Ориген, — говорила она, — я буду советоваться с тобой не во всех, но во многих государственных делах.

— Я не понимаю в них ничего, госпожа, — отвечал я с улыбкой, — и я еще, кажется, не перестал быть глупым мальчишкой, чтобы называться отцом кому-то, а тем более — той, что стала Матерью Рима.

— Ты философ, — уговаривала она, — пойдя же путем Платона, подай мне совет, как управлять.

— Даже будь я Платоном, — отшучивался я, — сын твой, госпожа, меньше всего похож на Дионисия Сиракузского¹⁷.

— Зато столь любимый тобой Аристотель воспитал другого Александра¹⁸, — не сдавалась она.

— Можно ли воспитать уже отменно воспитанного, госпожа моя?

¹⁷ Платон некоторое время был ближайшим советником Дионисия, тирана города Сиракузы, но их союз продолжался недолго.

¹⁸ Аристотель был воспитателем Александра Македонского.

Прикасаться резцом к статуе мастера — только портить ее. Не мне поправлять воспитание, которое дала новому Александру ты сама!

Мы расстались друзьями и единовѣрцами, я увез из Антиохии немного денег на дорогу и — книги, книги, множество книг для Кесарийской нашей библиотеки, которая, конечно, не сравнится с Александрийской, но всё же, всё же...

Мамея и Александр Север были убиты через год или два где-то в германских лесах, убиты восставшими легионерами. Мамею Сенат посмертно проклял — тот самый Сенат, который прежде возвеличил. Зато Александра обожествил. Всех императоров он обязан обожествлять после смерти, по должности. Сенат не свободен в своих решениях.

В римском дворце засел тогда мужлан и варвар Максимин Фракиец. Даже не сам — его втащили пьяные легионеры, посадили на престол как куклу, наугад, наудачу. Первый из них, из этих мужланов. А дальше... Максимин, Гордиан, еще один Гордиан... или даже трое их было, Гордианов? Нет, кажется, только двое, как и Филиппов, потом еще почему-то Бальбин, Сабиниан, какой-то Пупиен... Я не могу упомянуть всех, за кого беспомощно хватался Сенат, кого выкликал легионы за эти пятнадцать лет, когда «императоров» развелось, что грязи в придорожной канаве. И теперь еще вот этот, нынешний, имени его не хочется произносить.

Что мог я сделать, будь я даже провидцем? Отговорить Александра от германского похода? Тогда бы легионеры обвинили его в трусости и убили прямо в Риме. Повелеть воинам Рима назваться воинами Христовыми и истреблять неверных? Назвать заранее имена всех этих мужланов: обоих Гордианов и обоих Филиппов, зловредного Ульянова, мерзкого Бальбина, свирепого Джугашвили, несчастного Сабиниана вместе с Троцким и Дзержинским, кто там еще у них был, у этого пьяного и тупого сброда, и велеть их заранее развесить на крестах вдоль Аппиевой дороги или Колымского тракта?

Тогда бы утратил свободу прежде прочих я сам. А эти — они и не знали никогда, что есть свобода. Упоенные кровью и вином, вином и кровью, они думали, что ведут за собой толпу, а сами позволяли толпе тащить себя то на престол, то на плаху. Все, все они погибли скорой насильственной смертью. Или не все? Нынешний — еще нет. И про

Джугашвили я не очень помню, это варвар такой был с Кавказа, кажется, там, на Севере, в очередном каком-нибудь Риме войска и его выкликнули на царство. Жив ли он ныне? Или бывшие сторонники уже обожествили его смердящий труп?

Я гуляю вдоль моря, свободный от них ото всех. Я распахиваю объятия солнцу и ветру, а прибой лижет мне ноги. Я свободен и спокоен. В такие мгновенья кажется, что летишь, и удивляешься собственному телу: как бессмертный и беспредельный дух может быть ограничен этими дряблыми ногами в синих прожилках вен, руками в коричневых пятнышках старости, чахлой грудью с неровным частоколом ребер, уже давно облысевшей морщинистой головой? Неужели всё это — и есть я?

Нет, я свободен — или буду свободен! — и от этого смертного тела. А танец смыслов, мелодия чувств останутся вечными и прекрасными, как вечны закаты и рассветы, как вечно море — с тех пор, как сотворил их Бог вместе с нашими душами. Я свободен и вечен.

Глупцы, непричастные свободе, не могут признать ее за другими. И даже за Богом. Они спрашивают: «Ориген, спасется ли сатана?» Вижу только один ответ: Бог волен предложить ему спасение, он — как знать? — может быть, волен его принять. Говорить обратное значит ограничивать Бога: Господи, не смей делать того и этого, в моей голове это не уместается, в моем свитке написано, что так Тебе нельзя.

А Бог и есть сама Свобода.

Для таких христианство — частокол из правил, набор текстов, из которых они вычитывают лишь удобное и созвучное, привычность ритуалов, плетение никому не нужных невнятных слов ни о чем.

А ведь и это всё — свобода. Молитвы и посты, книги и песнопения, храмы и обряды — всё это верные, надежные средства. И как мастер создает статую или сосуд, используя свои приемы и свои инструменты, так и мы, по благословению свыше, созидаем свою жизнь и свободны в выборе средств.

Есть еще и такие, в наши смутные времена, кто покупает себе внешнюю свободу ценой отречения. Не мне судить их, после той горсти ладана в Александрии. Они приходят, когда и куда потребуют власти, они берут горсть зерна, или воробушка, которому уже заранее свернули

шею, или ту же самую горсточку благовоний — и кидают их на угли. Пахнет жареным и изменой. Позевывая и почесываясь, писарь переспрашивает:

— Как бишь тебя?

И выписывает маленькую такую штучку, называется libellus, «книжечка». И в той книжечке нет ни свободы, ни радости, ни знания, ни живого чувства, а только: «Я, такой-то такой-то, в присутствии кого надо принес жертву богам и впредь обязуюсь». Им даже лень писать, каким именно богам, да оно и неважно — лишь бы не Единому. Если бы эти боги и впрямь существовали, какой мертвящей скукой, какой потрясающей несвободой были бы для них эти мнимые жертвоприношения. Их алтари — как отхожие места, куда сбрасывают излишки, чтобы почувствовать телесное облегчение. А они в ответ обязаны, просто не имеют права отказаться, обеспечить Риму процветание и благоденствие. Боги как рабы своих нерадивых служителей...

Принес жертву? Молодец, теперь тебя не будут ни пытаться, ни казнить, иди отсюда, придурок. Если что, покажешь документ.

Примет ли таких Господь на Суде? Свободен принять или отвергнуть. Я бы спросил иначе: примут ли они сами Господа или устыдятся Его, когда минует и это поветрие, когда перестанут выписывать и спрашивать безумные эти документы? Философия об этом молчит, а наша свобода улыбается и пожимает плечами.

Но не настало ли, — думаю я, — время другого великого освобождения? Нет возвышенной и прекрасней эллинской философии, но не заключили ли мы Благовестие в тесные рамки аристотелевой метафизики, не сковали ли безбрежность Божественной свободы узами платонизма, не бежим ли вслед за стоиками и эпикурейцами, стараясь им подражать? Евангелие будет проповедовано даже до края Земли, какие бы ни жили там народы — обязаны ли мы обращать их в эллинизм прежде, чем примут они христианство? Вливают ли новое вино в мехи ветхие?

Каким будет христианство у этих скифов и массагетов, у

гипербореев, пигмеев, амазонок, кинокефалов с песьими головами?¹⁹ Каким будет оно даже и в этих краях через тысячу, две и три тысячи лет? Вот вопрос, на который у меня нет пока ответа. Они найдут его сами, эти люди, за которых тоже умер Христос, и первыми словами ответа будет «мы свободны». Но оно точно будет — другим.

И все же уже темнеет. Я возвращаюсь в город. Навстречу — несколько людей с факелами, в дрожащем свете поблескивает на них железо. Легионеры. Воины. Но не Христовы.

— Ориген Александрийский? — в голосе десятника не слышно и тени того уважения, к которому я привык. Но что это, право, за мелочи.

— Да, это я.

— Побегать за тобой пришлось.

Воин, что справа, отвечает мне тычка — не столько больно, сколько унизительно.

— Моя обычная прогулка. Вы не знали?

— Вот еще цаца, прогулки твои знать, — тот, что слева, отвечает пощечину.

— Я свободный человек и римский граж...

Удар под дых валит меня с ног.

— Гражданин, говоришь? — в голосе десятника издевка, — так вот, гражданин! По указу божественного августа Гая Мессия Квинта Траяна Деция, отца, между прочим, Отечества, всякий гражданин обязан — подчеркиваю, обязан! — принести жертвы богам и получить от властей в том письменное удостоверение. Ты приносил? Предъяви, гражданин, документ!

— Нет, — хриплю я, не вставая с земли, — подобает ли бить старика...

— Подобает, — пинок, и еще пинок.

— А ну, ставьте на ноги этот мешок с дерьмом и тащите, куда следует.

И, наклонившись, так, что вместо целительного морского бриза я

¹⁹ Народы (частью совершенно реальные, как скифы, частью мифологические, как кинокефалы-псоглавцы), которые населяли, по мнению античных авторов, дальние регионы Земли.

чувствую только запах гнилой отрыжки из его раззявнутого рта:

— Пройдемте, гражданин. Там разберутся.

Почему вместо римского шлема на нем фуражка с синим околышем?

Июнь и книги

Книжный шкаф стоял посредине широкого коридора. Резной, темный, наверное, из дуба — единственный в их квартире даже не предмет, а привет мебели из прошлой жизни. Такие делали до войн и революций — на века, для солидной семейной библиотеки. Достался он от каких-то давних родственников, а откуда взялся у них — Денис не спрашивал. Вроде, не было у них в роду профессоров (а шкаф был несомненно профессорским!). Зато еще до школы, как только научился составлять буквы вместе, он понял: за этими дверями из ажурного дерева и толстого стекла жили на массивных полках новые миры и пространства — путешествуй, открывай!

Всё детское стояло на самой нижней полке, оно и понятно: сможет сам дотянуться, вытянуть что понравится (только поаккуратней!), залезть с ногами на кресло и читать, читать, читать... До средних, а потом и верхних полок он дорос уже в школе:

— Ма-ам, ску-учно! Чего бы почитать?

И мама советовала. Иногда промахивалась, но почти всегда предлагала интересное. А что порой непонятно, так можно же додумать!

Лет в девять взялся по ее совету за похождения бравого солдата Швейка — это была увесистая зеленая книга с чудесными смешными иллюстрациями. Не все было понятно про эту странную какую-то дурацкую монархию, но какие же они были там все здоровские: эти хитрые солдаты, дуболомные офицеры и всякие забавные прохожие! Один раз в восторге от гашековского юмора зачитал маме отрывочек про то, как солдат рассчитывался с проституткой. Маму выбор именно этого отрывка как-то напряг...

— А ты понял, кто такая проститутка? — осторожно спросила она.

— Ну да, — гордо ответил Денис, — они еще в «Трех мушкетерах» были, там они дрались рядом с этим их монастырем...

Оказалось, проституток он перепутал с кармелитками и принял за монахинь. Никогда ни до, ни после он не слышал, чтобы мама так

заливисто хохотала...

Нет, конечно, книги обретались не только в шкафу. Если говорить об их квартире, то серьезные собрания сочинений стояли цветастыми рядами на югославской мебельной стенке в маминой комнате (она же большая, она же гостиная). Но это было всё не то. С настоящим деревом разве сравнится вот это вот химическое югославское нечто? С этой легкой шершавостью, с неповторимостью всех деталей и уголков — массовая штамповка? Полки тут важны почти как книги. Так что собрания он особо не читал, разве что Ильфа и Петрова, а потом еще раннего Чехова. Тоже было не очень понятно, но до чего же смешно!

Вот, кстати, про Чехова. Его Гаев, ну, из «Вишневого сада» — ну просто презренный болтун и позер, не так ли? А откуда это видно? Из его обращения к шкафу. Он там что-то такое про него несет, называет многоуважаемым, говорит, как шкаф поддерживал весь их род в трудную минуту, а ведь шкаф — наверняка не книжный, а платяной. Ну в лучшем случае вещевой, он оттуда телеграммы достает. Дурацкие телеграммы, а мог бы — книги! Точно бы тогда они поняли там все, зачем на свете жить.

А потом была Маминская библиотека — так он ее называл, вместо Ленинской. И в самом деле, то была не главная Ленинка, помпезная и советская, а уютный и старорежимный Румянцевский зал рукописного отдела — а для него как для сына сотрудницы было открыто еще и таинственное закулисье: хранилище, кабинеты, лаборатория, где заново оживали чужие жизни и мысли, где главное было — их описать, сохранить, передать потомкам. Чем не задача на всю жизнь? Именно там, в доме Пашкова, он понял, что жизнь его будет связана с книгами, и лучше всего не с такими, какие читают все.

Но главное книжное открытие ждало его все-таки дома. Лет в четырнадцать он не просто полез на самую верхнюю полку, а раскопал, что там прячется в ее глубине, ведь книги в шкафу, глубоком и древнем, стояли в два ряда, а кое-где малоформатные — и в три. Задвинутая массивными томами в самую-самую глубь стояла брошюрка с незнакомым именем автора: А.И. Солженицын — и банальным названием «Один день Ивана Денисовича». Издание было советское, и можно было ждать, что день этот — про колхозы и прокатные станы, про

новые победы строителей социализма и происки недобитых врагов. Дениска ее лениво полистал...

Часа через два или три — времени он не замечал — он поднялся с кресла другим человеком. Не то, чтобы он никогда прежде не слышал о сталинских лагерях, конечно, об этом говорили, и даже на школьных уроках что-то такое мелькало про «искажение социалистической законности в период так называемой ежовщины». Но то была дальняя Антарктида, давние сказания о Чингисхане. Ну, он помнил, что двоюродный дедушка, то есть мамин дядя, был в конце тридцатых арестован, из лагеря так и не вернулся, но об этом старались особо не вспоминать. И вдруг — Иван Денисович, живой и настоящий, может быть, сосед по нарам того самого дедушки, что сгинул в мороке сталинских репрессий.

Это теперь, в Перестройку, о таком стали говорить — да что говорить, кричать! Напечатали Солженицына, Гинзбург, Шаламова. Да, Шаламова так и вовсе невозможно было читать, не хватаясь за сердце. Кажется, почти полвека прошло — и страна только теперь нашла в себе силы ужаснуться прошлому, заговорить о нем, выплакаться и проораться.

И Денис — да, он ведь тоже теперь написал об этом стихи. Посвящение кому-то безымянному, вроде памятника Неизвестному солдату, вроде надписи в Феромопильском проходе. Надгробие тому, кто был лишен погребения... Он понял всё это еще тогда, в четырнадцать лет, в последнем брежневском году, но выразить в рифмованных строках сумел только теперь:

*А я был из тех, кто на пятой неделе допросов
им всё подписал и не спасся упорством молчанья.
А я был из тех, для кого не пропели колеса
десятку без права — к Сибири, в товарных, ночами.
А я был простым человеком Советской державы,
и в этом году мне б исполнилось лишь двадцать восемь,
а я не оставил ни дома, ни сына, ни славы...
А я был из тех, по кому прокатились колеса.
А люди хрипели: «Да здравствует Стали...»
И проще:*

*женское имя роняли и матерно крыли
бойцов безучастных.
Страшней, что на Красную площадь
(о снег этот красный!)
живые шеренги ступили,
что лозунги рдели и песни слагались на воле,
и это безмолвие неба над местом расстрела...
А смерть всё гуляла,
смерть всё гуляла по полю,
а жизнь по стране — всё кипела, кипела.*

Этих своих стихов он даже немного стеснялся: ведь это теперь уже всем понятно, в каждом номере «Огонька» или «Нового мира» еще и не такое встретишь. Кто он, чтобы об этом писать? Но молчать не получалось. А тогда, в последний брежневский год небольшая брошюрка, «Один день Ивана Денисовича», для четырнадцатилетнего Деньки перевернула — всё и навсегда. Там, за стенами их старого дома текла и местами даже будто бурлила бодрая (как им рассказывали) советская жизнь — а на самом деле была она сморщенной и вялой, как колхозный огурец из овощного на Петровке, как болото, подернутое ряской и тиной. Это потом уже придумали слово: «застой».

Давно стало ясно: старый книжный шкаф раскрывал дверцы в иную реальность, куда более настоящую и убедительную, чем та, что фырчала в телевизоре, нудила в школе, болтала на переменах и вообще жила за окном. А вдруг и сейчас так? С его православием? Вдруг и оно — не настоящее?

Ему говорят — ну, батюшка Арсений говорит, еще всякие люди вокруг: будь хорошим мальчиком, почаще исповедуйся, причащайся, не шали. Церковная жизнь — она такая вся круглая и хрустальная, такой волшебный шар, внутри всё целостно, всё равноценно, одно вытекает из другого, святые отцы так нам открыли, осталось только вписаться — и будет тебе святость. И Вера та же, ну которая Тихомирова, и она... хотя нет. Вот Вера — нет. Не торопилась она с такими словами. И ботинки свои армейские сменила весной на изящные сандалетки. И кофту эту цвета погибших надежд больше не надевала.

Но про святость — точно ли так? А вдруг и это — как развитой

социализм, как все эти идеалы, страшно далекие от народа, декларативные, никчемушные? Сначала Денис от себя такие мысли гнал, а потом понял, кто даст ему ответ.

Нет, не книжный шкаф. В нем про православие ничего не было. Был Новый Завет, еще дореволюционное издание, купленное родителями когда-то давно за трояк у пьяного ханурика, Денис давно уже прочитал Евангелие, теперь пытался грызть всё остальное, но складывалось как-то плохо. А главное, было непонятно: а как вот этот вот текст соотносится с тем, что происходит в церкви? Вот утренняя, вечерняя, все эти посты и сложные на первый взгляд правила — они же в Евангелии не прописаны, и дальше в Новом Завете о них ни слова. Откуда это всё, в этом ли христианство? Нет, яти и еры дореволюционной печати ничего про это не говорили.

Была еще в шкафу «Забавная Библия» Лео Таксиля, Денис ее в те же подростковые годы полистал, да и забросил. Таксиль над Библией издевался, и притом очень глупо. Денис тогда понял только одно: если это единственное, что могут Библии возразить атеисты, лажает этот их атеизм. Не убеждает. Но тогда он этот вопрос для себя на время оставил, а теперь, после крещения, торжественно вынес Таксиля на помойку: в доме новоначального христианина таким сочинениям не место!

В общем, в этом деле шкаф вдруг оказался неважным помощником. Книжные магазины — тем более, даже букинистические. Ну, купил Денис в Камергерском переулке парочку томов «Памятников литературы Древней Руси» под редакцией Лихачева, да ведь и это было далеко не начало. Русь получила Православие в готовом виде, ну вроде как МакДоналдс на Пушкинской в январе открыли — и ходили в него теперь москвичи как в зоопарк, всей семьей в воскресенье, и по два часа в очереди стояли, лишь бы кусочек Америки на язык положить, посмаковать, а еще «быстрое питание», называется! Денис, правда, еще там не был, как-то не тянуло. Так вот: православие нашим предкам досталось сразу в византийской сборке. Кто и как его собирал? Где об этом почитать?

Даже книга Меня о православном богослужении, которую Вера нашла, она была — ну, как меню этого самого МакДака (так его продвинутые москвичи называли). Там было всё про сложившийся

порядок. А откуда оно всё взялось? Кто первым догадался котлеты в булках плющить, и зачем это им?

Степанцов посоветовал Болотова, четырехтомник по истории церкви. А еще, чуть помедлив — книгу Карташева о вселенских соборах. Только, предупредил он, там новоначным может быть соблазнительно.

Ага! — понял Денис. Значит, у Карташева-то все самое главное и будет! А что соблазнительно — так значит, по-взрослому. Уж этому их на филфаке научили задолго до третьего курса: вдумчиво читать тексты и не слишком доверяться первым впечатлениям. Древность — она другая. Она разная, но в любом случае совсем-совсем другая, чем то, что вокруг нас. И весь смысл классической филологии, как уже понял Денис — строить мосты. Не упрощать и не уплощать, не притворяться, будто всё понимаешь, а выстраивать с текстом свой сложный диалог. Называется — филология!

Да, но где книги-то брать? У Веры ни Болотова, ни Карташева не было. Оставалась библиотека. Та самая, Синодальная, которая в Даниловом монастыре. Выбираться туда часто не получалось, тем более, во время сессии, но, по счастью, прямо от Универа шел туда 39-й трамвай — старенький, уютный, дребезжащий. Сдал очередной экзамен или на консультацию ходил — занимай на конечной местечко у окошка, и пусть весь мир подождет. Пока едешь, готовишься к экзамену, приехал — а там Карташев!

В библиотеке, сначала для порядка, Денис спросил первый том Болотова и вздохнул с облегчением, когда узнал, что он выдан. А вот Карташев — был! Священное парижское издание еще 1963 года, Дениса тогда и на свете не было. Он примостился к столу у окошка, достал тетрадку для выписок (пригодится что-нибудь к следующей курсовой!), бережно раскрыл потрепанный том...

Всё начиналось не с самого начала, не с Евангелия. И всё равно было важно понять, как это сложилось — ну, тот самый Символ веры, о чем он и зачем. Итак, арианские споры — это Денис уже неплохо себе представлял. Христиане изначально верили, что Отец, Сын и Святой Дух — одна сущность, но три ипостаси, Они равны и нераздельны. А Арий считал Сына сотворенным и вторичным по отношению к Отцу. Разве это

не ясно? Указали Арию на его ошибки, он отказался их признать и был анафематствован. Всё, поехали дальше.

Ан нет! Карташев описывал всё это так живо и так... политически, что ли, словно речь шла о каком-нибудь очередном Съезде народных депутатов. Дряхлеющая империя, государственное признание церкви и ее взрывное распространение (да не то ли и у них нынче в СССР, с этой модой на православие и прочую духовность) — и в результате горячие споры о самой сути. А главное, множественность культур! Арианство — это, оказывается, атака эллинизма на раннее христианство. Ну не могли эти эллины признать одну сущность и три ипостаси с этой их эллинской логикой, с их пантеизмом и платонизмом. Нужны посредники — вот и Сына определили в них, это еще от гностиков, ага.

И кстати... сущность и ипостаси — это же эллинские слова, от Аристотеля. В Библии такого нет. Получается, чтобы преодолеть искушение эллинизмом, надо было переложить библейское Откровение языком Аристотеля? Хм... не победа ли это эллинизма в конечном итоге?

А вот и Ориген появился у Карташева, прямо почти сразу! Его уже давно не было в живых, когда состоялся Первый вселенский собор, но ведь споры, споры-то велись, и Ориген стоял у самых истоков.

Фраза была такой вкусной, что Денис раскрыл свою перьевую ручку (дешевенькую, китайскую, но уж больно он эти перьевые любил!) и вписал с указанием страницы, готовая цитата для будущих работ: *«яды эллинизма сильно давили и на сознание титана Александрийской богословской школы, великого Оригена».*

— Ориген, — мысленно обратился к великому старцу Денис, — ты понял? Карташев тебя вон куда определил — в великие титаны. В отцы-основатели, можно сказать. Но яды эллинизма, вишь ты, давили. Недопонял ты, выходит, не оценил, не принял православную догматику сразу, как надо. Словно какой-нибудь Бунин Октябрьскую революцию. Старался-старался ты, систематизировал для них всё, создавал, можно сказать, экзегетику как метод, а тебя вот так приложили.

— А чего и ждать, — Ориген отвечал как бы изнутри самого Дениса, голос его не был слышен, но угадывалось каждое словечко, — потомки

всегда подправляют предков. Что же до эллинизма — чего они хотели от уроженца Александрии? Чтобы я заговорил с ними по-египетски? Я-то сумел бы, да что бы они поняли... И был ли в ту пору для выражения христианской истины философский язык точнее и удобнее эллинского? Вытравить из христианства эллинское — значит, отказаться от самых его основ, переписать Евангелие на какой-нибудь другой манер. Кто рискнет попробовать?

Дениса ничуть не смутил разговор с воображаемым Оригеном. Так даже интереснее! Вот и у Карташева чем дальше — тем больше. *«Логос евангелиста апологеты, естественно, понимали и толковали в смысле эллинской философии. Второе препятствие состояло в прикованности Иоанновского Логоса, как орудия творения („Все через него начало быть“, Ин. 1:3), к несовершенному ветхозаветному олицетворению Премудрости („Господь создал меня“, Притч. 8:22). Эти два препятствия тяготели над ранней христианской греческой мыслью».*

Эту цитату Денис выписал тоже, но смысл ее понять сразу не смог.

— Все просто, — голос подсказывал, не голос даже, а легкое предчувствие голоса, как в детстве, когда беседуешь с кем-нибудь несуществующим, например, в шуме дождя различаешь слова неведомого языка, — сей мудрец, Антоний Кыштымский, имеет в виду, что наши апологеты, раскрывая внешним притягательность нашей веры, неизбежно всё упрощали, а где упрощение, там приблизительность и неточность.

— То есть?

— Ну вот смотри, римляне обвиняли нас, что мы вводим новых богов, а это у них запрещено. Эллины наше учение презирали как нечто новое и неосновательное. Иудеи насмехались, будто про Христа ни слова в их писаниях не сказано. И вот наши апологеты — те, кто обороняли нашу веру от невежества и злобы — нашли цитату в Притчах древнего царя Соломона.

— Ну ты же понимаешь, что это псевдэпиграф? — Денису хотелось выглядеть поумнее, — что сам Соломон этого не писал, что он, так сказать, лирический автор, как Белкин в повестях Пушкина?

— Это неважно, — отмахнулся Ориген, — в общем, нашли в древней

и славной книге строку про Премудрость, которой был сотворен весь мир. И справедливо заметили, что это сказано о Христе.

— Так и любую цитату можно к Нему подогнать, — возразил Денис.

— Почти любую, и это будет справедливо, потому что всё творение указывает на Творца, а всякое мудрое слово возводит нас к источнику Премудрости. Так вот, они прочитали ее слишком буквально. Знаешь, как невежественные люди, читая в Писании о деснице Божией или Его очах воображают, будто Бог обладает руками и глазами, подобными нашим. А дальше заезженная метафора быстро становится самоценной, люди повторяют чужие слова и думают, будто самую суть.

— О, точно, — обрадовался Денис, — вот тут Карташев про тебя пишет: *«Ориген значительно возвысился над апологетами»*. Преододел, так сказать, буквализм с помощью аллегорического толкования. Все-таки уважает! Хотя как тебя, дедушка, не уважать...

— Все-таки и я пострадал за веру, — смиренно ответил тот.

— Расскажешь, каково это? — осмелел Денис.

— Ты вряд ли поймешь... — грустно ответил он, — такие вещи... их поймут по-настоящему только те, кто через них прошел. Спроси тех из твоей страны, кто лично пережил пытки. Их рассказы будут тебе понятней моих. Хотя... боль — она во все времена боль.

Денис замолк, ему стало стыдно. То есть... ну он вообще-то рта и так не раскрывал — просто перестал с Оригеном беседовать.

Зато целиком погрузился в Карташева. Раскрыл оглавление, нашел главку «Оригенистские споры», аж присвистнул от удовольствия и быстро перелистал книгу именно до этого раздела. И — мама дорогая! — о чем это все? Калейдоскоп каких-то имен, странных подробностей, и ясно только одно: спустя век или два после смерти Оригена сказанное им оставалось предметом самых горячих дискуссий. Ну прямо как Бухарин какой-нибудь! Как его трактовать, что он там сказал верно, а что напутал? А главное, с какой это делалось злобной страстностью, как эти люди Евангелие вообще могли потом брать в руки:

«Феофил вскипел, набросил на шею Аммония свой омофор и начал душить и бить его, приговаривая: „Еретик! говори скорей анафему Оригену!“ Монахи в страхе убежали к себе в пустыню под прикрытия своих

собратьи... А Феофил испросил у префекта высылку из Нитрии трех братьев Долгих и, не откладывая, самолично отправился целым вооруженным походом в Нитрию. С ним были и епископы, и полицейские чины, служки и толпа уличных бродяг-громил».

Что, и это на память выписывать? Ну уж нет... Бродяги-громилы как богословский аргумент! Ориген, ты слышишь? Но Ориген молчал.

Он сдал книгу и вышел из библиотеки. Домой можно было доехать на том же самом 39-м до самых Чистых прудов, а там — хочешь еще на метро пару остановок, а хочешь — даже и пешком. Правда, у Данилова монастыря, в самой середине маршрута, место свободное уже не очень-то и найдешь, да и время к вечеру... Но можно встать где-нибудь в самом конце вагона, прижаться к стеклу, смотреть, как проплывают за окнами переулки и подворотни, и мысленно беседовать с Карташевым. Или с Оригеном. Даже еще не известно, с кем из них интересней!

Кстати, почему Ориген называл Карташева Антонием Кыштымским? Что он Антон — это точно. А Кыштым... причем здесь это? Надо будет справиться у кого-нибудь знающего. Ну хоть с Веры начать.

Денис шел по широкому монастырскому двору, где никогда не бывало пусто: то нищие, то сумасшедшие, то просто чиновники церковные, в рясах и без (в монастыре помещался отдел «внешних сношений», то есть МИД церковный), а за общим порядком следили казаки в опереточной какой-то форме. Но за чем тут уследишь? Разве чтоб не было кощунств там каких, либо хулиганств. А что возле церкви всегда странный народ ошивается, это уж Денис давно понял.

Странненькие люди выплескивались и за монастырскую высокую стену, а может, наоборот, оставались там, вовне, не сумев проскочить мимо ряженных казаков. И было рядом с такими на остановке... ну как-то неуютно, что ли. Вот и теперь: бабка в сбившемся платке, от нее пахивало мочой, бледный юноша с молитвословом в руках и явным психическим заболеванием в анамнезе — вот это вот всё... Трамвая пока видно не было, Денис малодушно решил вернуться на остановку назад — тогда, глядишь, и место у окошка сыщется. Или просто не хотелось рядом с этими блаженными рядышком стоять? Нет, эту мысль он от себя гнал. Даже решил, что бабушке место точно уступит, если другого не

найдется.

Обрывок разговора долетел до него случайно. Двое стояли у самой стены, переговаривались тихо, но не так, чтобы шептались или секретничали. Просто отошли в сторонку перекурить...

Денис походя скользнул по ним обоим взглядом, ничего не заметил, хотя... Одно из лиц показалось знакомым. Ну вот то обычное полуузнавание рядом с храмом: то ли стояли рядом на всеобщей мессе назад, то ли просто лицо типичное, православное такое лицо. И эти двое мазнули по нему небрежным взглядом, прикусили обрывок разговора. Но слишком уж не терпелось им договорить — едва Денис отошел шагов на пять, сзади донеслось:

— Так что недолго ему землю русскую поганить.

— Бычара дело знает, — отвечал другой, — не уйти ему.

Это «не уйти» стегнуло плетью. Денис вспомнил: Рождество, битком набитый храм, тот придурок с невнятным, словно зажеванным лицом, тусклым и злобным голосом... Он же — или показалось? — на лекции батюшки Арсения. И вот опять — то же лицо! Или нет?

И что, что это за разговор? Кто такой Бычара, о чем они вообще? Развернуться к ним, наброситься, спросить? Так не ответят. Еще, пожалуй, и... А может, просто треп? Мало ли безумцев на свете? Что, на каждый злобный выкрик в драку бросаться, на каждое шипение за спиной? Не-ет, у него Ориген, у него Карташев...

А тут и трамвай вынырнул из-за поворота — в нужном направлении, в центр, домой. Если бегом, можно было бы успеть к прежней остановке, вскочить, забиться в угол со своим Оригеном, ехать, не рассуждать, бояться. Только для этого придется пробежать мимо тех двоих. И снова сделать вид, что не услышал их разговора.

Денис, что было ног, рванул на другую сторону улицы — обратно к Универу ехать. Это ведь около него, в просторных квадратных дворах Ломоносовского, как раз недалеко от трамвайной остановки, именно там была мнимая дворницкая, та гебешная явочная квартирка! Найти, найти ее.

Визитку Аркадия Семеновича он тогда порвал и выбросил сразу, позвонить ему не сможет. Рассказать об услышанном: ну, в лучшем

случае пьяный треп, безумный бред. А в худшем, и очень вероятном худшем случае — подготовка убийства. И уж наверняка смогут они найти того развязного придурка, допросить...

Как?! — взрывалось всё внутри. Ты станешь доносчиком? Ты будешь не просто помогать чекистам — будешь докладывать им об услышанном разговоре?

Ну да, — отвечал сам себе Денис, — если речь идет о чужой жизни и смерти... И потом, как говорилось в одной проповеди, не напрасно начальник носит меч, если ты творишь добро, он тебе не страшен. Может быть, не стоит видеть везде рассказы Шаламова да повесть Солженицына? Да ведь уголовных — и они не жаловали?

Как все-таки глупо он выбросил тогда ту визитку!

Трамвай подошел минут через пять, а потом долго и нудно дребезжал, за окном неторопливо плыли то промышленные зоны, то невзрачные жилые дома. Трамвай обгоняли жигули, а порой даже пешеходы — и Денис мучительно размышлял, что же он скажет гебешнику, или даже не ему, а какому-нибудь дежурному на этой их оперативной квартире, когда наконец-то ее найдет. Что подслушал разговор двух чудиков и придумал, будто готовится убийство? Что обчитался своего Оригена и сам уже поехал кукухой?

А и ладно. Он расскажет, как было, а там пусть сами решают, кто сумасшедший.

Под вечер июнь разразился дождем, и Денька промок до нитки, мотаясь по дворам. Он пытался повторить свой давний зимний маршрут — и не мог. Проживший всю сознательную жизнь в пределах Бульварного кольца (родителям дали эту квартиру, когда ему было всего четыре), он помнил тамошние дворы на запах и вкус, они были тесными, немного грустными и все — неповторимыми. А эти длинные проходы между геометрическими фигурами домов по Ломоносовскому, по сути, не дворы, а маленькие скверы, откуда дождь выгнал малышей с лопатками и подростков с сигаретками, влюбленные парочки и любопытных старушек — и спросить-то было не у кого! А что и спрашивать: «Где у вас тут конспиративная квартира КГБ»? Ну точно тогда отправится он прямиком в дурдом.

Не было нигде той сторожки, той дворницкой, той потайной дверки в параллельный мир. Были похожие — жестяные, щербатые, закрытые на амбарный замок или просто запертые изнутри. Стучал — не ответили, в одном месте обругали. А дождь все не кончался, и был в этом, пожалуй, знак: твой — Ориген. Этих оставь.

Денька брел к метро «Университет» мокрым, простуженным и несчастным. Тоже мне, следопыт, Калле-сыщик, Шерлок Холмс недоделанный... Завтрашним утром — ему на экзамен по истории древнегреческого языка, и казалось бы, можно потом сюда вернуться, можно попробовать заново поискать, начать от той самой ветеранской каморки, в которой они начали заниматься в Университете цивилизаций, заглянуть в каждую арку, облазить каждый закуток. Но он уже знал, что этого не сделает.

Аркадий Семенович, ты меня победил, — думал он, спасаясь в метро от ледяных струек за шиворотом, уже не надеясь, что дома горячий чай отгонит простуду. Ты заставил бегать за тобой, Семёныч, дьявол ты чекистский — и даже не позволил догнать.

СОН О МОЛИТВЕ

Я лежу на спине на прохладном жестком полу. Мне, кажется, предлагали подстелить верблюжье одеяло, но они не знают: боль отступает, только когда я лежу на жестком. Она не исчезает, уже никогда не исчезнет, она будет грызть изнутри, пока не сожрет мое тело целиком. Но если лежать ничком на жестком, она отступает на время.

Ты же не обидишься, Господи?

Скоро настанет утро. И собаку Деция так кстати убили варвары-готы. В Риме правит... кто-то другой. Я забыл имя, надо будет переспросить, его же надо помянуть в молитве. Ничего, мне напомнят.

Скоро утро, я поднимусь, я встану перед Твоим престолом, как прежде — стоять я могу, и даже ходить понемногу. Я пробовал. Сидеть вот не получается никак, это да.

Я встану перед Твоим жертвенником, я принесу бескровную жертву. Нет большей радости!

Нет больше радости. Нет ее. Есть боль. Есть пустота. Себе-то не ври, Ориген.

В темноте и боль притаилась, словно те высокие фрески: если открыть глаза, видны только смутные пятна, там, куда уходят колонны. Но разум помнит, он восстановит фигуры, незримые глазу, теперь даже и на дневном свете. И даже лучше: если помутнели краски, как сами мои глаза, если замазал их штукатур-язычник, оплела паутиной разруха, закоптило факелом запустение — я же помню, я вижу их свежими и прекрасными, как в тот день, когда впервые вступил я под своды кесарийской базилики, не ведая ни страха, ни печали, ни сомнения.

Вот там, немного правее — там Иона, низвергнутый в бездну моря и рыбью пасть, и чуть подальше — он же, голубиный пророк, на холме под чудесным деревцем, в ожидании гибели распутного града. Как и я, Господи — я вернулся в эту Ниневию из темницы, чтобы нести ей слово. Но я ее, кажется, совсем не люблю. Она слишком легко забывает камнями, забрасывает словам, забывает и торопится дальше жить и

веселиться.

А вот там, слева — там Авраам с занесенным ножом, связанный Исаак на алтаре, ангельская рука в запрещающем жесте, жертвенный барашек поодаль. Я так привык, Господи, говорить каждый раз, что это тоже был Ты — тень Твоя, предвестие Твое, лучик Твоей предвечной зари. Ты в старце Аврааме, ты в связанном мальчишке Исааке, ты в жертвенном овне и в жесте ангельской руки. Ты везде и во всем. А где теперь я?

Нет ничего, кроме прохлады и жесткости каменных и шершавых плит. И даже боль отступила. Будет утро, и будет престол, и новая бескровная жертва. Я встану на ноги, если смогу. Но буду ли в том — я? Тот прежний Ориген — не остался ли он там, на гнилой соломе постылой тюрьмы? Не тень ли я — себя, прежнего?

Пусть владею пророческим даром, пусть ведомы мне все тайны и всё знание, и вера моя такова, что могу и горами двигать, но если нет во мне любви — я ничтожен.

Слова Павла сами приходят на ум — родные, любимые, сколько раз читал я их, замирая от трепета. Сколько раз толковал и разъяснял перед собранием верных... Я могу прочесть их на память сегодня. Я повторял их в темнице, я спасался ими от боли, пока она была острой и злой, пока еще отступала через день или два после пытки. Я помню их наизусть. Но боль я помню еще вернее.

Что Ты хочешь сказать мне, Господи, зачем приводишь это на ум — теперь, когда я лежу в Твоем храме, нищий, нагой, беспомощный и бездомный? Веры, двигающей горами, не было во мне — и теперь остались едва ли крупинки. А что до знания — Ты же знаешь, я не гордился им, разве только в самой ранней юности, а юности свойственно ошибаться. Меркнет и разум, как меркнут очи. Мне прочитали однажды там, в месте мучений, нечто из длинного свитка, нечто прекрасное и святое. Я не узнал этих слов. Их писал Ориген Александрийский — тот, кем был я прежде, до плена, до боли, до безумия.

Чуть слышен запах ладана. Запах слабости и унижения. Им долго пахла правая моя ладонь тогда, еще в Александрии, и не могла этого

запаха оттереть никакая щелочь. С тех самых пор каждая щепоть благовонной аравийской смолы, где бы и кто бы ни бросил ее на угли, возвращает пусть не в тот самый день, но к памяти о том, что он был. Стереть его я, как и боль — не могу.

Гогочущие, озлобленные рожи. Звериные хари. Так, наверное, нельзя говорить о них, да вообще ни о ком — но как сказать иначе? Нет, они не были злыми людьми. Им просто сказали, что можно. Можно бить, обзывать, плевать в лицо. Это угодно их идолам, которых они зовут богами. Это было еще в Александрии.

И всё это было ничего, я был к тому готов. Но похотливые взгляды того эфиопа... «Какой молочный поросенок-красавчик! Мне бы его на закуску!» Я задохнулся тогда от стыда и позора. Говорил себе: ну и что, по заслугам, ты однажды утолил свою похоть с девочкой-рабыней, теперь узнай, каково ей было. Простая справедливость, не более того.

И все-таки, все-таки... Он был даже добр ко мне, тот жрец Сераписа. Я сам не заметил, как это вышло. Или, вернее, заметил, но не пожелал осознать. Они схватили меня за правую руку, потащили к треножнику, на котором тлели угли — что я мог сделать? Как стряхнуть с себя троих молодцов?

«Воскурение богам! Воскурение богам!» — толпа вопила, эфиоп зыркал, а тот жрец, он просто бросил крупицу ладана мне на ладонь, и она, повинувшись не воле моей, но собственному малому весу, соскользнула на угли.

— Он принес жертву, он свободен!

Он желал меня освободить от гогочущих рож, тот жрец, но навсегда поработил мою совесть.

Раздарю всё свое имущество и даже тело отдам на сожжение, но если нет во мне любви — не пойдет мне это на пользу.

Я знаю, Господи. Но согласись, свой вывод я сделал. Я пробежал свое поприще. Любить Тебя — значит возненавидеть мир, отказаться от всего, что в нем, даже от собственного дела, дабы душой соединиться с Тобой. Разве не так я жил?

Сколько их, принесших жертвы, бросивших ладан на угли под угрозой позора и боли, сколько же их... Как легко возвращаются они

теперь: бьют себя в грудь, простираются ниц, молят о снисхождении — а через день или два, румяные и умытые, смеются и пьют вино, словно то была шутка, а не отречение. Сколько же их!

Гораздо меньше таких, кто отворачивается при их приветствиях и плюет им вслед, кто считает себя чистым. Кто не отрекся просто потому, что мало били. Что не запускали рук туда, где... ну, с тем эфиопом. Они мнят себя чистыми, они видят себя судьями — и они еще опасней тех, кто поддался искушению. Потому что они беспощадны.

Я не поддался. Но я и не умер на арене. Я не нужен был им как жертва — им выгодней выжатая тряпка в теле Оригена. Выжатая досуха, выброшенная в угол, не нужная никому, и менее всего — себе.

Я лежу на полу. Просыпается боль. Но еще не настолько, чтобы я был обязан ее замечать. Если бы здесь, в Кесарии, они довольствовались горстью ладана на ладони — кто знает, может быть, я бы вновь не отдернул руки. Нет, им нужно было ясное, внятное, громкое слово, слово того самого Оригена, который гремел на их площадях. Они хотели, чтобы я высмеивал Тебя с тем же пылом, с которым прежде восхвалял, чтобы выискивал и обличал малейшие несуразности и недостатки, какие только можно найти у христиан, как величайшие пороки и преступления.

Глупцы, они решили, что аиста можно обратить в дельфина и поселить в соленой пучине, что Оригена можно сделать врагом Христа. Нет, они не добились ничего, здесь, в Кесарии. Они просто не понимали, бедные, невежественные и очень недобрые люди. Они высосали мою волю, мою силу, мою жизнь — и отбросили оболочку.

Ты сжалишься и над ними, Господи, да? Ты же добрый.

Любовь не ищет своего, не возмущается, не помнит зла, не радуется неправде, но разделяет радость об истине. Всё она переносит, всему верит, на всё надеется и всё терпит.

Отец целовал меня в сердце. Я и не знал об этом, пока однажды не проснулся от прикосновения его губ. Было темно, ночь была по-летнему жаркой, я лежал почти обнаженным и спал неглубоко и чутко — от этой ли египетской жары, или от радостного изумления перед величиим Твоего мира, перед звездным куполом, которым укрывался я на плоской

крыше нашего дома, как другие укрываются на ночь плащом. Я почти летел в этом пространстве ночи, пронизанном лучами Твоих светил, и мечтал о том дне, когда сам стану одним из них, избавившись от тяжести земного тела. Мне было тогда, кажется, двенадцать.

Был ли то сон, или бдение, или морок — как знать... Заслышав грузные шаги отца, я решил притвориться крепко спящим, а он наклонился ко мне, нежно поцеловал в область сердца, зашептал слова горячей своей благодарности Тебе, что послал Ты ему столь достойного сына. А я старался дышать ровно и глубоко, смущаясь и рдея от этих слов.

Любил ли меня отец? Спрошу: любил ли отец — меня, доверчивого смышленного мальчика под звездным покрывалом? Или свою мечту о благородном сыне? Или будущее общины, которое возлагал на мои плечи прежде, чем я сам мог их подставить под груз?

И любил ли я своего отца? Люблю ли теперь, поминая его, мученика и воина Христова, в своих молитвах? Помню ли я его лицо, помнит ли кожа моей груди прикосновение его горячих губ? Не тлен ли это, не прах ли это, не рассыпаются ли наши родственные, плотские чувства прежде, чем отойдем мы в вечность? Есть ли вообще нечто ценное в них? У меня нет сына, и я никогда не узнаю ответа на этот вопрос: любил ли он на самом деле меня.

Любовь никогда не иссякнет, даже если пророчества упразднятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Мать моя прожила долгую, насыщенную жизнь. Этот мир не что иное, как место наказания для душ человеческих — достаточно окинуть взором ее судьбу. Египтянка из простонародья, красоту которой оценил и взял в жены знатный римлянин. Но, приняв на словах Христа, она не оставила идолов и суетного служения им. Впрочем, какие идолы? Разбитые коленки, сопливые носы, подгоревшая каша, испачканные пеленки, и снова — каша, коленки, пеленки... Вот чему она служила всю жизнь.

А потом мы вырастали, и первым я. Мы оставляли гнездо, и первым я. Мы возвращались лишь иногда, последним я, с горстью монет, с дежурным поцелуем, с ласковым словом, затертым, как медяк на

базаре или камень на проезжей дороге. Была ли то любовь? Нелепый вопрос. Мы просто жили, как умели. Да и не пытались вырваться из этих силков.

У меня не было жены, я даже не узнаю, любили ли они друг друга, мои мать и отец, или просто исполняли вечный зов плоти: породить подобных себе прежде, чем соскользнуть с Божьей руки в пропасть забвения и покоя.

Меня спрашивают: могут ли спастись такие, как она? Неужели Господь помилует тех, кто не принял Его, тем паче тех, кто Его отверг и выбрал идолов? Там, на Суде, отвернется ли от ее смиренной души, перечеркнет ли ее жизнь, полную пеленок и горшков, бросит ли во тьму внешнюю за то, что не была она настоящей христианкой? Меня вот мама никогда не отвергала. Не понимала, да — но любила, как умела. И Господь не отверг. Мне кажется, однажды Он сможет с ней договориться.

Я приоткрываю глаза. Колеблется слабое пламя светильника, словно крадет у темноты кусочки пространства — вот мелькнула нога фараона и обратившийся в змея посох... Это фреска про Исход из Египта.

У меня был свой Исход, и не один. Рожденный от Гора, я стал Изначальным. «Мать настояла на египетском имени для нашего первенца, — смеялся отец, — а я сказал ей, что все равно Оригена будут помнить как христианина, даже когда о языческих идолах и думать забудут!» Будут ли, отец?

Будут ли меня помнить в веках? И кто тогда помянет ту, что выносила и родила меня — с ее горшками, с мокрыми пеленками, с моими разбитыми коленками? Встретимся ли мы с ней в вечности лицом к лицу, узнаем ли друг друга, когда Ты, Господи, осветишь наши жизни, когда, может быть, самое незначительное окажется великим пред Тобой? Пеленки, коленки... Или это забудется, как муха забывает свой вчерашний полет, как песчинка падает в бездну моря и не созерцает более солнца?

Я совершал свой Исход много раз. Всё, чего ищут простаки, за что борются под солнцем — всё это бросил я к Твоим ногам, как думал я тогда. А теперь не вижу, ради чего.

Так и мы наблюдаем теперь лишь смутное отражение, но однажды увидим всё лицом к лицу. Теперь я знаю Его лишь отчасти, но однажды познаю так, как и Он познал меня.

Ученики. Вот я и дети, которых дал мне Господь — так могу сказать я о них. Ты просто дал их мне, просто привел — и я учил, чему и как мог. Не мне судить, что удалось. Мне кажется, я их любил — всех тех, кто задавал несуразные вопросы, кто уходил и возвращался, кто не желал принимать очевидное и кто спешил неведь что себе напридумывать. Так ведь и Ты нас терпишь, верно?

И все же... Любил ли я их? Или любил свой талант учителя? Один из них был акробатом на рыночной площади, забавлял народ, собирал медяки. А потом решил стать богословом. Я вошел тогда в класс чуть раньше, чем обычно, ученики уже собрались на своих местах, а он стоял на моем, и подбрасывал мячики, нелепые цветастые мячики, выкрикивая слова:

— Причина! Природа! Единое! Необходимое! Сущность! Свойство! Состояние!

— Синий раньше был природой! — кричали ему.

— Род! Качество! — не унимался он.

Увлечшись своим весельем, он не заметил моих шагов. А я... я отвесил ему затрещину. Шарик покатился по полу, ученики взревели от смеха. Он лишь потер затылок, он привык к зуботычинам на городском рынке, он извинился и бросился подбирать шарик — а я пнул один из них, синий, он закатился под дальнюю скамью, и лежал там весь наш урок, как падшая человеческая природа. А я все объяснял, как недостойно обращаться в шутовство великую «Метафизику» Аристотеля...

Но может, то и была настоящая жизнь — в этом задорном смехе, в радости бытия, в открытости миру? Может, жонглером был в тот раз именно я с этой метафизикой, с невнятными, никчемными словами?

Или Ты, Господи?

Тебе нужен был Авраам, онемевший от ужаса, изнывающий, но покорный — он вел на заклание любимого сына, чтобы в последний миг его остановил ангел. Тебе нужен был я распростертым на пыточном

ложе. Говорят, и я сам говорил много раз: это было испытание, Господь знал, что Авраам выдержит, но этого не знал Авраам.

И все-таки... Зачем? Ты просто жонглируешь нами?

«Любишь ли ты Меня?» — так спрашивал Ты Петра. Если бы сейчас Ты так спросил меня, я бы сказал: «А Ты — меня, Господи?» И я не знаю, что бы Ты мне ответил.

Надсадно кричит петух. Если я раскрою глаза, увижу, как сереет мрак, как уползает очередная ночь. Но я не пойму, зачем мне дано еще одно утро.

И пребывают с нами вера, надежда и любовь, трое их, но больше прочих — любовь.

Для чего этот бессмысленный ужас под названием «жизнь»? Отчего я не чувствую веры, не имею надежды, не обретаю любви? Скоро придет утро — что я скажу этим людям, которые соберутся здесь ради Тебя — и будут ждать слова из моих пересохших уст?

Хватит ли у меня сил хотя бы подняться на ноги?

Когда я проснусь...

Июль и сосны

К морю хотелось просто отчаянно. Три лета подряд — три бесконечных лета подряд! — Денис с морем не общался. Два из них он протопал в кирзачах, там и в реке удалось искупаться пару раз: протекала через их южнорусский городок живописная речка, да только купаться солдат не водили. А на третье лето, после дембеля... да просто как-то не сложилось: сперва было не до того, а потом уже и билетов не достать на юга. А так хотелось влажных объятий и просторного горизонта! И только вот в этом мае удалось ухватить полторы недели моря в Херсонесе. Так ведь не хватило!

В детстве Дениска на море ездил почти каждый год: в Крымский Судак, поближе к сказочным Коктебелю и Карадагу, или в абхазскую Пицунду к озеру Рица, или на капризно-дождливую Балтику — литовская Паланга, Рижское взморье. Это была священная статья семейного бюджета: искупать деточку в соленой воде, чтобы всю зиму не болел. Когда ушел отец, с деньгами стало туго. Мама заняла, поехала тем же летом с ним в Алушту, развеять грусть-тоску и доказать себе, что еще нравится мужчинам... а потом отдавала долги до следующего отпуска. Так что еще три лета тосковал Дениска то в тетя Лидином деревенском домике, то в лагерях в Анапе, где море вроде как было, да только водили на него строем и далеко не каждый день, а купание было совсем малышное.

И когда в его четырнадцать они на две недели поехали в Саулкрасты, поселок в Латвии с бесконечными дюнами и белобрысыми красавицами, это было настоящим чудом и счастьем.

Вот и теперь — недели в Крыму не хватило. И потому их с Верой (и с рюкзаками!) ждал Рижский вокзал, самый маленький в Москве, самый уютный, самый отпускной и каникулярный — не то, что шумный и суетливый Курский, с которого уезжали не только в Крым, но и вообще куда угодно. А рижские фирменные поезда со строгими проводницами, что носили элегантную форму, говорили с легким акцентом и разливали

по первому требованию чай — это была уже почти Европа. Бедноватая, плацкартная, серпастая и молоткастая — но все-таки Европа. Впрочем, в их случае даже не плацкартная — дешевых билетов к морю летом не достать. Пришлось раскошелиться на купейные.

У Веры в Юрмале жил дядя, моряк на пенсии, племянницу он привечал и пускал к себе. Но, конечно, без молодого человека. Но разве трудно снять жилье в курортном городке в разгар сезона? Денис был уверен, что найдет его легко, притом недалеко от Веры в ее Яундубултах.

Эти латышские названия станций, как едешь от Риги, Денис зачем-то выучил еще в детстве, может быть, потому что звучали они забавной сказкой. Юрмала (вовсе не юркая и не малая!) начиналась с сосновой станции Приедайне — вот и древнее местное предание. Потом Лиелупе, там лупят лилипутов, потому что они шалят, а латыши строгие. Потом первая приморская станция Булдури, это бултых в море со всей дури. Потом Дзинтари, смысл этого названия Денис уже тогда знал точно, этим же словом и косметика местная называлась, да и на русский похоже: Дзинтари — Янтари. Ну, а следующая станция, во всей Юрмале центральная, точно для отставных военных: Майори. И переводить не надо! Потом Дубулты (доболтаешься ты у меня, говорит товарищ майор), а в ответ — следующая станция Яундубулты, я не доболтаюсь. Вот точно прибалты были не болтливы. Дальше начинались какие-то Асари-Вайвари (то ли косари-варвары, то ли караси вареные!), но Дениска их порядок запоминать утомился и потому не придумал им запоминалок.

Но это еще доехать, а пока — купе поезда, смурные пассажиры и завистливые провожающие, вечные вареные курицы в газетках, чай в граненых стаканах и подстаканники с земным шаром, Спасской башней и ракетой. Они с Верой, конечно, сразу уступили одно свое нижнее место женщине средних лет, на другом законно расположился грузный мужчина чуть ее постарше. И значит, им теперь можно было забраться туда, наверх, где еще лучше: дремать, смотреть в окно на зады московских гаражей, подмосковные дачные поселки, на знаменитый памятник двадцати восьми панфиловцам (в «Огоньке» как раз писали, что было их не двадцать восемь и вообще что их не было) и дальше — на глухие леса, леса, леса калининские ... то есть тверские! Твери ведь только что вернули ее историческое имя! И нечего тут всесоюзного

старосту приплетать, древняя Тверская земля. В общем, гляди на леса, пока не уснешь.

А еще можно было читать — Вера взяла с собой, а вернее дала, пару книжек о христианстве: Шмеман, Мейендорф. Интересно, подумал сразу Денис, почему лучше всех пишут о русском православии немцы и евреи? Не потому ли, что нужна какая-то дистанция между автором и его предметом? Ну Иванову или Петровой проще будет описать, как вербы святят да яички красят. А тем, кто пришел из другой среды, из иной традиции — им приходится думать и говорить о сути. Хотя... нет, были и русские фамилии в этой таинственной Веринной библиотеке: Афанасьев, Брянчанинов, который, кажется, даже святой, недавно его вроде бы канонизировали. Как меняются сегодня все списки, все карты!

Но главное, главное: этот кровавый монстр, эта дама со звериным оскалом и в старческом маразме, Софья Власьевна, она же советская власть — она заскользила, покатила по наклонной, не подняться уже ей. И правильно, и хорошо! Будем ездить в Ригу и Кишинев, в гости друг к другу, будем жить счастливо, даже если не очень сытно, но зато совсем как на Западе. Ну, или почти!

Внизу бравый мужчина (военный, только что вышедший в отставку) знакомился с попутчицей — она оказалась учительницей из Абакана. Он всё пыхтел и возмущался, что прибалты что-то много воли себе взяли, что русские им всё там построили и от немцев их защитили, а теперь неблагодарные не хотят...

Тут вошла проводница, спросила (с неизменным легким акцентом), кто хочет чаю. И абаканская училка ответила — длинной фразой на чистом латышском! Денис не понимал, но проводница явно обрадовалась, ответила с улыбкой, они чуть поговорили, словно земляки, встретившиеся в пустыне.

— И мне с сахаром! — с каким-то даже возмущением перебил их отставник.

Когда проводница вышла, он изумленно спросил попутчицу:

— Откуда вы знаете их язык? И зачем вы на нем говорите? Пусть русский учат, раз в Союзе живут!

— Это мой язык, — тихо, не споря, ответила она.

— Но вы же...

— Из Абакана, — кивнула она, — но родилась на хуторе под Гулбене. Я латышка.

— А как же...

— Нас с мамой и двумя братьями выслали в Сибирь. Выжила у мамы я одна, — сказала она так же спокойно и почти что нежно.

Отставник молчал.

— А что стало с вашим отцом? — спросила с верхней полки Вера.

— Потом мы узнали, что расстрел. В пятьдесят шестом только нам сказали.

— Хорошо вы говорите по-русски, — отставник заговорил мягче, примирительно, словно извинялся.

— Я всю жизнь в Сибири, — кивнула она, — мне было всего три годика, когда красные пришли. Замуж там вышла.

— Это хорошо, — ответил он невпопад, — что вы не озлобились. Вы ведь наш, советский человек.

— Выбора не было, — пожала она плечами.

— Теперь будет, — ворвался в разговор Денис, — теперь ведь независимость — это не только для Прибалтики! Украина и Россия приняли свои декларации — всё, теперь уже никуда не свернуть. Конец сталинской национальной политике!

Что пробурчал тот военный, они не разобрали. Кажется, что-то матерное, про молодежь, да еще про вагон-ресторан. И выскочил из купе, как пробка из бутылки. Пришел уже поздним вечером, слегка пьяным, сразу улегся спать, долго ворочался, потом, разумеется, захрапел...

Денис поезда любил, вот только спал в них очень плохо. В окна набегали пятна чужого света (потом он догадался спустить сверху тяжелую серую шторку), перестук колес то ускорялся, то замедлялся, словно беспокоилось сердце поезда, двойными этими ударами толкало по искусственным жилам железную кровь рельсов, и можно было даже уснуть... Да тут накрывало залихватским зарядом армейского храпа оттуда, снизу, словно таскал этот прапорщик (ну вряд ли повыше)

повсюду за собой ненавистную и бесконечную казарму с ее затхлым воздухом и вечным чужим храпом.

Денис отчаялся в попытках уснуть, так что просто закрыл глаза, потянулся, расслабился, постарался слиться с этим поездом и этим пространством летней неприкаянной ночи, с этой огромной страной, которая тихо распадалась и летела в заманчивую западню — но кажется, не подозревала об этом.

А чтобы не скучать — заговорил с Оригеном.

— Знаешь, я привык во сне становиться тобой.

— Знаю, — отвечал тот ниоткуда, — ведь и ты мне тоже снишься.

— А кто же из нас настоящий? Когда я открою глаза — где окажусь?

— В этой странной повозке, каких при мне не бывало. Ты не заснул. Не совершил перехода. Ты — это еще ты.

— Послушай, Ориген, но ведь это очень глупо. Ты жил когда-то давно, ты ведь, кажется, не оставил потомства...

— Нет.

— Так что я не могу быть твоим прапрапра. Я вообще к тебе не имею никакого отношения. Я просто выбрал тебя для курсовой.

— Я просто выбрал тебя, — отвечал, не споря, из вагонного перестука и скрипа, из разрывов света и тьмы на границе миров этот голос, — я просто выбрал тебя, просто выбрал тебя, просто выбрал тебя...

— Ну или ты меня...

— Ну или ты меня...

— Или я это ты... я это ты...

Он почти заснул, когда поезд дернулся, то ли трогаясь, то ли тормозя, и скрипучий, механический и женский при этом голос прогремел с какого-то разъездного олимпа:

— Московский скорый на четвертый! На четвертый путь московский скорый!

Глаза открылись сами. Его левая рука свесилась в узкое пространство между двух полок, и в неверной полутьме ее коснулась другая рука, с соседней полки.

— Не спишь, День?

— Не сплю...

Глаз Веры не было видно, и голос звучал едва слышным намеком — но вдруг ее узкая, сухая ладонь сжала его руку, мимолетно и горячо, как целуют на ночь уставшего малыша. И — спряталась в зыбкой пустоте меж двух миров, двух советских республик, двух рельсов, меж ночью и явью, нежностью и пустотой.

И он провалился в сон. Без Оригена.

А утром — утром за окном уже плыли травы, туманы, хутора, деревянные станции с певучими названиями. А Вера, нежная, милая Вера, проснувшись прежде него, уже любовалась наплывающей Латвией. И сосны — островки соснового леса — были вестниками моря, солнца и детства.

На вокзале в Риге он сбегал купить билеты на электричку. Показалось даже немного странным, что советские рубли и копейки еще принимали, да и вообще никаких следов наступающей независимости нигде на вокзале обнаружить не удалось, разве что в газетном киоске продавали газету Народного фронта с неясным названием «Атмода» и багрово-белым национальным узором слева вверху. Тут же лежала ее русская версия, называлась «Балтийское время» — Денис не удержался, купил, в дороге полистать.

В Юрмале всё сложилось как нельзя лучше. Моряк оказался лысым, усатым и с виду грозным, но добродушным, Веру принял с объятиями, Денису подсказал, у кого спросить насчет жилья — и пусть не сразу, но в тот же день Денис снял себе крохотную комнатку всего за три квартала от моряцкой дачи. Сдавала ее местная семья, большая и немного бестолковая, занятая собственным огородом и изготовлением флагов тех самых цветов, что в заголовке газеты, но Денису было это как-то все равно, у них он собирался только ночевать.

Всё было таким простым и понятным... они встречались утром у Вериного дома и «ходили на море», как нормальные отдыхающие, как парень с девушкой из какого-нибудь советского романа. И девушка была — ну просто обычная смешливая милая девчонка, в юбочке легенькой или в джинсах, в маечке или курточке по погоде, ну никакого тебе тут экстремизма-фундаментализма, только крестик на шее. Переболела она,

что ли, этими армейскими ботинками и жуткими кофтами? Или просто... просто не достать раньше было? Да ладно, Верка бы точно достала, если бы захотела. Или... нравился он ей?

А море, оно было в меру прохладным и спокойным, чтобы брести по нему чуть не до горизонта, пока станет хоть немножко глубоко — и точно такой же была с ним Вера. А еще море могло, Денис это помнил, вздыбить барашки, нагнать воды потеплее от горизонта, чтобы можно было прыгать в волнах, дать им протащить тебя почти до самого берега, до крепких папиных рук. Но папы не было, он был взрослым, а Балтика — безмятежной.

Самым прекрасным море бывало на закате, и каждый закат был неповторим — рисунком облаков, рябью на воде, шелестом, шорохом, дуновением. Можно было брести босиком по тончайшему белому песку, а можно было углубиться в прибрежный сосновый лес, что тянулся до края мироздания, и эти рыжие стволы, словно свечи или колонны, вращались в небо, не затемняя земли...

*Не отпустит надолго взоры
и заставит разуться детей
этот тонкий плеск, за которым
вы приехали из гостей,
из сетей городской культуры,
растолкав для него дела —
оглядеть этот очерк хмурый,
за которым Земля кругла.
Чтоб поменьше — нелепых хворей,
вы зимой нашептали путь...
Вы приехали видеть море,
называется — отдохнуть.
И из детского возвратится
на закатной ходьбе — смотри! —
нисходящая колесница
и персты молодой зари.
Или так: в Шестоднев не веря,
пульс живой неземной Руки
угадать, прикоснувшись к зверю,*

*чья лежанка — материки.
Вам досталось — нащупать берег
жадным слухом меж дюн немых,
чтоб сегодня себя соизмерить
не с творением рук своих.*

Он прочитал эти только что родившиеся стихи Вере на втором их общем закате, и она, чуть промолчав, только и сказала:

— Как это... красиво!

И Денису стало даже немного обидно. Сказала бы: «я тоже чувствую это», или «а давай сейчас купаться» — а так она ему будто оценку поставила. Садись, пять.

Или просто стихи были такие... слишком детские, ученические? Вымученные немного, что ли? Ну у него сейчас других не получилось. И ведь зато как он это ввернул, про Шестоднев, про всё такое — не только про всякую ерунду, но еще и про самое главное. Про Бога! Ведь теперь — всё должно быть про Него, разве не так?

А на следующее утро было воскресенье, и они вместе пошли в церковь. Что может быть правильной и естественной для такой пары? Встретились на привычном месте, и туда, вглубь поселка, по сонным курортным улицам — в синюю дубултскую церковь Святого Владимира.

И там было все правильно и размеренно: исповедь, на которой Денис рассказывал о своих грехах правильным голосом и в правильном месте стыдился и краснел. Батюшка, задавший только один вопрос: «А ты постился три дня? Положено» — на что Денис, уже искушенный в таких делах, ответил одно: «А я, батюшка, путешествующий». И был с печальным вздохом батюшкой допущен к причастию, несмотря на вечернюю столовскую котлету.

Вера в платочке, юбке в пол (на сей раз!) в трех-четыре шагах от него. Пение хора, возгласы все того же священника, небольшая очередь к Чаше, сложенные на груди руки, вкус хлеба и вина на губах. Не было одного — радости. Денис помнил это состояние после первого причаствия: полет и восторг, когда готов обнять весь мир, и если сейчас, за первым же углом, встретишь архангела с пламенеющим мечом — удивишься не больше, чем усатому милиционеру. А тут — ничего.

А еще у самой двери храма, когда они выходили, стоял и рыдал взхлеб мальчишка лет шести: «я какать хочу! какать хочу!» — а женщина в платочке уговаривала его потерпеть.

— Давайте я его свожу? — неожиданно предложила Вера.

— Пусть терпит! — сурово отрезала дама, — церковь тут!

И они с Верой не стали спорить. К тому же куда его вести, тоже ведь было непонятно. Но все равно, настроение было испорчено окончательно.

— Тут где-нибудь есть столовая или буфет? — как можно беззаботней спросил Денис.

— Кажется, да, — ответила Вера.

Они прежде не ели рядом с домом, гуляли по дюнам далеко-далеко, обедали перекусом из гастронома, ужинали где-нибудь в Дзинтари, и таких мелочей, как столовка, просто не замечали. А теперь после голодного утра есть хотелось — ну просто ужас как. Как тому мальчишке облегчиться, со стыдом подумал про себя Денис.

Решили посмотреть кафешку рядом с ближайшей станцией, ведь должна она там быть. И вдруг — как раньше не замечали? Или не ходили этой улицей? — они оказались возле церкви неправославной, с будто готическими стенами и этим типично рижским колпачком наверху высокой башни. И Денис — встал, как вкопанный.

— Деня, что?

— Знаешь...

Он даже не понимал, как это сформулировать.

— Что, День?

Милая, нежная, верная Вера! Как ей это объяснить...

— Знаешь, я вот после причастия никакой радости не почувствовал сегодня.

— Знакомо, — она кивнула, — у тебя был самый-самый... ну как бы медовый месяц. С Церковью. Он закончился, теперь будни.

— А вдруг я причастился в суд и во осуждение? — спросил он чужим правильным голосом.

— Не думаю, — Вера покачала головой, — это же не так всё прямо:

где радость, там и святость, а если вдруг тяжесть, то нет. Ну, настроение разное бывает.

— А на самом деле... — он, кажется, был готов это сказать.

— Что, День?

— Вот я увидел эту церковь. Не нашу.

— Лютеранская, наверное. Здесь в основном лютеране.

— Ну да. И вот наша она — даже архитектурно... ну смотри, колокольня похожа. Только на нашей — луковка, русский купол.

Вера слушала, чуть склонив голову. Какая она все-таки молодец! Тоже ведь, поди, изнывает от голода, а стоит и ждет, пока он бредятину всякую несет.

— И я подумал... наше русское православие — оно ведь только русское, по сути. Вот луковки все эти, вербочки. А тут — лютеранство. Лютое тиранство, как один в Москве у нас в храме там пошутил глупо и неудачно. И вот эта церковь здесь, лютеранская — она как родная. Она как это море, как эти сосны. Она латышская. Верно?

Вера все еще молчала.

— А мы... ну зачем мы им эти луковки? Ну вроде как колхозы при Сталине, насадили, согнали местных хуторян, кого и выслали, как отца той латышки, что с нами ехала. А зачем? Вот кому лучше стало?

— Никому, — кивнула кротко Вера, — у меня в семье тоже...

— Вот и тут не так ли? — горячо перебил ее Денис, — мы принесли им свое русское православие. Русское, понимаешь? А надо бы — Христа. Не русского или византийского, не латышского или там ватиканского, не еврейского даже, хоть Он Сам из евреев по плоти, а просто вот Христа. А мы — вербочки, яички. Нет разве?

Вера молчала, но это было не безразличие, это был поиск ответа, Денис видел это по морщинкам у уголков глаз. Он сам словно плескался у берега в водичке, что твой малыш, а она строгой сосной вращалась в небо и с высоты своей кроны не понимала пока, как ему ответить, чтобы понятно стало.

И потому выпалил сразу, как на исповеди:

— И вот я почувствовал: всё, что нас, ну или меня, сюда манит, что

мне тут дорого, ценно, значимо — оно про Запад. Про Европу. Вот эта лютеранская, еретическая ведь, наверное, церковь — она мне ближе нашей луковки. А почему так? У меня что, шизофрения?

— У тебя, парень, прозрение, — этот негромкий голос грянул, как гром, Денис чуть не подпрыгнул, обернулся.

— Простите, ребята, что вмешиваюсь, но уж больно мне это на сердце легло — на них в упор смотрел человек лет около сорока: черные кудрявые волосы с проседью, длинный прямой нос, неожиданно ласковый взгляд карих глаз и чуть грустная улыбка. На нем — цветастая курортная рубашка с коротким рукавом, дурацкие парусиновые шорты и сандалии. Какой-то персонаж Ильфа и Петрова, право слово!

Денис ответил отрывисто и сухо:

— Простите, а вы не знаете, где здесь можно позавтракать?

— Конечно, знаю, — усмехнулся он, — да вот тут, на соседней улочке. Яичница, бутерброды с копченой салакой на кисло-сладком местном хлебушке, пиво «Алдарис» и кофе, вот правда, растворимый, но зато со сливками — устроит.

— Конечно! А там что? — Вера обрадовалась концу неприятного разговора, а у Дениса рот переполнился слюной и для слов места не осталось.

— А там я временно живу. Приглашаю. И все это у меня в холодильнике стоит.

— Нет-нет-нет, — Денис аж руками замахал на ласкового нахала.

— Спасибо большое, но мы... — вежливо вторила ему Вера.

— А вы мне поможете исполнить заповедь «накорми голодного», — рассмеялся тот, — позвольте представиться: Сёма Колесниченко, бывший регент одного московского храма, а ныне простой советский безработный в заслуженном отпуске. В церковь я сегодня не пошел, это нарушил, так надо ж мне чем-то исправить свое упущение! Пошли-пошли, там и поговорим заодно. Кажется, тема у нас есть общая. Под пиво с салакой, да в садике под соснами ее обсудить — в самый аккурат.

И приличия, конечно, требовали отказаться. Только куда они все сразу испарились, эти приличия? Ау, не найдешь!

Весь этот день стал бесконечным праздником и таким же

бесконечным разговором. Они шли, и болтали, потом Сёма жарил яичницу, потом они ее ели с этой восхитительной салакой на местном хлебушке, и болтали, запивали пивом, а потом он еще заварил кофе — и болтали, болтали, болтали, сидя в неухоженном садике чужой государственной дачи на раскладных стульях, что складывались предательски, неожиданно — и был повод похохотать.

А потом пошли гулять по этому бесконечному юрмальскому лесу, где светло от рыжей коры и свежо от моря и ветра, от опавшей хвои и непрошенных слов — и болтали, болтали, болтали. Вроде бы о всякой ерунде, о латышском языке и бархатном пиве, о пионерских лагерях и военных санаториях, о зеленых электричках и сосновых шишках — словом, о королях и капусте. Но разговор все равно сворачивал на самое главное, нужное, на то, с чего начался — и через пару реплик терялся в очередной ерунде, но никуда не пропадал. Это как купаться на Рижском заливе: идешь себе, идешь, то ложбинка, то снова отмель, но где-то там, на полпути к горизонту, точно поплывешь, раз уж решился поплавать.

Сёма для начала рассказал о себе. Родился он на Дону, в казачьей столице Новочеркасске, в учительской семье. «Как на грозный Терек выгнали казаки, выгнали казаки сорок тысяч лошадей» — запел он своим глубоким, раскатистым баритоном, сочно выводя южное фрикативное Г, хотя в обычном разговоре выговаривал по-московски. Да, такому бы в оперную труппу! Но выбрал Сема не оперу, а столичный Химико-технологический институт, как и когда-то Надя (вспомнил, и почти ничего внутри не ёкнуло). Поступил, проучился пару лет... И захотел понять: а где первоисточник мироздания? Откуда взялся танец электронов на вероятностных орбитах, вся эта стройность и красота, которые именуются блеклым словом «химия» и от которых кровь течет по нашим жилам и нефть по нашим трубам? Кто его постановщик, кто хореограф?

И нашел. И уверовал. И стал читать Библию. И был вечер, и доколе не настало утро, был рейд комсомольского патруля по общежитию. Искали девчонок в комнатах парней и наоборот, а обнаружили нелегальную религиозную и местами даже почти антисоветскую литературу в комнате студента Колесниченко. И было исключение из комсомола, а значит, и из института, с четвертого курса без права на

восстановление.

Растерянный мальчик Сёма пошел в храм Божий и сказал, что ничего другого у него в жизни не осталось.

— А там батюшка такой был, молодой, весёлый, волосатый, — рассказывал он, — и спрашивает меня: где учился, чем занимался? Я говорю, мол, химией, но это всё в прошлом, желаю начать новую жизнь и прославлять отныне Творца, а не корпеть над изучением твари. А он мне так заботливо: химик-технолог, говоришь? А я вон цирковое заканчивал. Видишь, на ладони у меня просфорка? Пас руками — и оп-па! Нет просфорки. Она в кармане рубашки у тебя, проверь. И точно — там лежала! Но в хористы — взял, отец фокусник, пел я и тогда отменно. Так оно и пошло...

Так оно шло десять с небольшим лет. Да, кажется, всё вышло. Две недели назад Сёма взял полный расчет, отпускные-пенсионные-похоронные, как он шутил, и... уехал к бывшему однокурснику под Ригу. Тот работал на серьезном производстве, имел государственную треть дачи от профкома-месткома, но на ней сейчас не жил, а детишек с женой сплавил к ее родителям куда-то на другой части побережья — вот и определил на треть дачи Сёму. Дача была старой, ажурной и одновременно основательной и Денис невольно вздрагивал, представляя себе, как осенью сорокового года уводили с нее законного владельца, который «не принял новую власть». А теперь, разбитая на коммунальные кусочки, служила она местом летнего отдыха рижских инженеров-технологов с семьями. Семьи, чумазые и горластые, как носились по садику и играли с соседскими в войнушку индейцев с ковбойцами.

— А у вас есть семья? — задала Вера неловкий вопрос.

— А как же, — ответил тот, — жена и трое ребятишек. Но мы в данный момент друг от друга отдыхаем. И вообще, давно мы уже на «ты», разве нет?

— А вот... почему ты ушел из церкви? — Денис спросил еще более стыдное и еще более важное.

— Да и не уходил я никуда — ответил тот, прихлебывая пиво (завтрак плавно перетекал у них в обед), — просто отдыхаю. От семьи, от

церкви, от себя прежнего. Просто пока так. И не знаю, куда дальше.

— А... почему, все-таки?

— Как на грозный Терек, — снова завел песню Сёма, да только продолжил неожиданно, — выгнали монахи, выгнали креститься сорок тысяч христиан. И покрылось поле, и покрылся берег толпами неграмотных пугливых прихожан... Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить! Нам, воцерковленным, не приходится тужить!

— Ну я понял, это как та просфорка, — кивнул Денис, — это ты мне показываешь, что не надо быть слишком серьезным. Подвиг юродства и всё такое.

— Да нет. Устал я просто. Уста-ааал...

— Разве от церкви устают? — спросила Вера.

— Устают от личин. От вранья. От попреков, — ответил он, похоже, про семью и церковь сразу.

И тут разговор снова нырнул, и свернул, и уплыл — чтобы вернуться на новой отмели.

Это было так странно... Сёма, как и Чеславский, как батюшка Арсений, как научрук Степанцов был из тех людей, на ком держалась церковь в последние годы. Но он казался каким-то... разочарованным, что ли. И как странно было это видеть вот прямо сейчас, когда свобода, когда можно дышать, когда все двери открыты... И об этом он все-таки тоже спросил.

— Осторожно, двери открываются, — отшутился Сёма, — какое милое у нас тысячелетье на дворе! Тысячелетие крещения Руси, имею в виду, Горбачев и все Политбюро сливается в экстазе со святейшим Синодом.

— О чем же это ты пел? «Тысячи безумных и усталых прихожан»?

— Это будет на втором этапе, безумных и усталых, — сказал он необычайно серьезно, — и он уже начинается. Се, этап грядет в полнощи!

— И как это будет? — спросила Вера.

— Ребят, — удивился тот, — ну вы же читали Легенду о Великом инквизиторе. Ну что я вам буду азы пересказывать?

— Ну это про католиков Достоевский писал, — отмахнулась Вера.

— Про всех. Еще была такая женщина, настоящая святая, из неформалов — мать Мария Скобцова. У нее в самые густые советские годы, где-то в середине тридцатых, была пророческая статья. Она писала: а что будет, когда в России церковь — снова разрешат?

— И что?

— Придут, писала она, это где-то в парижских журналах печатали, придут в нее массово люди, воспитанные советской жесткой догматической системой. И на церковь они перенесут всю вот эту свою советчину. И будут за неправильно наложенное крестное знамение ссылать на Соловки.

— Ну, это онахватила...

— Гипербола, да. Но будет снова генеральная линия партии, будет снова она колебаться, только партия-то будет уже православная. Рассказывают, как митрополит Никодим однажды сказал, что пройдет время — и заседания Политбюро будут открываться пением «Царю небесный». Так вот в том-то и штука, что воцерковить партийцев — это задача титаническая, это годами делается и в штучном масштабе. А вот окапээсесить церковь — тут много ума не надо. Митрополитбюро, так сказать. Тут люди сами радостно навстречу новой идеологии побегут. Старая, скажут, поизносилась, которая ленинско-сталинская, подай нам новую, с крестами да хоругвями. Но пользоваться ей начнут на тот же манер.

— Ну нет, — решительно помотал головой Денис, — мы выбираем свободу. Мы не позволим.

— Мы — это новое поколение? — уточнил Сёма.

— Ну да.

— Я не хочу вас обижать, ребята, только... нынешние благочестивые приходские старушки, — грустно сказал Сёма, — это ведь пламенные комсомолки тридцатых. Они тогда храмы сносили, на попов доносы писали. Переменились. И нынешние перемянутся.

— Мы никогда — пылко ответил Денис.

— Ну, ты уже изменился, когда принял крещение, — неожиданно вступила Вера, — но не в дурную, конечно, сторону. Почему, Сёма?

Почему люди сами захотят идеологии вместо веры?

— А просто должен же всегда кто-то быть виноват, — ответил тот, — Жидомасоны, белоказики, не важно, всегда ярлык врага наклеят. Вот приходит свобода нагая, бросая на сердце цветы — это Хлебников. И что? Советское прогнило всё и рушится. Была у людей зарплата и путевки в профилакторий — а не станет скоро у них ничего этого, вот как водки по три шестьдесят две нет и колбасы по два двадцать не сыскать. Вот тут, в Латвии, скажут: это всё русские виноваты, они нас сорок лет угнетали. И погонят русских метлой, да как вводится, совсем не тех, кто виноват. А что скажут простые наши рабочие, ну, я не знаю, Уралвагонзавода? Они найдут себе врагов. А там, где враг — там нужны лидер и знамя. Там нужна идеология, которая объяснит, что так нам херово из-за врага, что мы терпим всё вот это вот не от дури своей собственной, а ради победы над ним. Тут уж без великого инквизитора им не обойтись. И даже какое-то время это будет работать. Врагом будет Запад, скорее всего, потому что сейчас всем очень хочется на Запад, а потом окажется, что не медом нам там намазано, что и там свое наперекосяк...

— Откуда ты знаешь? — всё еще возмущался Денис.

— Да по опыту, — отвечал тот, — у меня с церковью та же фигня. То же разочарование.

— И ты теперь что — ищешь врагов?

— Ищу голодных покормить. Вот, вас. Может, и духовный мой голод кто утолит.

Этот день, как и положено дням на Балтике, завершался высоким небом в розовеющих облаках и солнцем, лениво падавшим во глубь морских вод. Они шли босиком вдоль берега моря по широкому и светлому пути в собственное детство. И даже купаться уже не тянуло на прохладном вечернем ветру (хотя после пива, признаться, была еще и водочка под магазинные пельмени, ну это вроде как уже на ужин).

— Сёма... — Вера чуть наморщила носик, значит, хотела спросить что-то очень серьезное, тем более, что она-то как раз водки не пила, — а почему ты... почему тебя не рукоположили во священники? Сейчас же буквально всех! А ты и грамотный, и регентом долго был, и всё такое.

Почему?

— Больно приметлив, да языкаст, — отвечал тот, — Кабы что одно, это бы ничего. А тут сразу то и другое. Вот буквально всех в попы и ставят, ага. Ох и наплачутся с ними... А меня Бог миловал.

Ответ был прозрачен и убедителен до донышка.

— Да ведь, — рассмеялся Сёма, — оно и к лучшему. Не видать бы мне сейчас свободы ни на грош. Из попов путь только в расстриги...

Он как будто протрезвел и посерьезнел, взял их обоих за руки, но тотчас отпустил — только сжал ладони немного, будто приветствуя или прощаясь.

— Вы, друзья, вы по краешку ходите, а глубоко в это не погружайтесь, не надо. Это вам не Рижское взморье, в церковной жизни утонуть — дело немудреное. А погрузитесь, такого там насмотритесь, никаких боевиков-ужастиков не надо. Увидите попов, которым ведомы две книжки: сберегательная да требник, причем первая намного важнее. Хористов, которые утром херувимскую на литургии, а вечером в кабаке фольклор тюремный уркаганам лабают. Узрите алтарников-пономарей, которые карьеру себе через анальное отверстие добывают: «а вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля в жопу ранила меня...» Старцев вашего же возраста, чудаков на букву М, которые на исповеди у девок пофигуристей спрашивают, сколько кто раз да в какой позе — похоже, чтоб самим дровичлось поохотней. Увидите епископов-владык, которые... Да что там, одному из них клир епархиальный подарил панагию на тезоименитство. Он возрадовался до зела, перевернул, а там надпись выгравирована: «Радуйся, зверонравных владык сердца умягчающая». Это из акафиста Богородице. Вот таких и увидите зверонравных. Встретите, да что скрывать, благочестивых матрон, у которых на уме проблематика Фаворского вишь ты нетварного света да Флоренский об имяславии, а дома детишки немьты да некормлены, и мужа нет и не ожидается, потому как кто ж такое выдержит. И тебя, Верунь, в такие же позовут записаться. Весь паноптикум повстречаете, это я еще недоговариваю.

Вот, говорят, есть у церкви темный двойник. Это мудрый человек один сказал пару десятилетий назад, Сергей Фудель его звали: дескать,

церковь свята и непорочна, но есть у нее темный двойник, и если кто-то кое-где у нас порой, это всё двойник, а не она. А чё, удобно. У меня вон старший, Петька, пока совсем мелкий был, как набедокурит, сразу: «Это не я, это Чучундра приходила». Почему Чучундра, не знаю. Вот и у него был, вишь ты, темный двойник, чтоб не высыпали. А взрослым так нечестно, ребят, согласитесь.

Они не возражали. А Сема, чуть помолчав, добавил:

— А главное, ребят... вы для них кормом подножным окажетесь. Понимаете, для вас это всё всерьез и надолго, а им потешить — кому гордыню, кому либидо, кому что еще. И деньги, деньги, деньги и власть, она даже еще слаще денег. С властью и деньги добыть, и либидо расчесать сподручней. А власть им нужна не советская, не соловецкая даже — им власть над душами подавай. И, ребят, им подадут. На блюдечке. Только вы не подавайте. Вы... себя берегите. Церковь, таинства, обряды, это все пожалуйста. Но по краешку. Души не отдавайте никому, кроме Бога, а Он многого не просит.

Они шли и молчали, молчали и шли. Что тут ответишь?

Солнце, закатное солнышко, где ты? Как просфорка в руке священнофокусника, спряталась ты, балтийская рыжекосая красавица Сауле²⁰, в дальние тучки перед самым своим закатом. И в кармане рубашки тебя не сыскать. Только сосны, сосны как пальцы, воздетые к небу, хранят твой отсвет на рыжей своей коре и тихо плачут под режущим ветром смоляными слезами, что через тысячелетия обернутся янтарем. А через тысячелетия — кому они с Верой и Семой приснятся, как ему теперь снится Ориген?

²⁰ Сауле — богиня Солнца в балтской мифологии.

Сон о будущем

Я открываю глаза. На стене колеблется узор виноградных листьев, его начертило утреннее солнце — виноградная лоза вьется снаружи по моему окну. Словно у Платона: мы в этом мире — пленники внутри пещеры, мы судим о подлинных вещах лишь по теням на нашей стене.

— Доброго утра, Горемыка! Как спал?

Это Арета — иная, кесарийская, но такая же верная и заботливая, как была там, в Александрии. Только забот у нее куда больше. Мое тело не всегда слушается меня.

— На удивление хорошо.

— И долго! Видишь, мы подобрали правильный отвар.

— Что бы я делал без тебя!

— Давай, помогу подняться, Горемыка.

Мне не тягостно это прозвище — оно рождено сочувствием, а не презрением.

Она подставляет плечо, крепкое, надежное — я спускаю ноги на пол, рывком, чтобы обмануть боль, поднимаюсь. Боль огрызается, она никуда не исчезла, но сегодня — легко переносима. Что же они там отварили такого вчера с лекарем Калистратом?

— Отвернись, — привычно прошу ее, хотя можно было и говорить, она знает сама. Одна из позорных тягот старости — невозможность помочиться спокойно и быстро. Особенно, когда нутро отбито. Впрочем, хватит об этом.

Умываюсь, вытираюсь поданным ей полотенцем. Подхожу к окну. Дивное, нежное утро ранней осени, и распахнутый солнцу сад — как не ценить каждый час, каждый миг этой жизни! Благодарность друзьям и единоверцам — они позаботились о моей старости и немощи, как не смогла бы ни одна императрица.

Произношу утренние молитвы — не столько словами, сколько душою и телом раскрываясь навстречу Творцу, и благодарю, и поминаю,

вручаю себя Ему, приветствую новый дарованный мне день.

— Сейчас подам завтрак — Арета поняла, что я закончил молитву,
— Ты спал сегодня крепко, на удивление хорошо.

— Все ваш отвар. Маковая роса, что там еще?

— Спроси лучше Калистрата, я-то что, простая кухарка.

— Ты не кухарка, ты ангел жизни, посланный мне не по заслугам.

— Да ладно тебе, — ее доброе, простое лицо расплывается в улыбке,
— женихаться еще удумал, что ли? Я и сама, вишь, немолода.

— Тебе... лет тридцать, не больше? — спрашиваю я

— Три года, как похоронила мужа, помилуй его Господь, — отвечает она, — а сколько на свете живу, и не знаю.

Выходит из комнаты, и возвращается вместе с мальчиком лет восьми, своим сыном, он старательно приветствует меня, склонив вихрастую голову — они вносят завтрак. Сыр, плоды, хлеб, родниковая вода, и еще плоска с пахучим и спасительным отваром.

— Потрапезничаете со мной?

— Да мы уж ели, — машет она рукой, — это тебе, Ориген.

При мальчишке никогда не зовет меня Горемыкой.

— Что ж я буду один!

Беру спелую смокву, такую, что чуть сожмешь — и потечет, вкладываю ее в подставленную детскую руку. Он ведь знает, что самое вкусненькое — ему.

— Балуеть ты мальчика, — качает головой Арета, — ой зря!

— Как и ты меня.

Смеется.

— Что видел ты во сне, пресвитер?

Голубые глаза мальчика распахнуты. Он держит меня за пророка или сновидца, или за кого-то великого, он уверен, что каждое мое слово — чуть ли не ангельская весть.

— Ко мне все время возвращается странный сон, вот и опять... А вы присаживайтесь, друзья, я-то лучше стоя.

Они уже знают, что мне трудно сидеть. Садятся сами, не спорят.

Отламываю хлеб, сверху кладу козий сыр, политый маслом с травами — что может быть душистей и приятней на завтрак! Не сравнятся никакие соловьиные язычки под соусом из розовых лепестков — такие подавали как-то раз во дворце у Мамеи.

— Станный сон, — повторяюсь, прожевав, — мне иногда снится, вот и теперь снилось, будто я юноша и живу на далеком Севере. Живу через тысячу лет, или даже больше, после нашего времени. Там всё такое странное. И зовут меня там — Дионисий.

— Хорошее имя, — кивает Арета.

— Ты там тоже пресвитер?

— Нет, Алкамен, — отвечаю я, — но и там я христианин. Новоначальный. Я и тут когда стал пресвитером, был уже в годах.

— И что там с тобой происходит? — он смотрит неотступно.

— Да ничего особенного, малыш. Сегодня снилось, как мы с одной девушкой, кажется, она была мне как невеста, ездили в путешествие на берега иного моря. В те, знаешь ли, края, из которых привозят слезы сосен, что продают иногда в городе на торгу.

— Там красиво?

— По-своему да. Мы гуляли, беседовали, встретили там одного... одного чтеца, он рассказал много нового. Нового для Дионисия — не для меня. О том, что бывают злые епископы и нерадивые пресвитеры, что христианство — не всегда праздник, еще и будни. А будни — это и грязь, и ложь. И кровь.

— Но ты же рассказал ему, где Истина?! — глаза малыша горят.

— Истину можно только показать, Алкамен, когда она есть в тебе самом. Во мне-Дионисии ее было совсем немного. А главное, там я еще не научился видеть ее в себе.

— Не многовато ли, — Арета озаботилась, — мы дали тебе на ночь отвара? Может, сейчас не станешь пить? Чудно говоришь.

— В самый раз! — решительно возражаю я, — вот и спал я после него как прекрасно.

Отхлебываю мутный, пахучий напиток. Тепло разливается по жилам. Боль скоро затихнет, я уже знаю, отвар заливает ее, как вода —

пожар.

— Ориген, — Арета улыбается, — тебе просто, наверное, хочется увидеть себя молодым и здоровым. Ну хотя бы во сне. Вот и...

— Я же не выбирал себе сна, — смеюсь я, — просто он пришел ко мне.

— Расскажи, — требует малыш, — расскажи про этот мир! Что будет после нас?

— Это ведь просто сон, Алкамен. Не всякий сон — вещий.

— А все равно расскажи!

— Вот тебе еще одна смоква. Третью — маме, а четвертую возьму я. Что идет после четырех?

— Пять, — отвечает вежливый мальчик, — я очень люблю смоквы. А еще больше, отец Ориген — твои рассказы!

— Ну слушай тогда, — улыбаюсь я, — вот только смокву дожую... вправду хороша!

Арета услужливо подносит мне влажное полотенце — вытереть после трапезы руки и губы.

— Пойдем, прогуляемся в сад? Где моя палка...

Мальчик подхватывает ее, подает:

— Ну расскажи-иии.

— Алкамен! — строго выговаривает ему Арета.

— Да расскажу, что ж тут такого, — улыбаюсь я им, — жили-были, точнее, будут жить люди. Лет через тысячу или две после нас. Мир будет всё таким же, только они наизобретают там всякого. Ух, нам бы с тобой, Алкамен, их игрушки! Они там обитают в больших каменных домах, некоторые даже выше, чем в нашем Риме. Они обожают суетиться, все время носятся куда-то в таких железных повозках, совсем без лошадей — если бы нам такую, мы бы отсюда в Антиохию запросто добрались за пару дней.

— Ух ты!

— Ага, они огромные, эти повозки, даже спать внутри можно. Но это все неважно. Книги у них... все только кодексы, не видел ни одного свитка. Впрочем, нет. Когда Дионисий был малышом, как ты, у него

были маленькие такие свитки, полупрозрачные, и если их поднести к свету, на стене появится картинка — ну как сейчас у нас от виноградной лозы. А если постепенно перематывать свиток, то получится целая история. Там это называли словом «диафильм».

— Везет же им!

— Я вот задумался, что кодекс действительно удобней, его можно перелистывать, не то, что свиток. И смотри, они там читают, буквы у них почти как греческие, а некоторые люди там даже знают латынь. Они — потомки нынешних варваров, но всё у них есть: и водопровод, и канализация в городах. И даже библиотеки!

— Но, слушай, — продолжаю я, — они почти все умеют читать, и книги там очень дешевы. Но им милее другое — смотрят на деревянный ящик, где им показывают волшебные картинки...

— Диа... эти самые?

— Нет, хуже. Каждый день разные картинки в движении: что происходит в дальних странах, кто про что спел и кто как пошутил. И они забывают свою цельность и глубину, если у кого они и были, гонятся, как листья на осеннем ветру, за чужой и неприметной пустотой, лишь не бы не думать, чем живут сами. Взоры глупца, учит нас Писание устами Соломона, обращены ко всем концам земли. Нечему там завидовать, малыш.

Мальчик слушает, раскрыв рот. А мы (я опираюсь на руку Ареты) выходим в осенний сад, он пахнет вечностью и спелыми яблоками, и лоза на окне словно тянется к нам, и старая смоковница протягивает спелые плоды. Как прекрасен этот утренний мир!

— Есть у них, вы удивитесь, своя империя, и она тоже воюет с варварами на окраинах, и покоряет соседние царства, а они против нее восстают, и об этом им тоже сообщает колдовской этот ящик. И есть в ней свои воины и свои полководцы, и многие полководцы хотят быть императорами. И даже некоторые солдаты. Всё, как у нас. И как у нас, у них недавно гнали христиан, а теперь поняли, что бесполезно — и уже признали христианство дозволенной верой, как было у нас при Севéрах. Пустили в ящик. А скоро, пожалуй, сделают его и государственной религией. Да и нас ведь такое ждет — только без ящиков и диафильмов.

— Да неужто? — ахает Арета.

— Вот здорово! — вопит мальчишка.

— Но я уже этого телесными глазами не увижу, а ты, малыш, пожалуй, да... Только это будет новым и еще более сложным испытанием для церкви. Нет груза тяжелей ответственности за других, нет опасности горше собственной власти. И если империя не смогла нас сожрать и переварить — она постарается нами притвориться. Помнишь, мы говорили про три искушения Христа в пустыне?

— Там было про хлеб, про броситься с крыши, — мальчик морщит лоб, — а третье забыл.

— А третье, малыш, это власть. Власть над другими людьми. И нет маковой росы ее прилипчивей и слаще. И на всё пойдут люди, чтобы ее получить и удержать. А уж если поднимут на властном знамени своем крест... Знаешь, мы кажется, могли с одной доброй женщиной, ее звали Мамея, сделать так, чтобы христианам дозволялось быть — да и только. Чтобы никому не дозволялось насилия над чужой совестью. Верь, как сочтешь нужным. Мы могла об этом людям тогда сказать.

— А что же... — это уже вступает Арета.

— А кто бы нас с Мамеей тогда послушал, — улыбаюсь я, — если люди хотят насилия, они его получают. Они будут убивать, думая, что выполняют приказ императрицы отменить убийства. И скоро, скоро добрая моя Мамея была убита теми, кто хотел служить Риму. Но по-другому, нежели она.

— Что же нам тогда делать, отец мой Ориген, что делать?

Малыш ждет от меня ответа, но у меня его нет. Солнце рисует ажурный узор на белой стене. Перезрелая смоква падает на камень дорожки, растекается жирной кляксой — то-то будет поживы насекомым. Недоступный глазам моим зоркий сокол парит в высоком небе, высматривая добычу. А я не знаю, что сказать про чужую, непривычную жизнь.

Моя-то испита почти до доньшка.

Но как же прекрасен ее остаток!

Август и грозы

К его двадцать второму дню рожденья, к шестнадцатому августа — в Москве закончилось лето. Как-то очень рано, по-прибалтийски, это там местные шутили: «лето было просто отличным, только жаль, что пришлось на среду». Но уж в Прибалтике так положено: в марте начинается весноосень и длится она примерно до нового года. Лови себе где-то посредине теплые деньки, гуляй и купайся, вот в этом июле им с Верой вполне удалось.

А когда он в Москве — да ну его, это лето, пусть заканчивается! Ну что хорошего в этих раскаленных каменных джунглях? В фонтане перед Институтом марксизма-ленинизма плещутся детишки, девушки гуляют почти в купальниках и мороженщицы за день делают месячный план — вот, собственно, и все летние приятности глазу и желудку. Ну разве что съездить на пляж куда-нибудь в Серебряный бор, но это тоже целая история: сначала прохладное метро, зато потом раскаленный переполненный троллейбус. И пока доедешь на нем до воды по унылой, уставленной хрущовками Хорошевке, а особенно — пока вернешься обратно, пожалеешь, что вообще куда-то поехал.

Лучше уж дома, поближе к книжному шкафу. Ну к приятелям выбраться разок-другой на дачу, в лес, к речке. Да и то неохота, если честно.

А тут Вера позвала его знакомиться с родителями. Протокольное московское чаепитие в панельной чертановской трешке, зато с тортом из «Праги» — заодно и заговориться перед постом. Верин папа был инженером на производстве, мама редактором в техническом издательстве, образцовая семья: вечные походы-палатки-байдарки, а с недавних пор еще и всенощные-литургии, но это в основном у мамы и у Веры. Впрочем, папа тоже не возражал, а порой и участвовал. Был еще старший брат, но он уже жил во всех смыслах отдельно. И серый бывалый котяра, который придирчиво Дениса обнюхал и пообходил стороной, а потом нахально улегся к нему на колени и замурчал ласково

и яростно, к одобрению всей семьи: Пират не к каждому на руки идет, он хороших людей нутром чувствует.

Когда закончилась обязательная часть, они вдвоем с Верой пошли в ее комнату: письменный стол и диванчик, ну почти как у него, еще со школы, платяной шкаф, и полки, полки, полки с книгами. В красном углу — иконы, на стене поодаль — фото царской семьи. А еще пара японских гравюр (это папа раньше увлекался, уточнила Вера), портреты Платонова и Бродского (Денис одобрил), в общем — жилище скромной, но продвинутой, не фанатичной православной барышни с хорошим вкусом и образованием.

Так было ему странно описывать это как будто извне, словно не в гости он пришел к своей девушке, а так, пролетом с Альфа-Центавры на Альдебаран посетил знакомую, но все же не свою цивилизацию... Почему все-таки не свою? Ведь девушка — точно его?

— Слушай, — оглядевшись, начал он серьезный разговор, чтобы не зависеть на мелочах, — а как тебе то, что... ну, приятель наш этот новый в Юрмале говорил? Сема.

Вера пожала плечами, но не безразлично, а с каким-то будто даже сочувствием:

— Да в общем, ничего особо нового. Я давно... ну нет, недавно. Но я это знаю.

— И это всё правда?

— Часть ее. Ну как в природе: где-то грязь, где-то цветы. Мухи и пчелы выискивают разное.

Ответ казался заученным, не убеждал.

— Слушай, но неужели...

— ...я готова оставаться в церкви, где всё это есть? Да, готова. Ты не знаешь, ты в армии тогда был, а мы к вере пришли втроем с Лизой Стеблиной и Маринкой Шумиловой с нашего курса, с русского, знаешь же их?

— Ну да, слегка так.

Денис плохо запоминал людей, они были словно фоном, где-то на заднем плане. Да, имена-фамилии такие вроде на курсе у них звучали, да только... он бы не опознал их в толпе однокурсников.

— Ну вот смотри. Мы много тогда говорили о Боге, как раз только-только начиналось: книги, лекции в ДК, вообще стало можно. И заговорили сразу обо всем. Ну и...

— И?

— Я — как видишь. Лизка вспомнила про свои польские корни и пошла к католикам. Нет, ну не в польской прабабушке дело, конечно. Она сказала: там подлинно вселенская церковь, а вы — провинциалы византийские.

— Так и заявила?

— Ага. Мы как раз обсуждали декларацию митрополита Сергия. Знаешь?

Денис не знал.

— Ну это когда он еще в двадцатые подписал документ, что, мол, преследований за веру в СССР нет и что «радости советского государства — наши радости, его горести — наши горести». В смысле наши, православных христиан.

— Ну, как его граждан? В смысле: репрессии, к примеру, горести? А победа над Гитлером — радость.

— Вообще-то, — Вера серьезно покачала головой, — в изначальном контексте это была явная декларация стопроцентной лояльности. И репрессии против верующих — они уже шли. А он заявил, что их нет.

— Заставили?

— Наверное. Мы не знаем. Или просто сказали: если не подпишешь — завтра расстреляем сто человек, или оставшиеся храмы закроем. Он подписал, Сергей.

— Это который потом, во время войны, был избран... ну, или Сталин его поставил — патриархом?

— Ну да. И есть даже целое такое понятие: сергианство. То есть соглашаться с любой властью, пусть даже безбожной, пусть самой гонительской — лишь бы дали хоть немного пожить спокойно, лишь бы не до конца изводили.

— Ну...

— Вот я тоже не знаю, как это — глубоко вздохнула Вера, — а Лизка

сказала: это потому что у вас священники женатые, им о семье заботиться надо. И главный — патриарх, или вот даже местоблюститель, подчинен светской власти. А у католиков все холостые и есть папа, он никому не подчиняется, при Муссолини он же не выпускал никаких деклараций.

— Да и против вроде ничего не говорил...

— Ну, в общем, я не знаю, как оно на самом деле. Но Лизка сказала: цезарепапизм. Когда кесарь на месте папы, когда любая власть всегда права.

— А при чем тут...

— Ну а раз любая права — значит, кто при власти, того и слушайся. И «зверонравные владыки» (так, что ли, у него было, у Семь?) — оттуда. Поклонение власти как таковой, без разбору.

— Можно подумать, у католиков такого не бывало...

— Ну всегда же кажется, что где-то лучше, чем у нас.

— Ну да. А Марина?

— Она тоже против сергианства была, считала его ересью натуральной. Лизка решила, что так оно еще с византийских времен повелось и что это родовая травма православия. А Марина — что вот с этой декларации благодать оставила всех, кто с ней согласился, кто стал почитать Сергия как предстоятеля русской церкви.

— Слушай, я не понимаю, — Дениса это начинало злить, — ну что такого особенного? Ну даже если бы этот Сергей ел младенцев на завтрак, а по вечерам грабил старушек, это же его личные грехи! Что, римских пап не бывало еще покруче? Или что, при Никоне-Аввакуме не жгли никого, батогами за веру не били? Это грехи тех, кто такое творит.

— В том-то и дело, — Вера была грустна, но серьезна, — что для Лизки с Маринкой это системный перекосяк. Ересь, и всё тут. Государство на место Бога.

— Маринка тоже, что ли, в костеле?

— Да нет. Она католицизм считает ересью не меньшей. И экуменизм, кстати, тоже. Она покрутилась, поискала, есть ли у нас несергианские православные — за границей вон есть, потомки эмигрантов. А у нас не нашла. Сейчас к старообрядцам ходит,

присматривается.

Денис понял: это та самая девушка в неизменном строгом платочке, которую и с Верой-то нечасто рядом увидишь.

— Ну это уж вообще что-то допотопное...

— Не скажи. Для нее главный перекося случился, когда Алексей Михайлович с Никоном православие русское слегка подправили по греческим образцам, а Маринка говорит — об колена переломали, сделал подпоркой для царевой власти. И всё с тех пор уже не так.

— Всё не так с Эдемского сада, — сказал Денис почти в шутку, — нечего было прародителям яблоко есть!

— Там, кстати, не яблоко, а просто «плод», в тексте Библии. Яблоко — это уже наше воображение. Это уже люди домыслили.

— Хочешь сказать, и в православии многое так?

— Оно вообще так в этом мире. Каждый домысливает свое. И ты, и я, и Сема, и Маринка с Лизкой. Только Бог видит нас всех без фантазий и искажений.

Вечерело. За Вериним окном багровая полоса заката — по-августовски густая, тяжелая, ранняя — гасла над многоквартирными коробками, а в них зажигались люстры и лампы чужого уюта. И если встать к окну — можно до бесконечности гадать, что там, в кругах недостижимого света. Хочется верить: любят и понимают друг друга, говорят о главном и важном, как они с Верой. А ведь на самом деле где-то пьют дешевый портвейн и разбавленный технический спирт, или из вечера в вечер бессмысленно истязают друг друга, или просто смотрят тупое, бессвязное кино, лишь бы не видеть, не слышать, не помнить друг друга.

Зато свет от был лампы похож на янтарь. На тот самый Надюшин янтарь в ящике его стола. И что теперь?

— Духота такая сегодня. Гроза, наверное, ночью будет.

— Не знаю, — протянула Вера, — не знаю. Ты не обижайся только... Гроза у тебя внутри. Штормит тебя.

— Что? — Денька не обиделся, удивился.

— Ну было розовое время. Я же помню, сразу после крещения. А

теперь штормит. Видишь всё теперь с разных сторон, а не только со светлой.

— А ты?

— И у меня так было. Прошло.

— Совсем-совсем прошло? И больше не думаешь о дурном?

— А что о нем думать? Оно есть. Ты что думаешь, в церкви все святые? Перед исповедью вон говорят: во врачебницу пришли. Много в больницу приходит здоровых? В отделение гнойной хирургии? Красивые они все там, сильные?

— Но должны же становиться лучше! — Денис не сдавался.

— Так и становятся. Хотя тоже, конечно, не все...

— Вот видишь: не все! А кто-то и хуже, как Сема рассказывал. Кого-то портит в конце это православие. А которых больше, как думаешь? Или даже так: а можно ли оправдать наличие всех вот этих зверонравных — праведниками, пусть даже их будет в сто раз больше?

— Откуда мне знать, — пожала плечами Вера, — я девочка.

— Да ла-адно, — рассмеялся Денис, — вот уж не твой точно довод! Что, Kinder, Küche, Kirche? ²¹

— Вы, мужчины, — она улыбнулась доверчиво и чуточку робко, — вы вечно спорите о больших вещах. А мы заботимся о маленьких.

— Вер, я не поверю, что это про тебя. Ты не курица-наседка.

— Это про всех. Ну начиная с Богородицы. Это в Ветхом Завете были женщины-героини: воительница Иудифь, пророчица Девора... Хотя и там была просто Руфь. Она вроде ничего такого, а стала прабабкой царя Давида. И Дева Мария... ну, там спорили саддукеи, фарисеи, вот это вот всё. Она просто родила, вырастила. Просто любила.

Денис молчал.

— Вот я себя с ними не равняю, конечно. Но я просто живу. В Церкви есть Христос. Есть прекрасные люди, с которыми мы вместе. Есть не очень прекрасные, и как-то не лучшеют они, Сема прав, да, но не в этом же дело. Я без этого просто уже не могу. А на всякое я глаз не

²¹ «Дети, кухня, церковь» (нем.) — устойчивый оборот речи, означающий «место женщины» в традиционалистской семье.

закрываю. Просто... ну куда я из церкви пойду? К кому? Это ж как из дома родного уйти. В пустоту? К католикам, баптистам, лютеранам? Там своих, что ли, тараканов нет?

— Да я ж не говорю уходить, — пожал плечами Денис, — но вот ты про Христа... Это да. Это я не спорю. Но вот смотри, я всё со своим Оригеном. Его за что осудили? Главным образом, за то, что все спасутся. Ну так он учил. Все-все-все, даже сатана.

Теперь молча слушала Вера.

— И вот смотри, ты и все вот эти праведные, прекрасные люди, которые будут со Христом... вот вы попадете в рай. Как в притче о богаче и Лазаре. Будете там наслаждаться друг с другом, с Авраамом, вообще со всеми. А там, в аде, в муках — негодяи. И просто те, кто не понял, не разобрался. Капееэшник наш, Кречетов, ну вот хоть он — сталинист же упертый, атеист. Он попадет в ад. Так?

— Я не знаю, — тихо ответила Вера.

— Ну по всему выходит, попадет. А он на фронте был, ранен там. За что его? Он рая точно не заслужил. Но и ада, по-моему, тоже.

— Не нам решать.

— Слушай, вот ты сейчас говоришь заученными какими-то словами. Чужими. Ну да. Не нам решать. Но кто-то-то в ад попадет, так? Вечные муки. Вечные. Беспредельные. Бесконечные. Бессмысленные. И мы там, наверху... вы, там, наверху, на лоне Авраамовом, будете так саркастически: так им и надо, так им и надо! Тысячу лет, две, три. И никто не скажет: стоп, я так не играю, хватит уже. Ты вот разве не скажешь?

— Я думаю, Христос что-нибудь придумает, — спокойно ответила Вера.

— Вот я уверен, что придумает! А Оригена за это — осудили! Это как? Да еще посмертно, чтобы он возразить не смог.

— Мне кажется... — Вера немножко смутилась, — ну это как в детстве папа мне иногда грозил ремешком. Но никогда-никогда! А я ужасно боялась. Я думала, что он — может. Он на самом деле не мог и не хотел, но он просто давал понять: вот дальше может быть оно. Так что пора остановиться. Действовало.

— Божественная педагогика, — хмыкнул Денис, — мы как малые дети.

— Ну да, — Вера улыбнулась, — это же так легко и просто! Мы малые дети. Он — Отец.

— А ты не думаешь, что это всё просто такая добрая детская сказка? Не приходит иногда в голову? Что люди выдумали это всё про Бога, про рай и ад, чтобы легче жилось? Чтобы умирать не страшно. Чтобы не обидно, когда одним всё, а другим — ну там, я не знаю, лагерный барак, миска баланды, смерть на лесоповале в двадцать лет. Или вообще в Освенциме в пять.

— Иногда приходит в голову, — кивнула Вера, — но я тогда просто молюсь. И Он рядом. И это уходит.

— Девочка всё ждет принца на белом коне, — Денис не то, чтобы хотел ее обидеть, просто сдаваться не хотелось. Не по-пацански как-то.

Вера встала со стула. Денис стоял у окна — остался стоять, когда глядел на чужие огоньки. Подошла, тронула тихонечко за предплечье:

— Девочка своего принца дождалась.

Это было словно с разбегу — в ледяную воду.

Она уткнулась горячим лбом ему куда-то в плечо, неловко, смущенно, нерасчетливо. А он... ну что он мог сделать? Что вообще делают, когда такое? Обнял, нагнулся, потянулся губами к губам...

Далекие огоньки не хотели их смущать, они жили, горели, слали сигналы в бесконечное и безмолвное пространство космоса, чтобы затеряться в веках, не пережить этой ночи, растаять, растеряться, погаснуть. А поцелуй был долгим, неумелым, неуместным. Денис прикивал к ее сочным и нежным губам, словно к иконе праздника на аналое, и сравнивал, вспоминал, мучительно проживал — как прикивал совсем к другим губам всего одно лето назад. Он целовал сейчас Надину тень, и не мог ни оторваться, ни утолиться. А Вера думала — что целовал ее. И лампа горела тем самым янтарем.

А кот Пират, неизвестно как прокравшийся в комнату, терся им об ноги. Он понял, что здесь ласкают друг друга, и был недоволен, что не его.

— Как он сюда пролез только, — смущенно спросил Денис,

ухватившись за этот повод разомкнуть объятия, — дверь не закрыта, родители...

— Я закрыла, — Вера не поднимала глаз, — он такой хитрый и здоровый, он научился подпрыгивать и лапой ручку открывать...

И, чуть помолчав, добавила:

— Я вот думаю, он и в Царствие тоже пролезет. Ну как же там без него?

Можно было закрыть дверь заново и продолжить. Но Денис сказал:

— Умный кот, ага... Слушай, у меня же день рожденья в четверг. Я думаю, устроим чё-нить в воскресенье, как раз и праздник, Преображение...

— Ну да, — Вера так и не поднимала глаз.

— Позовем, кто из наших в Москве. И вот еще... день вроде как постный, ни мяса, ни выпивки...

— Вино на Успенский пост можно, — кивнула Вера.

— О, отлично. Ну я там, если удастся, колбаски все же подрежу, кто хочет, пусть ест. А то что я как фарисей буду...

— Конечно.

Она подняла глаза, светившиеся недоверием и счастьем: «ты правда меня любишь?» И чтобы не отвечать словами — он снова приник к ее губам, жарко и лживо. И наплевать на родителей.

— Витя, твои очки для чтения на кухне, смотри, искать будешь — донеслось издалека, из другой Вселенной.

— Ага, спасибо, сейчас не нужны, — в ответ.

Какие деликатные родители, — подумал Денис — предупреждают о своих перемещениях по квартире. Стала бы так его мама? Наверяд ли...

А минут через двадцать он уже шел от Веры к метро по чужому ночному кварталу и думал об Оригене, только о нем. Об остальном — не хотелось.

Гроза пришла всего через пару дней.

Он плохо в ту ночь спал — снилась какая-то липкая муть. Проснулся поздно в душной пустой квартире — мама была в деревне у

тети Лиды, догуливала последнюю неделю отпуска. Холодильник был почти пуст, разве что четыре одиноких яйца — вполне себе завтрак для студента. И не успел он их пожарить, все четыре, и прикончить, как зазвонил телефон.

— Денис Аксентьев? — строгий женский голос, наверное, из какого-нибудь военкомата. Хотя что ему теперь военкомат?

— Я.

— Вам привет и поздравления от Аркадия Семеновича. Желаем здоровья, успеха, счастья в личной жизни.

— Подождите...

— У вас ведь сегодня день рождения?

— Завтра. И почему...

— А, значит, у меня неточность в записи. Ну ничего, примите пожелания в любом случае.

— Благодарю.

— Аркадий Семенович в заслуженном трудовом отпуске, вот просил напомнить о себе. Передать, что все договоренности в силе, что в сентябре обязательно сам свяжется с вами.

— Подождите...

Денис колебался: рассказать ли о том подслушанном разговоре, из-за которого он метался тогда по дворам, искал явочную квартиру? Тогда казалось все это таким срочным и важным, а теперь больше походило на фантазию.

— Я стал свидетелем случайного разговора на улице. Подозреваю, что готовится убийство...

— Денис Васильевич, ну вы же понимаете, что это не к нам. Это в милицию вам надо, заявить о готовящемся преступлении.

— Но я считал...

— В милицию. Обязательно там опишите, как точно всё было. Всех вам благ!

Трубка уже гудела. И Денис так и не спросил их номера... Говорят, из Америки уже привозят телефоны, которые сами определяют номера и высвечивают на особом таком экранчике — но их пластмассовый

старичок с треснувшим диском был точно не из этих.

Милиция? А что он ей скажет? Слышал пару месяцев назад разговор незнамо кого незнамо с кем, насочинял там себе всякого... Позориться только. Лучше всего уговорить себя, что ничего такого и не было, досужий треп ни о чем.

Оставалось, раз уж он у телефона, обзвонить ребят, кто окажется в Москве, позвать в гости. Как всегда, почти никого не оказалось — или просто телефон не отвечал. Изобрести бы, — думал Денис, — вот еще такой какой-нибудь телефон, чтобы он отвечал не бессмысленными гудками, а информацией: я сейчас на даче, вернусь — перезвоню. Или: впала в мизантропию, прошу не беспокоить. Впрочем, и это наверняка уже в Америке есть.

Неожиданно отозвался Сема — Денис и его решил позвать. Почти ничего не слушая, радостно сообщил, что работает теперь в новомодной газете «Коммерсантъ», да еще и с ером на конце в виде завитушки, издается она с тыща девятьсот ноль мохнатого года, продолжая традициии росийскаго просвещеннаго купечества. Где бы еще букву ять туда вставить, — переспросил Денис, — на что Сема со смехом ответил, что ять был в старой, дореволюционной орфографии, а на нынешний манер выходит буква «дабл ять», но она пока совершенно непечатна. Впрочем, уже скоро! Звал работать в свой отдел, рассказывал про перспективы и гонорары, но для Дениса это было все одно, что отряд космонавтов. Придет ли Сема отмечать, так и осталось неясным.

Да, оставался еще вопрос с выпивкой. Мама, конечно, приедет сегодня вечером, привезет от тети Люды мешок провизии, словно в восемнадцатом году. Как же иначе! Мамы на то и мамы. Но вот самогону деревенского — это вряд ли.

Антиалкогольная горбачевская истерия сама как-то сошла на нет. Государство уже было радо продать своим гражданам хоть что-нибудь, да нечего было. В винном в Столешниковом иссякали извечные запасы цинандали-ахашени, оно и понятно: Грузия отделялась, как и всякая порядочная советская республика. А ставить на стол какие-нибудь «Три топора» или «Плодово-выгодное»²² было все же совестно.

22 Простонародные названия низкосортных вин «Портвейн 777» и «Плодово-ягодное».

Впрочем, была еще вполне приемлемая по цене новинка: алжирское красное сухое «Montagne des lions», «львиная гора», хотя обычно почему-то переводили наоборот: «горный лев». Оно и понятно: на этикетке сидел на горе гривастый такой лёвушка, а что там написано на загадочном французском, так это мало кого интересовало. Пить, во всяком случае, было можно. Покупали кто побогаче, коробками, и совершенно, кстати, зря: как ее распечатаешь, окажется, что часть бутылок с недоливом, притом заметным. Как это может быть? Знающие люди подсказали: там, в магазине, или даже еще в порту, куда советские сухогрузы везли обратными рейсами коробки с вином вместо танков и прочего вооружения для братского алжирского народа, какой-нибудь грузчик вооружался здоровенным медицинским шприцем, неприметно протыкал им пробку прямо через коробку и выкачивал себе грамм по двести на опохмел. Поэтому брать надо было отдельными бутылками — недолив сразу видать. Впрочем, кто помешает набодяжить потом водички с марганцовкой и продать бутылку как целенькую, полненькую? Да никто.

В общем, Денис пошел в Столешников. Заодно что-нибудь к обеду поискать, мама с едой ведь только вечером приедет.

Но в винный, в эту толчею, в перепляс рублей и бутылок погружаться сходу не хотелось. Москва изнывала в душном мареве августа — и Денис пошел прогуляться по бульварам. Выйти с Пушкинской на Страстной, а потом по Петровскому к Трубной, и дальше, если захочется, по Рождественскому, по Сретенскому, по Чистопрудному. Сами эти названия были тенью старой, досоветской Москвы, колокольным перезвоном ее монастырей, радугой ее дождей и прудов. Той Москвой, в которой так хотелось жить — и которой не бывало, пожалуй, никогда. И небо заволакивало густой синевой, поднимался ветерок — приятная свежесть после душного утра. Вдали ворчала гроза, и было еще неясно, дойдет ли она сюда.

Что нужно, он купит как-нибудь потом. Проголодается — зайдет в пирожковую на Рождественке (бывшую Жданова), там даже с мясом бывают пирожки, по десять копеек. Теперь уж небось по тридцать, да ведь вкуснее тех пирожков не сыскать — три штуки, вот и славный обед.

По Рождественскому навстречу ему спускались двое. Денис плохо

запоминал лица, чужие люди были для него расплывчаты, но этих двоих он знал. Просто не сразу вспомнил, откуда. Они говорили меж собой тихо, даже не вполголоса, а почти шепотом, и ничего нельзя было разобрать. Так не обсуждают баб, футбол или политику. Наркоту вот, наверное, так продают... Впрочем, теперь и ее, кажется, можно?

И когда поравнялся с ними, молчаливыми, настороженными, даже скорее когда разминулся, он вспомнил, вздрогнул и обернулся. Он просто не видел их никогда прежде вместе. Один, тут он был почти уверен, тот самый безликий, что был в церкви на Рождество и у Данилова монастыря совсем недавно. Надо же, и теперь на Рождественском попался — блеклый, вялый, никакой.

А вот второй сочился уверенностью и силой, хоть и был невысокого роста. Это же он тогда, зимой в Питере, сидел рядышком на вокзале, он тогда еще оборвал какую-то заполошную тетку: я, мол, воевал, порядок пора наводить. «Сук за яйца», — так он, кажется, тогда сказал? Денис еще хмыкнул про себя: ну какие же у сук могут быть яйца.

Филолог хренов! — обругал он сам себя, — только про слова и думаешь, а что толку? Вот только этим утром говорил с тетенькой из ГБ, и не смог, не убедил, не предупредил. Слов не нашел. А теперь? Вот эта пара — она как тлеющий окурок и стог сена. У одного идеология, ядовитая, мерзкая, в мерзости своей — простая, понятная, желанная. У другого — тупая сила и боевой опыт. Один объяснит, почему так надо, не словами даже объяснит, одними ухмылками, зарядит своей злобой чужой ствол. А второй — прицелится и нажмет на курок плавно, как его научили, в перерыве между двумя ударами сердца, и спать в ту же ночь будет совершенно спокойно.

Денис остановился. Свет словно померк... нет, ну он правда померк, никаких речевых штампов. Тьма, пришедшая с атлантическим циклоном, накрыла... нет, не то, не то, не то, снова чужие слова.

И не хватало-то как раз — чужих слов. Слов, сказанных между этими двоими, слов, которые можно было пересказать, изложить в заявлении, сообщить органам (да плевать, зовите стукачом, я же спасаю человека!).

Он повернулся как можно независимей и спокойней: вот,

вспомнил, что вино надо к воскресенью купить, алжирскую львиную гору, как раз и винный есть неподалеку — и... тут наконец полило. Рвануло, закрутило дождевые струи в нелепой пляске, смыло пыль, тяжесть и грусть огромного города, совсем не приспособленного к лету.

А раскаты ближнего грома заглушили слова, стерли всё, что могло прозвучать и быть услышанным. Эти двое раскрыли общий зонт, рванули к ближайшему подъезду, спрятались, и Денис понял, что их упустил. Бежать за ними, врываться в ту же дверь? Потребовать раскрыть секреты?

Но, Господи, если ты мне их послал навстречу сегодня — может быть, пошлешь еще раз? Я постараюсь не сплеховать.

Зонта у Дениса не было, да он бы уже и не помог: ни одной сухой нитки на нем не осталось. И было даже немного приятно после этой душной жары ему, продрогшему до озноба, пережить остаток грозы в чужой подворотне, глядеть, как несет вдоль тротуара гроза обрывки газетных новостей, арбузную корку, всю эту повседневную грязь — вместо упущенного им великого злодейства.

А потом бродить, заранее зная, что уже простужен, по утихавшей и уже совсем осенней Москве, провожая мимолетную грозу. Бродить и ни о чем, ни о чем больше не думать — дышать, чувствовать, сочинять.

Он не любил Веру. Он не отследил убийцу. Но к концу этой прогулки были готовы стихи.

*... А деревья на Трубной — шумели,
а асфальт под грозой — бурлил...
Без зонта, без любви и без цели
я Москвою советской бродил.
Рокотало, кипело и било,
и по улицам мусор несло.
Я придумаю, как это было,
и запомню, как быть бы могло.
Я ловил эти запахи, звуки
мною придуманной прежней Москвы,
где нам крыльями — слабые руки,
где нам счастьем — наклон головы,*

*где лишь мокрые липы да клены,
да раскаты — в остаток, вдали...
Да бульварами — мальчик, влюбленный
в обнаженное счастье земли.*

Часа через два Денис, шмыгая носом, поднимался по собственной лестнице. В авоське позвякивали четыре «львиных горы» да еще две водочных поллитровки по талонам, и он думал, что одну поллитровку точно сейчас откроет и заварит горячего чаю с медом и лимоном (вроде, лимон в холодильнике был, сиротливый, подсохший, но лимон). А потом вольет туда грамм пятьдесят... и повторит. Согревала даже мысль об этом.

Хрипловатый знакомый голос звучал из-за любкиной двери, и Денис, как ни торопился острограммиться, невольно остановился:

*В нашем смехе и в наших слезах,
и в пульсации вен —
перемен!
Мы ждем перемен.*

Он уже прежде слышал эту песню — и в фильме про Бананана, и где-то просто так, и была она — совсем настоящей. А что у него? Мальчик, влюбленный... Смех, и только. Самолюбование. Перемен. Мы ждем перемен. Кто это сочинил — сумел назвать главное.

Любка наверняка была дома, и ее, конечно, тоже стоило пригласить. Он позвонил в дверь. Дверь открылась не сразу, Любка была растрепана и заревана, тыльной стороной ладони вытирала глаза:

— Деня! Денечка, ты же, конечно, уже знаешь, что он... погиб?! Ты же уже слышал?!

— Нет, — настороженно ответил он, ничего еще не понимая.

— Сегодня! Как раз ты же в Юрмале только что был...

— Да кто он? — переспросил Денис ошалело. Про Любкиного отца он вообще никогда не слышал, братьев у нее не было, парня, вроде, тоже.

— Ой, ты весь мокрый... тыходи, давай я тебя чаем напою, мамы твоей нет ведь дома... Да Цой же! Погиб!

— А кто это Цойже? — бездумно ответил он. Имя ему ни-че-го не

говорило.

Так и закончилось это лето.

Сон о пробуждении

Дождь. Стучит по крыше дождь. Сад ждал его так долго, и вот теперь тянется к небесам пожухлой своей листвой. Так бы и мне — ожить, очнуться, впитать живительную влагу.

— Отнесите меня в сад, — прошу.

— Там же дождь — недоумевают Арета. Арета, откуда здесь она, почему я опять в ее доме? То было в Александрии, а я... нет, это другое. Это вила друзей в окрестностях Тира, Арета — служанка.

— И отлично. Я хочу помокнуть под дождем.

— Разрешит ли лекарь? — а это уже мой епископ. Да, его зовут Феоктист. Он пришел сюда из Кесарии, чтобы отпустить мне, насколько это в человеческих силах, мои грехи. И просто, чтобы побыть рядом. Мы как раз только что говорили.

Забавно, в молодости я, было дело, самую чуточку поразвратничал и сгоряча чуть было себя не оскопил. Так оно и пошло с тех самых пор. Я было даже отрекся, но только чуточку, слегка, краем ладони ладана зачерпнул. Попробовал недавно погибнуть за веру, но так и не дошел до арены. Всего понемножку и ничего до конца. Не удивлюсь, если однажды меня назовут учителем церкви и тут же еретиком — но то и другое как бы понарошку, не всерьез.

— Просто ты — настоящий и живой. Не вписываешься ни в какие рамки, — сказал мне Феоктист, — это и ценю в тебе больше всего.

Я отвечал:

— Меня крестил, ты же знаешь, я говорил тебе... Феликс Аквилейский. В моем детстве, в Александрии. Я мало что знаю о нем. Тогда меня очень напугали его руки с содранными ногтями. А ведь далеко не самая страшная пытка.

И знаешь, он мне что-то тогда говорил, наставлял новокрещеного. Я ничего, совершенно ничего не запомнил, был мал, глуп и напуган. Спустя годы спросил об этом отца. И отец пересказал. Тот говорил: «Ориген, будь Оригеном. Настанет день, ты предстанешь перед Творцом.

Он не спросит тебя, почему ты не стал Феликсом Аквилейским, или кем-нибудь еще, или даже тем, кем хотели тебя видеть отец твой и мать. Он спросит только об одном: Ориген, был ли ты Оригеном? Я дал тебе так много — принял ли этот дар? И приняв, зарыл ли таланты в землю, от испуга или смущения, или просто от лени? Будь собой. Ищи себя. Ищи неповторимый Божий образ, который вложил в тебя Господь. Он — только Твой. Раскрой его в своей жизни, и в день смерти нечего будет тебе страшиться».

— Ничего себе слова для ребенка, — улыбается епископ.

— А может быть, он говорил иначе. Но так я запомнил... запомнил даже не его слова, а свое воспоминание о разговоре о них с отцом. Но я — я так жил. Думаешь, много ошибался?

— Думаю, много.

— Согласен.

Лицо Феоктиста расплывается. Это уже не он, а Деметрий — мой прежний епископ, он после моего отъезда из Александрии вскоре и сам оставил ее, но переселился за совсем иные воды. Он здесь?

— Не сердись, — прошу я его, — я был молод и горяч. Тебе со мной было трудно.

— Тебе со мной — еще труднее, — улыбается он.

Или это все-таки Феоктист? Или они оба?

И Пимен, тот юный чтец из северной страны, рука об руку с другом своим чтецом Андреем. Он тоже будет епископом великого града, этот Пимен, и тоже застанет пору гонений, а Андрей будет учителем, будет оглашать новоначальных. Только оба они еще не родились.

Меня, было, спрашивали: сотворается ли новая душа, когда мужское семя входит в женскую утробу? Или это бывает позднее? Или, может быть, души сотворены предвечно, и пребывают в прекрасном саду Небесного Отца, пока не пошлет он их на Землю, каждую в свой срок? Или вернее так: не Он посылает их, они отпадают от него, набухают плотью, обрастают кожей, рождаются в этот мир как в место испытания и наказания за то, что отпали. Разве не так? Вот и я вижу ныне души еще не рожденных...

Не знаю. Право, не знаю теперь ничего наверняка. Времени не

осталось — точнее, его просто нет. Вечность на то и вечность, что в ней нет ни «прежде», ни «после». Души — от Отца и к Отцу. Это я знаю, а больше ничего.

— Так тебя перенести в сад, Ориген?

— Да. К Отцу.

Здесь и отец мой Леонид. Улыбается, спокойно ждет, как в детстве, когда я забоялся перепрыгнуть через широкий ров, а он стоял на том берегу и подбадривал меня: «Чего боишься? Упасть? Упадешь — так встанешь и попробуешь снова».

Я скоро, папа.

Мама держит его за руку, они вместе, такие разные и простые. К ним — не страшно. И рядом — неисчислимы, неузнанные, близкие и дальние.

Ну же: путем всея земли...

— Не повредил бы тебе дождь... Мы спросим лекаря.

— Не повредит, — улыбаюсь я, — это совсем ненадолго. Мне надо... только надо прорасти.

Я зерно, падшее в землю.

Мой рост едва начался.

Мой Сеятель Сам прошел этим путем и теперь мне не страшно.

Капли падают на лицо — капли зимнего дождя и слезы друзей.

Не плачьте, люди. Один мудрец сказал: когда рождается человек, все радуются, а когда умирают, все плачут. Вы всё перепутали, люди. Когда корабль отходит от берега, его ждут шторма и напасти, и надобно плакать о нем. Но подобает радоваться, когда он возвращается в гавань.

Я хочу им это сказать. Но уже не могу. Молчит даже боль.

Капли, капли на лице. Сон и морок. Александрия, Кесария, Москва.

Сон и морок, и мамина рука на горячем лбу, и отцовский поцелуй в сердце, и голос епископа, молитвенника и господина моего: «восстань, спящий, и осветит тебя Христос».

Я сейчас встану. Только еще минуточку. Сегодня мне не к первому уроку.

Я пробуждаюсь медленно, бережно, осторожно — не расплескать

бы непутевую эту, испитую до доньшка и все-таки прекрасную жизнь, донести бы ее к престолу Света, положить к Его стопам. Вот таланты Твои, я сделал с ними, что мог. Не суди строго.

Заклинаю вас сернами и ланями полевыми, не тревожьте моей души, доколе ей угодно. Искала она Возлюбленного своего, изранили ее стражники ночные.

Не торопите. Я пробуждаюсь. Я вхожу в Его сад.

Сентябрь и электрички

Денис проснулся в тот день еще затемно: словно струна какая-то оборвалась там, внутри сна совсем без Оригена, с какой-то милой чехардой вроде греческих глаголов, отплясывавших сиртаки вокруг Первого гуманитарного.

И, долеживая сладкие минуты, думал все-таки об Оригене. Кусочки посторонней жизни так и не сложились в стройный и строгий узор. Великий экзегет, тема для прошлой курсовой, да и для следующей, пожалуй, — да, но... к чему был тот разочарованный старик в чужом саду? Ине слишком ли это всё как-то... слезливо, что ли? Настоящая античность была другой: злой, молодой, кровавой. Только представить: не было в ней ни антисептиков, ни дезодорантов!

И тонким мышинным писком зудело в глубине: а ведь и ты будешь умирать. И ты будешь стариком, и может быть, разочарованным, усталым, проигравшим. И как знать, для Оригена войти в чужой сон — не последняя ли попытка послать крик о себе? Сказать: я не полка в библиотеке, я был живой, я страдал, я жил.

Но он-то, Денис, он на верных рельсах, он никуда не свернет. Будут ошибки, но не будет сосущей пустоты, не будет напрасно прожитых лет. Он сделал верный, церковный выбор. Это Ориген из его снов — он ведь и вправду себя оскопил, пусть не тело, а душу. Или тогда, у окна, с ножом в руках — горячий, влажный, молодой — или позже, или раньше. Неважно: запретил себе выбирать, позволил обстоятельствам тащить себя по жизни, а потом лишь рыдал: не сбылось, не вышло, не поняли...

Задавил эту вспышку непрошенной злости: сегодня ведь воскресенье и надо — именно надо! — отправиться в тот гулкий и полуразрушенный храм недалеко от Сокольников, куда батюшка Арсений был назначен настоятелем. Службы там возобновились только этим летом. И раз уж встал так не вовремя, и сна ни в одном глазу — есть время спокойно почистить зубы (только воды не глотать, он ведь сегодня будет причащаться, если батюшка благословит), прочитать, не

торопясь, последование к причащению, одеться, собраться, доехать на метро, успеть подойти на исповедь перед литургией — встал он так рано, что окажется там одним из самых первых.

Вот и Вера наверняка придет. Вера. Верная Вера. Они встречались не только в храме, а теперь уже снова на лекциях — но Денис, входя в аудиторию, не выискивал ее глазами, не старался сесть рядом, сам ей места не занимал. Так и яблони у Первого гуманитарного не казались теперь волшебными деревьями, не хотелось срывать с них недозрелые мелкие яблочки. Да и лекции в Универе, и занятия в этом их УЦе — всё шло как обычно, не было того восторга возвращения, узнавания и открытия, как год назад.

И с Верой было — ровно и тихо. Врать совсем не хотелось, и целовать чужие губы. Да и она ничего не требовала, не спрашивала, хотя всё, наверное, понимала — встречала его светлой, радостно-грустной улыбкой. Они друг другу подходили, так говорили за спиной, наверное, все — а смотрели только на оболочки.

А он — не вписывался. И горел, пылал жарким пламенем в верхнем ящике стола — Надин янтарь.

Собрался, оделся, молитвы прочитал, помянул отдельно Оригена за упокой. Вышел из дома. Уже в метро сообразил: можно было молитвы и в пустом вагоне дочитывать, время сэкономить. Хотя... чего-чего, а времени этим утром был в избытке.

Предстоящая литургия была не радостью — повинностью. Вроде «визитных карточек покупателя», что летом так изумили его в Латвии, а теперь появились и в Москве. Звучит-то как заманчиво: приходишь в магазин, бросаешь лакею на серебряный поднос свою лакированную визитку: барон Аксентьев унд Альтенберг цу Моргензее изволит у вашего торгового дома приобрести профитролей с меренгами, пошлите моему дворецкому! А на самом деле — аусвайс такой с протокольной фотографией, без которого тебе в магазине пачку соли не продадут. Ну, или как с продавцом договоришься, конечно.

И литургия, праздник, радость, трапеза со Христом — стала для него такой же повинностью? Мол, раз христианин — по воскресеньям обязан. Да что же это такое!

Вежливо прожурчало: «Осторожно, двери закрываются» — и Денис выскочил пулей, уже между сходящихся железных створок, на станцию или две раньше, чем ему надо. Нет, он не будет врать ни Вере, ни себе, ни Богу. Ему не нужна сегодня литургия.

Станция оказалась Комсомольской, не по-воскресному шумной: брели себе пассажиры с баулами-чемоданами, стояла кучка растерянных новобранцев, видать, из Средней Азии, да при них бравый веснушчатый сержант-славянин. А еще молодые ребята-походники с рюкзаками громогласно обсуждали, где палатки ставить удобнее. За ними-то он и пошел, оказалось — в сторону Ярославского вокзала.

По дороге, у самого метро, купил кооперативную булочку, запил бутылкой нарзана из киоска — он уже точно не будет сегодня причащаться. На вокзале машинально взглянул на табло с электричками.

Загорск! Вот оно. Вот куда. Троице-Сергиева Лавра, где он так давно не был. Припасть к могиле Преподобного, попросить помощи и совета у него: как быть, во что верить? Отче Сергие, ты ходил в самой худой рясе, ты не знал, чем будут твои монахи ужинать завтра — а сегодня к тебе возят автобусами интуристов, сегодня Софринский завод священных изделий надежно покрыл тебя позолотой — как оно тебе? И мне-то, мне что делать?

Литургии, молебны, венчания — это всё когда-нибудь потом. Сегодня надо посоветоваться с Сергием.

И всё равно, колебался, мялся чего-то, долго покупал билет, тупил, не мог найти перрон — ближайшую на Загорск он все же упустил. Зато среди первых сел на следующую, через двадцать минут, до Александрова, с остановкой в Загорске, примостился у окошка, уткнулся в стекло. Прохрипел машинист свое «со всеми остановками, кроме...», лязгнули двери, поплыла за окнами рассветная Москва — серая с розовым. Скромная, тихая — как Вера. Только роднее и дороже.

А теперь была еще Люба. Нет, ничего такого — она смотрела на него с тихим обожанием, как на старшего брата, хоть и разницы было всего три года. Она твердо усвоила, что у Деньки есть девушка, и ничего такого не пыталась. Но давала слушать и «Кино», и «Наутилус», и «ДДТ»,

и вообще всё вот это роковое, настоящее, русское. Многое Денис уже знал — вот «Аквариум» практически весь наизусть, тем более Высоцкого. Все равно, сейчас он заново открывал для себя даже слышанное и напетое прежде, что он небрежно запомнил, да так и не вник. Может быть, потому и не шли у него все эти «каноны к причащению», византийское плетение словес, что были словеса — чужими, холодными, умственными на фоне сердечных Цоя и Шевчука. Интересно, доживи Высоцкий до нашей перестройки — что бы спел? «Нет, и в церкви всё не так» — повторил бы снова?

На одной из станций, Денис не расслышал ее названия, но уже на подъезде к Загорску, в вагон вошел человек в военной форме без знаков отличия и десантных берцах. Форму такую Денис в армии не носил, только видел — называлась «афганкой», говорят, там ее опробовали. Была она почти как у американских рейнджеров, а сам Денис все два года протаскал на себе что-то в том стиле, в котором Рейхстаг еще брали.

И все-таки было что-то очень странное в этой форме. Она была новенькая, как на парад — но забрызгана с правой стороны чем-то темным и на вид совсем свежим. Будто густой городской грязью его окатила проезжающая машина — да только откуда такая в сухом подмосковном сентябре?

И еще: висел на широком ремне сдвинутый на бедро чехол от саперной лопатки. Они в армии тоже такие таскали на учениях. Но самой лопатки — не было. И чехол был чистым. Что он мог такого копать в седьмом часу в воскресенье, да так забрызгаться, куда мог теперь ехать?

Свободных мест было немного — кто по грибы, кто на дачу, кто вот, как Денис, на богомолье... Парень нашел одно за три скамейки от Дениса, присел, склонил голову, словно собираясь подремать. И все-таки... Лицо! Тот самый, с Московского вокзала и с Рождественского бульвара. Теперь — один. Значит?...

Денис поднялся, подошел, тронул его за плечо:

— Доброе утро!

— Тебе чего? — парень нехотя поднял голову, глядел безразлично и

хмуро.

— Мы с вами встречались в феврале. На Московском вокзале в Питере.

— Дальше что? — он отвечал без явной злобы, но словно бы с затаенной силой. Недоброй силой.

— Да просто поздороваться хотел. Вы тогда наших поддержали. Тетка к ним привязалась, а вы... а ты сказал, что воевал и что тоже против старых порядков.

— Парень, ты вообще куда едешь-то?

— До Загорска. В Лавру.

— На следующей.

— Да, спасибо, я...

— Отъ.бись, — и снова уронил голову.

Что оставалось делать? Выйти на следующей, как и собирался. Ну что, что он еще тут мог?

Лавра встретила колокольным звоном, вавилонскими толпами, разноязыкой болтовней туристов, потупленными взорами паломников, разудалым трепом экскурсоводов. Приложиться к раке преподобного, отстояв длинную очередь — удалось. Нам ли привыкать к очередям! А поговорить с ним — нет.

Вечером Денис позвонил Семе — они иногда созванивались, он звал теперь уже даже не в «Коммерсант», а на первое независимое радио, «Эхо Москвы», обещал, что там горы можно будет сдвинуть и что скоро это самое «Эхо» затмит все «Маяки», вместе взятые. А Денька-то иного искал.

Сема трубку взял, что не всегда случалось, был грустен:

— Васильич, застал ты меня чудом. Похороны будут послезавтра. Там и увидимся, да? До тех пор, прости, даже говорить толком не могу.

— Какие похороны, ты о чем?

— Ты не знаешь?

Снова чужая смерть прошла мимо.

— Нет.

— Помнишь, я тебе говорил, съезди к отцу Александру в Новую

Деревню, с ним поговори? Я мол, злой, а он зато мудрый? Помнишь?

— Ну да, конечно, я же и книги его читал. Так...

— Убит сегодня утром по дороге в храм. Рядом с домом. Хоронить будут послезавтра, в его же храме отпоют. Ты к нему хоть съездил? Успел?

— Нет...

— Видиши, яко сильнии и младии умирают, — ответил Сема цитатой, но не было в этом ни поповского цинизма, ни бурсацкого сарказма. Была скорбь, которую не мог он выразить иначе, чем заученными и совсем не чужими словами.

А Денис, выходит — не к тому праведнику ездил. И не в тот день...

Через пять минут он стучал, звонил в Любкину дверь:

— Привет... Заходи! — она его словно ждала, — пирог с яблоком будешь? Мы с мамой спекли.

— Люб, я... помнишь, мы Цоя чаем и водкой поминали?

— Ну да...

— Опять есть, кого.

— Кто?! — распахнулись голубые глазищи.

— Ты не знаешь, наверное. Священник один. Мень.

— Отец Александр?! — еще шире, глубже, ярче, — да что ж за год-то такой проклятый! Лучшие из лучших!

— Ты его знала?

— А то... Денечка... я же вчера — ты слышишь, вчера! — мы вчера на лекции его были. И раньше я иногда ходила, и вот вчера мы с мамой... Заходи. Водки вот нет. Чай и пирог только. И свечка есть из церкви. Помянем? Ты же знаешь молитвы? Господи, как же это...

Как могла эта девочка, будущая швея, знать всех лучше и ближе него? Как оказывалась вовремя там, куда окончательно опаздывал он?

И на простецкой их кухне, с дешевой свечкой перед софринским образком Спасителя, он неумело возглашал, невольно подражая лесковскому дьякону Ахилле и склеивая, что только доводилось слышать на похоронах:

— Упокой, Господи, душу новопреставленного приснопоминаемого

протоиерея Александра, и учини его идеже несть болезнь, ни печаль, ни въздыхание сердечное, но жизнь бесконечная! Вечная память...

И Валентина Викторовна, Любкина мама, и сама Любка подхватывали неожиданно ладно и мелодично:

— Вечная память!

Потом ели пышный и сладкий пирог, прямо как в старые добрые времена до всяких там перестроек-перестрелок (как сказала Любина мама), пили чай. И Любка рассказывала, а мама ее поддакивала, что была эта лекция просто удивительной, никогда ничего такого они не слышали. Вот сказал он такую фразу: «христианство только начинается». Это вообще как? Они думали — давно сложилось, почти две тысячи лет уж как. В церковь придешь — там свои правила, там на всё свои ответы: как положено, как запрещено.

А если начинается — значит, еще ничего не решено? Значит, мы только пробуем и ошибаемся? А как же нам тогда быть, мы хотим точно знать: вот послезавтра день постный, Усекновение главы, так что с мясом пирог никак нельзя. Да мяса и не достать, с яблоками намного лучше. Ну да, мы, конечно, не фанатики какие-нибудь, мы знаем, что в пост главное — не есть других людей, но с мясом-то оно как? А с молитвами: согрешила мшелоимством и всякое такое, это тоже вроде как не очень про меня? И вообще, если я девочка, наверное, надо говорить не «согреших», а «согрешиша»?

На это последнее Денис смог ответить, подавив улыбку: «согреших» — форма аориста, первое лицо единственного числа. Безотносительно к девочкам-мальчикам. А «согрешиша» — просто третье лицом множественного, этот тут ни при чем.

А вот всё остальное...

— Какой вкусный пирог! — только и нашелся сказать.

И еще отец Александр сказал: «мы — неандертальцы Духа». Мы только пробуем, ничего еще толком не зная, наш опыт христианства — примитивен, как каменный топор первобытного человека. Да, были святые, да опережали свое время — так и не особо их чтили. Прямо скажем, убивали. Отлучали. Ну и всякое такое. Вот и его убили, незнамо кто и за что. Может быть, националисты, за то, что еврей, а туда же, в

православные священники? Или гебешники, за то, что людей приводил к Богу, от коммунизма отваживал? Или даже, ну глупость конечно, но вдруг — сионисты эти самые, что он евреев в Израиль уезжать отговаривал? Или просто — по пьяни, по дури, по удали?

Но не в том даже дело. Мы неандертальцы. Какая-то примитивная, вымирающая раса (целый биологический вид, поправил Денис). Троглодиты, каннибалы. Это что же, мы эволюционировать должны? А верить в эволюцию — разве не грех, не ересь?

Денис чуть чаем не подавился: да ведь опять выходит, как с Оригеном!

Мы про этого Оригена толком не знаем, но значит — нам надо не просто воцерковиться, как у них там говорят, а... что-то такое вот совсем неведомое, как тому неандертальцу синхрофазотрон. И как же нам быть? Нам бы попроще: вот с мясом пирог, вот с яблоками. Но это же будет не настоящее!

— Именно так, — кивал Денис.

Деня, Денечка, ты же умный, ты же нам объяснишь? И еще вот он сказал: «христианство не новая этика, а новая жизнь». Люба в блокнотик записала. С этикой всё понятно: моральный кодекс строителя коммунизма, потом оказалось, с Десяти заповедей там половину коммунисты списали, остальное их отсебятина. Ну все равно же это правила жизни. Это верно, разумно, хорошо. А чтобы вместо правил — сама жизнь? Это вообще как? Это на исповеди — что говорить? Не жила по-настоящему? А как жить?

Этим утром Денис ехал за ответами и не получил их. Зато теперь получал... нет, не ответы. Новые вопросы. Хлопок одной ладонью, как в буддизме: там учитель ничего не отвечает, но подталкивает ученика к осознанию, как нелеп и пуст был сам вопрос. Как только он до этого дойдет — достигнет просветления.

Денис его пока еще не достиг и просто пил чай с пирогом.

Через два дня они втроем садились в электричку на Ярославском: Денис, Люба и Вера — чтобы ехать на похороны отца Александра. Из их родителей никто не смог, им работать во вторник, да Денькина-то мама не особо и интересовалась.

Но нет, их было вовсе не трое. Как ручейки в дождливую погоду (но это утро выдалось ясным), стекались отовсюду люди, узнавали друг друга в лицо или просто угадывали по неосознанным приметам:

— Вы ведь тоже к отцу Александру?

Были тут и факультетские, и немало — вот и Ольга Никитична радостно ему улыбнулась. Как раз через полчаса должны были они засесть с ней в аудитории за Плутарха — а сели на соседние скамейки очередной александровской электрички. И ничего не надо было объяснять. Старосте группы она наверняка ведь позвонила.

И от электрички — людской поток нарастал, тянулся к маленькому деревенскому храму, где высокое духовенство уже начинало богослужение, его звуки едва долетали во двор. Всех не мог вместить не то что храм — просторный двор перед храмом, люди стояли поодаль, за воротами, залезали, лишь бы что-то увидеть, на крыши сараев и гаражей, переговаривались, как бывает, когда делят на всех внезапное горе.

— Мне сегодня отец во сне явился. Благословил. Дальше, говорит — сами.

— Дальше мы сами.

— А как?

— Священномучениче отче Александре, моли Бога о нас...

Кто-то тронул его за плечо, он обернулся: Сема! В костюме с галстуком, каким нельзя было прежде его себе представить, печальный и торжественный:

— Здравствуй, День.

И добавил, чуть помолчав:

— Смотри. Вбериай. Вот это и есть — церковь. Это редко когда увидишь.

А потом — Сему позвал какой-то оператор с тяжелой камерой на плече, он нашел выгодную точку на соседней крыше, и Сема стал пристраиваться в кадре, что-то комментировать, объяснять, суетиться...

Служба была долгой, но не тягостной — от того ли, что стояли на хрустальном осеннем воздухе (разве что сигаретным дымком откуда-то

сбоку потянуло), или от того, что изумление и горе нуждались в выверенных временем словах.

Кто себя чувствовал здесь своим — после службы остался помянуть, задержать это мгновение прощанья, причастности, сестринства и братства. А Денис с Верой и Любой пошли обратно, к электричке. Рассеивалось единое, подступало земное: купить в магазине пакет пряников да лимонада бутылку, обсудить, когда там перерыв в электричках и как добираться домой, если он еще не закончен...

И среди всего этого, с надкушенным пряником в руке, Денис вдруг застыл посреди дороги. Осколки чужих разговоров сложились в единую картинку.

— Девочки, а ведь он... он ведь не здесь, не в Новой Деревне жил, так?

— В поселке Семхоз, — кивнула Вера.

— Это ведь прямо перед Загорском, да?

— Перед Троице-Сергиевым посадом.

— Я... я ведь видел его убийцу. Два дня назад. И еще раньше.

Рассказ об этих встречах вышел у него путанным и, кажется, ни одну из девушек не убедил. А Денис уже задумывался: где лучше сообщать в милицию: если тут, в Пушкино, так и будут сюда таскать. Нет, лучше в Москве, в районном отделении. Но... поверят ли и там? Скорбь и горечь сменялись холодной решимостью к действию, и так было проще, чище, яснее.

Электрички и в самом деле пришлось ждать почти полчаса. Платформа была пустой, кто же не знает обычного расписания? Только такие дураки, как они. Они сидели на скамеечке и молчали, не зная, о чем и как говорить. А когда минут через пятнадцать Денис поймал на себе взгляд еще одного пассажира метрах в трех поодаль, ахнул: то был Аркадий Семенович, тот самый гебешник, чью визитку он по ветру развеял! Ну конечно, он тоже должен был присутствовать на похоронах. Хотя бы по служебному заданию. Но, странно, почему не на служебной машине возвращается? Или это — с ним поговорить, специально?

Гебешник чуть заметно мотнул головой, показал глазами на дальний край платформы, Денис рванул за ним. Дошли до пустого

пространства, метров десять в ту и другую сторону — никого.

— Ну, здравствуй, Аксентьев. Давно не видались.

Он был спокоен, уверен, как прежде — безлик. Руку протянул. Денис пожал. И всё смотрел на нее, отчего-то разглядывал его плотную, жесткую ладонь, да еще часы — хорошие, не наши, часы на правой руке. А в лицо словно бы стеснялся ему посмотреть.

— Здравствуйте. Я даже искал вас. Я...

— Мог позвонить.

— Номер телефона, простите... потерял.

— Очень неаккуратно с твоей стороны, Аксентьев. Небрежно!

Он издевался, похоже. Но сейчас не это было важно.

— Аркадий Степано....

— Семенович.

— Аркадий Семенович, простите. Я видел убийцу отца Александра.

— Да ну? Вот так сразу? Следствие еще ничего, а ты уже...

— Я видел его, так получилось. На самом деле, я мог его остановить. Я мог это сделать гораздо раньше. Я встречал его в Питере в феврале, ну тогда я еще ничего не знал. Потом летом у Данилова монастыря, хотя нет, там был не он, и еще на бульварах слышал, то есть видел, как двое разговаривали...

— Ты пустырничка попей, Денис. А то волнуешься очень. Ну да, это потрясение для всех для... вас. Понятно.

— Вы не верите мне, как они. Ну, я понимаю. Давайте я изложу всё, что было позавчера, в воскресенье, хорошо?

— Давай.

— Я проснулся очень рано, словно от какого-то толчка. Я вообще поздно по выходным люблю вставать, а тут... Вроде собрался в церковь, но не поехал. Что-то меня вело. Вышел на Ярославском, сел в электричку, но, понимаете — во вторую! На двадцать минут позже. Это было роковое опоздание. Моя вина! Что-то меня вело, я наверняка бы почувствовал, что на станции Семхоз надо выйти, я бы прошел в лес, я бы — я бы спугнул убийцу! Это точно.

— Погоди, — гебешник давил смешок, — ты мне сейчас

рассказываешь, что весь наш Комитет, вся доблестная советская милиция прошляпила готовящееся преступление. А ты, проснувшись ясным воскресным утром, чуть было его не предотвратил, убийцу не связал и не доставил в Лефортово? Ну, герой, чё сказать.

— Не связал бы, — сглотнул обиду Денис, — но спугнул бы наверняка. Зато теперь легко могу опознать. Запишите: невысокий такой парень крепкого телосложения, волосы... ну вроде темно-русые, прямые. Без особых примет. Ходить любит в военном, в «афганке».

— Зашибись приметы. Вот электричка подъедет, в ней таких будет штук тридцать или пятьдесят. Всех сразу арестуем или через одного?

— Послушайте! Ну это же серьезно. Он вошел на станции, в одежде, забрызганной кровью...

— Ты ее трогал, нюхал, сдавал на анализы? Или просто пятна увидел?

— Просто увидел. Но дальше, дальше слушайте! На бедре — чехол от саперной лопатки.

— Серьезная улика! Все убийцы такое носят. А как их еще распознаешь? Только так.

— Да вы издеваетесь!

— Да ты сам надо мной издеваешься, молодой человек. Время мое тратишь. А время мое — оно государст-венн-ное! Оно бесценно.

— Лопатка, саперная лопатка! Орудие убийства. Как в Тбилиси!

— Ну это ты собчаковской пропаганды начитался, понятно²³.

— Вы не верите мне...

— А с чего я должен тебе верить? Ты всё сочиняешь. Ты беседуешь с Оригеном и уже себя путаешь с ним.

— Откуда вы знаете?

— Нам всё по службе положено.

— Ну да, а день рожденья мой перепутали.

— Мальчик обиделся, ясно. Ничего. Сделали соответствующей сотруднице замечание.

²³ При разгоне оппозиционного митинга в Тбилиси в апреле 1989 г. применялись саперные лопатки, были погибшие и раненные. Комиссию по расследованию этих событий возглавлял А.А. Собчак.

— Я не обиделся, я...

Дениса захлестывали волны злости и стыда: ну как, как ему объяснить?

— Ты просто фантазер. Ты сегодня наслушался рассказов о гибели протоиерея Меня и привиделось тебе, что намерен ты видал его убийцу.

— Да я же действительно ездил на электричке! Даже билет сохранился... наверное... в других штанах в кармане.

— Охотно верю: ездил на электричке. Увидел какого-то странного парня. Тогда тебе и в голову не пришло, будто он — убийца. А теперь нафантазировал себе.

— Слушайте, но я же тогда ничего про это не знал! А теперь все совпало: Семхоз, лопатка. Да и раньше я его встречал!

— Скажи, а тебе часто доводится принимать одних людей за других? Бывают такие случаи?

— Вообще-то бывают.

— Называется прозопагнозия.

— Прозопагнозия — нераспознавание лиц?

— Именно. Хорошо учишься по греческому, я смотрю! Ну, это когда не узнаешь знакомых, а незнакомых якобы узнаешь. Бывает, знаешь ли, у аутистов, затрудняет коммуникацию. Смотрел «Человек дождя»?

— Нет. А вы еще и психиатр, что ли?

— Психолог. По службе положено. Поэтому, извини, в нашу контору ты бы не прошел, по непригодности.

— Да не больно-то и надо...

— Не ершись. Итак, с якобы убийцей дело было, полагаю, так: сегодня, под влиянием рассказов об убийстве, ты заново собрал калейдоскоп своих воспоминаний и определил в убийцы какого-то случайного попутчика, которого тогда даже не запомнил.

— Я запомнил сразу!

— Ты кому-нибудь рассказал? Ты завопил на всю электричку «держи преступника», ты дернул стоп-кран? Заявил хотя бы в милицию на станции? Нет же. Знаешь, воспоминания — странная штука. Мы рационализируем, мы задним числом выстраиваем их в логические

последовательности. Вот смотри, человек спит, ему на лицо капаят водой. Он просыпается. Он скажет: мне приснилось, что я упал в воду. Ну, это понятно, да?

— Конечно.

— А еще он расскажет: мне снилось, что мы с друзьями идем по берегу реки, нам жарко, мы хотим искупаться и тут я внезапно падаю в воду. Вроде бы логично, да? А на самом деле вода появилась внезапно, в самом конце. Он не мог видеть во сне, что идет по берегу реки, он это досочинил после пробуждения, чтобы придать своему сну стройность и связность. Он видел набор образов, картинок — а встроил их в сюжет уже после пробуждения. Вот так и у тебя.

— Аркадий Семенович!

Денис с усилием поднял глаза и попытался рассмотреть на лицо гебешника. Лицо ускользало, обобщалось — специально их, что ли, такими подбирают? Или учат маскировке? Нос, глаза, уши — да, всё то, что должно быть у человека. Рот в глумливой полуулыбке...

Денис отвел глаза — и понял, что лицо как бы стерлось из памяти. Это уже походило на гипноз, на укол чего-то психотропного, но ведь никакого укола не было. Зря, ой зря затеял он этот разговор, понадеялся переспорить врага.

А тот наседал:

— Молодец, отчество запомнил. Так вот: ты не видел никакого убийцу. Того, что ты видел, часто вообще не существует. Оригена, например.

— Он же существовал!

— Несомненно. Но не в настоящем. Теперь он — имя в энциклопедии, в исторических книгах, он — предполагаемый автор целого ряда дошедших и не дошедших до нас текстов.

— Не предполагаемый, а настоящий.

— Не будем обижать твоего Оригена, ладно, настоящий. Но его не существует. Он отошел в область вечных ли мучений, я знаю, тебя это занимает, вечного ли спасения. Здесь и сейчас его нет. А ты с ним разговариваешь.

— Наши успошье с нами!

— «Наши павшие — как часовые», ага. Красивый поэтический образ. Ничего этого нет. Всё фантазии. Нет ни Оригена твоего, ни Высоцкого, ни Цоя. Ни тех прекрасных стран, которые ты рисовал тогда в альбоме, дуря от скуки: Кания, вишь ты, захватила Лиорелкию ради величия собственной империи, но там началось восстание, а дружественный Ласс пришел ей на помощь... Их нет, этих стран. И Мэня твоего теперь тоже нет.

Денис снова поднял глаза — и не увидел лица. Это были пятна, фигуры, линии, они сдвигались, текли, заполняли собой пространство. Волна страха, отчаяния, гнева поднялась — и выплеснулась на выдохе:

— И тебя?

Это было вызовом, хамством запредельным — но что мог еще ответить обиженный мальчишка дядьке, который над ним издевался:

— И тебя, скажешь, нет?!

— И меня нет! — захохотал тот, ничуть не обижаясь, — нет меня! Нет Мэня — нет меня!

Денис ждал, что тот его... ну, не знаю, арестует там, или пощечину отвесит, или просто развернется и уйдет. Но — хохотать в ответ на оскорбление?

Откуда он знает про разговоры с Оригеном? Про то, что Денис никому, ну разве что Вере, да и то мельком? Вера стучит на него в ГБ? Поверить невозможно, но допустим. Но Кания, Лиорелкия, Ласс... страны из его детского альбома про вымышленный остров. Он показывал его только Наде, она слишком далеко, она уж точно доносить на него бы не стала. А если бы стала — не могла запомнить этих названий, этих подробностей про страны, которые он рисовал для себя самого. Про страны, в которых он жил один.

Кто он вообще такой? А тот не унимался:

— Вот и визитку мою ты — про.бал. Ой, прости, нежный мальчик, ты ее потерял, но в армии же нет слова «потерял», и у нас тоже его нет.

— Я ее разорвал...

— А что, дворницкую нашел? Кооперативную, тьфу, конспиративную квартиру? Долго ведь тогда искал.

— Откуда вы...

— По долгу службы.

Денис прикрыл глаза. Это было невыносимо. Резкий, невыносимый голос над самым ухом, и Денис понял, что голоса — тоже нет. Не бас, не фальцет, ничто из того, что посередине. Смысл возникал как бы изнутри...

— Я знаю всё, что знаешь ты и помню, что ты подзабыл. Я — в твоём подсознании. Меня не существует в природе. Сможешь описать мое лицо?

— Не очень. У меня прозопагнозия, — не сдавался Денис, но глаза так и не открыл. Смотреть на пляску пятен сил не хватало.

— Да не ври ты хоть себе, слово умное где-то вычитал: прозопагнозия.

— Ты... — докончить фразу сил не хватало.

— Я живу только в твоей голове.

Денис разодрал глаза. Не подчиняться. Перед ним — мужчина средних лет без особых примет, говорит с ним, насмехается. Ничего особенного. Только бабка какая-то еще идет по перрону, косится на них двоих так странно, бурчит что-то себе про проклятых наркоманов.

— Вот умрешь, вот кровушка по сосудам течь перестанет, вот нейрончики твои оголодают кислородно — и меня совсем не станет, совсем. Единственный способ со мной справиться! Хочешь — проверим? Под электричку?

И продолжал, расплываясь, переливаясь, сипя:

— И бога твоего никакого нет. Пустота. Но при мысли о ней... при мысли о ней разогреваются твои нейрончики, шлют синапсы свои электрические сигналы, выделяется дофаминчик, тебе приятно. Химия, физика, биология. И всё. И смерть — это финал. П.здец, по-нашему.

— Я понял, — сказал Денис трезво и четко, — я понял, кто ты. И у меня к тебе только один вопрос.

— Слушаю, — с неожиданной серьезностью.

— Зачем... ты же направлял меня по церковной карьере. Толкал, можно сказать. Уговаривал. Зачем это тебе?

— «Я развлекаюсь, мне скучно» — хохотнул он, — ты ждешь такого

ответа, не так ли? Чу-ууушь... Это твои собственные потаенные желания. Твои.

— Нет, не чушь, — Денис говорил твердо и внятно, — ты борешься с церковью. Ты морил ее в лагерях, расстреливал в Бутово. Ты убивал ее позавчера в Семхозе.

— Ой, не клевети, — серьезно ответил тот, — честно, ну как я мог? Я же твоя проекция.

— И ты увидел, что все это было зря. Ничего не вышло. Кровь мучеников — семя церкви, знаешь сам. Ты решил растлить ее изнутри, и надежнее инструмента, чем ГБ, в когтях твоих не оказалось. Опошлить ее, пришпилить к любой наличной власти, прибить даже намертво оковами, сделать подпоркой для коррупции, репрессий, диктатуры — чтобы люди просто плевались при слове «церковь».

— Да ладно, перечитай историю средних веков, учебник для шестого класса. Твой любимый, между прочим, когда-то. Помнишь, как в конце пятого, когда их только выдали, ты сразу его и прочитал, залпом, можно сказать? Вот там всё это уже есть. Чего выдумывать?

— Теперь новые времена, новые средства массового... оболванивания, — пожал плечами Денис. Все было ясно, и эта ясность, хрустальная, как сухой подмосковный сентябрь, успокаивала и согревала. И тот — стушевался:

— Ну ладно. Ты бывай... если чё — звони... визитка не нужна. Звони, как Оригену. Я трубочку-то возьму.

Нет, он не растворился в воздухе, не завонял серой. Достал пачку «Мальборо», по лицензии которое, серебряную зажигалку, Денису закурить не предложил (знает ведь, что он не курит), развернулся, задымил, зашагал.

Денис вернулся к девушкам. Легкая, ясная ярость еще кипела в нем:

— А ведь я только что говорил с сатаной. Кажись, прогнал.

И тут... Вера взорвалась:

— Денис! Ты прости, но ты живешь в мире своих фантазий. Где, какой сатана?

— Ты не видела? Вот стоял недавно человек, позвал меня за собой.

— Видела только одно: ты подорвался с места, как безумный, побежал куда-то в конец платформы. Деня, я понимаю, мы все сегодня на нервах, но вылезь ты, наконец, из собственной головы! Заметь, что вокруг — живые, настоящие люди! Им хочется — жить! А ты... ты среди призраков! С Оригеном этим твоим!

Вера, прихватив сумочку, пружинным размашистым шагом пошла прочь — и ничто не шелохнулось внутри: догнать, обнять, попросить прощения. Бунт самых смиренных — он самый беспощадный. Сумочка. У нее была отличная, модная сумочка из коричневой замши. И под длинной юбкой — туфли на каблуках. Теперь Денис это заметил.

Она уходила, стройная, сдержанно-изящная, модная, совсем другая, чем год тому назад, незнакомая, прекрасная, чуточку уже чужая. Уходила, пусть не так далеко и неизбежно, как Надя, зато искренне и зло — и так даже было легче. Теперь не надо притворяться, она ушла сама. Надолго ли? Навсегда ли?

И что же все-таки было там, на краю перрона? Всё то, что он сказал девчонкам... если это было правдой... Было ли? Булгаковщина какая-то, звучит как неумелый плагиат.

А если не плагиат — то ведь безумие? Тягостное, мутное, неприметное для себя самого? Видения демонов, смирительная рубашка, уколы аминазина, знаем, читали, решетка на окне, несмываемый диагноз в личном деле?

Или еще страшнее — и вправду бросить вызов той самой древней и самой мутной силе, которую невозможно человеку победить, которая забавляется, играет им, пока не слопаёт его смерть? А дальше?

Подъезжала, наконец, электричка. Народу на платформе набралось уже немало, ведь первая после перерыва. Вошли, нашлось в вагоне два местечка рядом, они с Любой присели. Он двигался в мутном каком-то киселе, в волнах первобытного ужаса — они накатили только сейчас и тащили, влекли его куда-то, совсем не по объявленному машинистом маршруту.

Тебе хорошо, отче Александре. Ты-то точно с Ним. А я?

Люба, синеглазая курносая Люба в простецкой китайской курточке осторожно положила свою ладошку поверх его ладони. Не

сжимала даже, мышка такая, просто прикоснулась. Я с тобой, говорила эта ладошка без слов, и мне совсем даже не важно, где ты что сочиняешь, ты ведь не будешь мне врать? Я люблю тебя, говорила ладошка, со соплюшкиного шестого класса, а может, даже и с пятого. У меня сердце в пяточки прячется, когда слышу на лестнице твои шаги.

А ты... Ты обязательно помиришься с Верой, она славная, она лучше и чище, чем я, а я... буду отпаивать тебя чаем, кормить пирогами, обихаживать твою прозо... ну в общем эту самую — лучшими, какие только достану у девчонок, кассетами. Ты ведь уже теперь знаешь, кто такой Цой?

Я маленькая и глупая, — говорила ладошка, — но я тебя люблю. И это всё, что мне сейчас нужно. Поверь, я умею любить. И даже, ну если вдруг сам ты захочешь — я и тебя могу научить...

А за окном электрички тянулись провода и дороги, заборы воинских частей, за ними когорты и манипулы занимались боевой и политической подготовкой, чтобы приводить к общему знаменателю даков и прибалтов, вздумавших отделиться от социалистического третьеримского отечества. Но Лиорелкия все же восстала против Кании, и не было средства привести ее в повиновение.

Воскуряли фимиам Ленину и Гору гладко выбритые жрецы со значками Высшей партийной школы на белоснежных льняных одеяниях, и разъезжались грустные пресвитеры с похорон отца Александра.

Вопили толпы на площадях, искали хлеба и зрелищ, и дано будет им, но отнимется то, что якобы имеют, и возопят о котлах египетских, и захотят умереть в пустыне.

И впереди — впереди Ярославский вокзал, и новый октябрь, и яблони, и снег, и капли, и моря, и горы, и новые весны. И девичьи лица, из которых он еще не умел выбирать.

А животный ужас, зов бездны, извечный враг, которому разве что Ориген не отказал в возможности спасения — кажется, остались они на осенней выщербленной платформе Подмосковья. До поры, до времени. Поезд несся вперед.

И станции, станции Рима в степени N, одни из которых пролетит

электричка без остановок, а на других, может быть, задержится на десятилетия. Машинист еще сам не решил.

И вот на одной из станций пузатый-бородатый отец Дионисий, благочинный какого-нибудь сливочного округа довольно оглаживает только что вышедший из печати собственный томик об Оригене: с одной стороны, не понял, не оценил, попал под влияние, с другой — все-таки великий был экзегет.

А вот еще станция, где отправляют Дионисия за штат, подписал он какое-то не то письмо про арестованных плясуний, да и вообще распоясался, хорошо еще сан не сняли, и идет он в дворники, таксисты, айтишники или попросту сторожа. Цоя-то наслушавшись — как иначе?

Или может быть, на иной ветке — он доцент в германском провинциальном университете, преподает славистику и русскую литературу, грамотный абориген с хорошей зарплатой и приемлемым индексом цитируемости.

Или вот — бизнесмен и политик, строитель Новой России, взорванный мерседес, помпезное надгробие на Ваганьковом. Непримирымый борец с режимом, узник совести, политэмигрант, снова преподаватель в Германии и основатель какого-нибудь фонда борьбы за новую свободу. Или просто кандидат, доктор, профессор, завкафедрой, женитьба на юной аспирантке...

Ведь он еще не умеет выбирать.

И на одной из этих будущих станций напишет эту книгу один из ее мимолетных пассажиров, кудрявый парень, который просто зашел на Рождество девяностого года в храм на Брюсовом помолиться, с женой и маленькой дочкой — будущим, кстати, иллюстратором этой самой книги.

А пока — между мирами, по рельсам синапсов ползет или несется зеленая электричка Рижского вагоностроительного завода, везет встревоженных и полусонных к невозможному дофаминовому изобилию, его же царствию не будет конца.

Вера обижена и неприступна, а Надежда немыслимо далека. Остается Любовь. Грустно, светло и высоко, как бывает в Подмоскowie ранней прозрачной осенью, как бывает с ранней взрослостью, когда

седеет на виске первый волос и яблони роняют желтые листья.

И кажется: всё еще может получиться.

Нужно только попробовать полюбить.

*На дне сердец забытое добро.
Заваленный родник. Трава забвенья.
И вóрота оставленное пенье.
Просторный дом, в котором не светло.
Пустыни начинаются не вдруг,
и тонут в них колодцы, звезды, реки,
и голоса песков, как человеки,
расходятся и замыкают круг.
Мой голос затерялся в тех холмах,
где в детстве строил тающие башни,
и у того прибоя, где вчерашний
мой день был только солью на губах,
а руки обнимали хвойный лес
(тогда и пальцы назывались «ветви»),
а время было — пыль в колоннах света,
что через кроны шли наперерез.
Во мне живет молчанье камня.
— Знай,
В песках названье жизни есть «дорога»,
и помни про забытый Богом край,
что каждый камень не забыт здесь Богом.
Во мне живет моя простая жизнь,
я не собрал ни мудрости, ни света.
И весь мой дом — огромная планета,
пустыней заболевшая...
— Держись!
И я держусь. Весенних капель пенье
родится из слепой моей строки.
Однажды в быт ворвется Откровенье,
незнанью и гордыне вопреки.
И вспомню вкус тех дней, что были солью,*

и оживу от первого дождя...

*— Ты видишь, человек, раскрытый болью
цветок огня, растущий из тебя?*

Январь — октябрь 2020,

Каменари — Москва — Зеленоградск — Москва — Каменари.

Оглавление

Октябрь и яблоны.....	3
Сон об отце.....	27
Ноябрь и бульвары.....	35
Сон об учениках.....	56
Декабрь и рубли.....	61
Сон о женщинах.....	73
Январь и вино.....	81
Сон о спорах.....	95
Февраль и площади.....	102
Сон о расставании.....	122
Март и крыши.....	129
Сон о толковании.....	143
Апрель и трава.....	150
Сон о красоте.....	160
Май и маки.....	164
Сон о свободе.....	179
Июнь и книги.....	187
Сон о молитве.....	200
Июль и сосны.....	208
Сон о будущем.....	226
Август и грозы.....	232
Сон о пробуждении.....	248
Сентябрь и электрички.....	252